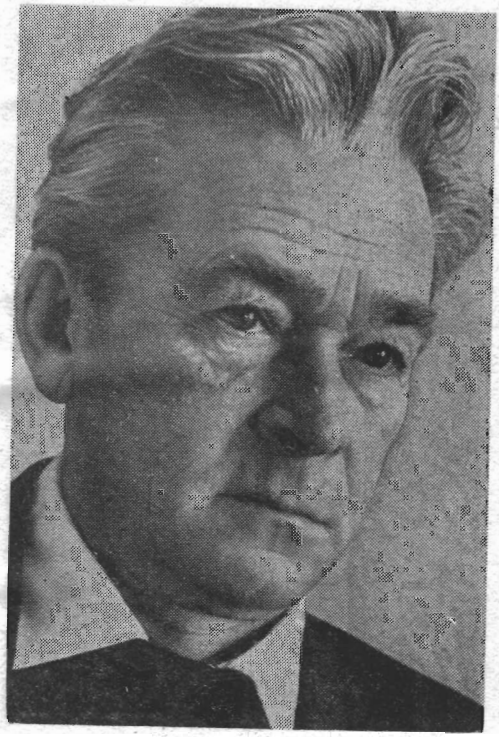
84Р7
М-75

ГЕННАДИЙ
МОЛОСТНОВ

ДАРУЯ ЖИЗНЬ

КРАСНОЯРСК



84Р7
М-75

ГЕННАДИЙ МОЛОСТНОВ

ДАРУЯ ЖИЗНЬ

РОМАН

Красноярское
книжное
издательство
1982

ЦДБ | Осинниковская ЦБС

Р2
М75

Печатается по тексту книги:
Г. М. Молостнов. Даруя жизнь. Роман.
Кемерово, кн. изд-во, 1964 г.

Геннадий Модестович Молостнов

ДАРУЯ ЖИЗНЬ

НБ № 701

Редактор В. И. Ермаков. Художественный редактор Г. В. Соколова. Художник Е. Г. Касьянов. Технический редактор А. Г. Малышева. Корректор В. П. Емельянова. Сдано в набор 16. 11. 81. Подписано к печати 08.02.82. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 3. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 16,92: Уч.-изд: л: 17,18: Тираж 50 000 экз. Заказ 426. Цена 1 р. 20 к.; с припрессовкой пленки 1 р. 30 к. Красноярское книжное издательство, 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 98: Типография «Красноярский рабочий», 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 91.

М $\frac{732-024}{М147(03)-82}$ 29—82 -51355-

© Красноярское книжное издательство, 1982 г.

Осинниковская ЦБС
Кемеровская обл.

Давшей мне жизнь — матери моей,
Матрене Михайловне,
и детям моим — посвящаю

Часть первая

БРЕЗЖИТ, ГРЯДЕТ!

Так ведите ж сказ, гусли звонкие,
Вы поведайте про житье-бытье,
Что забылося, затуманилось...

Народная песня

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я вижу девушку — румяную, синеглазую. Она сидит на морозной ржаной соломе, ждет суженого... Потом август — желтый, солнечный... Чистое поле, тихость уходящего лета, первая грусть журавлей... А какая чистота, какая господняя чистота вокруг!..

Сначала по колкой стерне, потом по белым последним ромашкам она ползет к ручью, где камыши и осока, где белые бабочки и стрекозы, и там, у ручья, из которого пьют белые бабочки и бирюзовые стрекозы, где ворожат камыши и осока, там...

Там не зорька зарумянила воды... Не выпь прокричала... Там ей было больно и страшно... Это не белое одинокое облачко опустилось ей на лицо... Она умерла, рождением смерть поправ!

Кровь... Крик... Смерть... Жизнь...

И опять безграничная, бездонная тишина...

И вот он лежит на синих цветах незабудках и синими-синими глазами глядит в синее-синее небо... Там журавли, там гуси-лебеди... Первая сказка...

— Журавли, журавли, что видите?..
— Горы-горы...
— А что за горами?..
— Горе-горе...
— А за горем что?..
— Брезжит... Грядет...

Я вижу мальчика с волосами цвета спелой соломы, с небесными глазами на бледном лице. Под его выгоревшей рубашкой острятся плечики. Так крохотны следы его босых ног на пыльной пустынной дороге, так мал он среди беспредельности мира!.. Так неужели это он отдал мне когда-то капельку своей крови? Неужели он когда-то вместе с этой капелькой моей крови ходил в дальний лес по опенки и не боялся лешего-берендея, купался в бочажинах, где водились русалки и водяные, слушал зимние вьюги и летние грозы?..

Он, наверно, очень-очень хотел жить, поэтому и отдал мне свои глаза, видевшие красоту земли, отдал беспокойную русскую душу. Я тоже очень-очень хочу жить!..

Мальчик, мальчик! Спасибо тебе за росинку-звездочку, что падает на мою руку, когда я раздвигаю кусты черной смородины, за аромат свежего огурца, за мечту, за любовь и слезы, за мозоли на моих ладонях...

— Мальчик, мальчик, ты куда идешь?

— Дык, в Муравию.

— Хорошо ли там?

— Бают, оченна.

— Чего хочешь ты?

— Вдоволь хлебушка.

— А еще чего?

— Вольной волюшки.

— Загани еще, может сбудется.

— А загад-то, слышь, не живет богат!..

И уходит прочь все с улыбочкой да с оглядочкой, дескать, вот чудак, знать, не тутошний!..

Передо мной одинокая пустынная дорога. Вдали позолоченные купола церкви, серые крыши изб. Я иду туда, иду в прошлое...

Многое забылось уже, быльем поросло...

Молчат мшелые камни, холодные, мудрые... Они не расскажут о том, что привезены когда-то с речки Моталки «на счастье» и названы: побольше — Ермилом, поменьше — Лукерьей.

Молчат...

Который год над мшелыми камнями поднимается жгучая крапива, такая огневая, сердитая, что ее не едят даже и коровы! Разве кто из стариков, прихватив рука-

вом, сорвет стебелек, чтобы отстегать непослушное чадо...

Да вот еще мальвы поодаль — нежно-розовые, грустные, как на могиле, мальвы, на которые по глупости садятся позолоченные шмели и, поползав, покачав их слегка, улетают, сердитые.

Мальвы тоже знают о чем-то...

Если бы Илья начал интересоваться своей родословной, ниточка-паутиночка привела бы его в ноябрьское тихое утро, в тот ранний час рассвета, когда столбиками поднимаются редкие дымки над крестьянскими избами и не шелохнется звездная снежинка, когда не проснулись еще сторожа времени — горластые петухи, когда слышно лишь, как хрумкают-доедают ночной корм пузатые лошади.

Увидел бы Илья на чистом первом снегу следочки лыковых лапотков, которые идут от поместья графа Жеронского через овражек, мимо березового колка, мимо безмолвной рощи, отяжелевшей под снегом, в сине-розовую даль горизонта.

Следочки в клеточку, следочки крестиком, словно холстина белая нежно-голубым прошита!..

Вьются, плетутся следочки, то близко один от другого, то подале, то совсем рядышком, то смешаются, стопчут один другого. Знать, вот уж как не хотелось Лушке покидать родные края!..

Знать, тут вот стояла крепостная девка и глядела издали на шпиль, что торчит над крышей поместья, потом шла-пятилась, потом у рябинового куста сломила сучочек с кистями рябиновых ягод, шла, ловила холодные ягодки горячими губами, разгрызала их, щурилась от кислого и выплевывала на снег, и так далеко-далеко отмежевала на бел-снегу алыми капельками.

В дымку, в сонную мглу уходила Лушка, словно таяла в знобкой просини молодой зимы...

Потом Илья увидел бы, как сбоку, прямо из поля, на Лушкины следочки налетела графская тройка и долго топтала их и копытами, и полозьями, пока не настигла ее самое в дальнем лесу и не остановилась надолго...

От голой старой березы, где переминались с ноги на ногу нетерпеливые графские кони, где остался малино-

вый лоскутик от Лушкиного сарафана, следочки снова пошли одиноко... Пошли-побрели, а тройка повернула назад...

Судьба крепостной девки Лушки решилась на охоте в последних днях ведреного октября, именно в тот день, в который она целовалась за ометами с кудрявым парнем Ефимкой, целовалась впервые...

Потравив зайцев для забавы, князь Жеронский и гостивший у него помещик Лунин устроили привал. Расстегнувшись, разбросались на рыжем пригорке, выпили, крякнули. Похрустели солеными огурцами, поглодали бараньи ребрышки, потом выпили по второй и разговорились почему-то о женихах и невестах, о людишках своих.

— Не хвастай!— говорил Жеронский, поглаживая седеющие усы чубуком трубки.— Видал твоих: низкорослы, лицом дурны. У тебя даже среди дворни отрепье. А у меня? Хотя бы вот он!— Жеронский махнул рукой через плечо, туда, где стоял чернобородый егерь.— Илья Муромец! Хочешь, лошадь поднимет?!

Выпили по третьей, и глаза князя маслено заблестели: он вспомнил про Лушку, словно увидел ее там, куда был устремлен его взгляд,— выходящую из лилового мелколесья, заулыбался.

А уж так расписал ее Лунину, как нельзя лучше. Говорил и вылепливал Лушкин стан волосатыми руками. Даже указал, где на коленях у нее и на локтях ямочки. Глаза с камнем сравнил на своем перстне — «вот такие!» Брови-де — крылья стриженые, румянец — прикуривай! Слюной поперхнулся, закашлялся, когда дело до ног дошло:

— Скажи ты, пожалуйста! Ведь не так... и не этак ступает, а с вывертом как-то! Господи! Глядишь — и дух перехватывает!

После этого спорили на Лушку. Егерь подбрасывал свою шапку, а господа стреляли в нее по очереди. И Жеронский спьяна промазал подряд три раза. Рассердился, словно медведь раненый, забросил ружье в озимые, рукой махнул:

— Твой верх. Бери Лушку себе на развод породы хорошей. Да смотри, с доделистым мужиком спарь!

А сам мысль затаил, дескать, цветочек-то я сам сорву, первым!..

Егерь допил остаточки и во хмелю кому-то из двор-

ни проболтался, что Лушка проспорена. Тот другому, другой — третьему, а кто-то уж самой Лушке. А Лушка не дурой была: подмигнула Ефимке, да и в сарай, на сено с ним, грех сотворила...

Чуть ли не на другой день после отъезда Лунина собрали и Лушку в путь-дороженьку. Выдали ей две пары новых лаптей — одну на ноги, другую — для венчанья в церкви. Родные плакали, а Ефимка кудри рвал на голове:

— Убежим, Лунюшка! Вместе убежим куда глаза глядят!

— Пымают—деру дадут,—обреченно отвечала она.— То же на то выйдет. Пойду, Ефимушка, знать, богу так нужно...

Обвенчали ее в имении Лунина с некрасивым Ермилом Макаровым — с тихим душевным парнем. Но мучалась, когда тяжелой себя почувствовала: от кого?..

Слава богу, парнишка родился кудрявеньким, в Ефимку пошел! Ермилу потом люди в глаза говорили: «Не твой ведь!» А Ермил в улыбке расплывался: «Вы Степку спросите, кто я ему довожусь».

— Ну-ка скажи, сынок, кто я тебе?

— Тятька ты мне, вот кто!— скача на одной ноге и придерживая языком соплю, отвечал Степка.

— То-то!—еще больше сиял Ермил.— Если красив, то по матери пошел, стал быть. Умен—в нашу родню. У нас, сказывают, в родне-то, никак, енералы были!..

Он-то и привез эти два камня с речки Моталки и назвал для себя один Лукерьей, другой Ермилом. Сиживал, бывало, на этих камнях Ермил, глядел на серую пыльную дорогу да думы думал разные... А мальвы — Лукерьиных рук дело. Цвела она в свое время, да никого не любила здесь. О том и говорят они, мальвы,— грустные могильные цветы. И крапива от ее слез зародилася, и уж до чего же те слезы жгучи были!..

Ермил плотничал и срушен был. Как подрос Степан, начал отец его за собой таскать, сноровке своей учить. И вышел бы из парня прок, если бы не стряслася беда...

Старосте Крынкину дом ставили. Что не бревно — то двенадцать вершков в комле, а срезаны в пору, наливные, свинцовой тяжести: по семь человек за конец брались, закатить чтобы! И вот уж последний венец, последнее бревно на место, а хозяин кричит:

— Погодь, робята!— бежит по лесам, торопится, кошелек открывает, крестится на бегу.— Погодь, соколики!..

Под вершину в угол пятак бросил, под комель — надо же!— золотой не пожалел.

— С богом, родимые, зажимай на счастье!..

И зажали, прихлопнули Степкину руку... Не успел он вовремя золотой сцапать. Хрустнули, смялись пальчики... Ермил было бревно поднимать. Крынкин оттолкнул его:

— Погодь! Не грешно, стать, бог покарал вора! Пусть помается...— Подпрыгнул Крынкин и еще брюхом на бревно навалился:

— Не тронь, помается!..

Виснет на бревне и Степке в глаза заглядывает:

— Так-то, ворюга!..

А глаза у Степки — по ложке от боли, синей мутью подернулись, слезинки по щекам катятся.

— Тятька, миленький!..

У Крынкина от удовольствия слюни по бороде текут:

— Не тронь, говорю!..

Ошалел Ермил, за голову схватился и качает в руках ее:

— Дитя ведь родное, православные, помогите же!..

Визжал Крынкин, когда его с бревна сволокли да Степку высвободили:

— Кровопивцы, ломаного гроша за работу не дам!..

И не дал...

Без руки остался Степа, кисть напрочь отвалилась. А без руки какой работник! Загулял, запил парень, без спроса женился. Жена Стеша ладная попала, не ему бы, гуляке, такую. Стал Степан занозист и горд. Шапку носил на самой макушке, на белый лоб выпускал русые кудри. Один раз обокрал церковь божию, другой раз собирался, да не управился...

Остался он в церкви после вечерней службы на ночь, с субботы на воскресенье, думал кассу опустошить, ризы золотые с икон снять, а утром, как откроется церковь и богомольцы начнут собираться, смешаться с народом и уйти незаметно. Но сплошал, был замечен кладбищенским сторожем, потому что неосторожен.

Перепуганный светом в храме божьем, сторож ударил в колокол, народ созвал...

Что и говорить, идти бы Степану на каторгу, да прихожане рассвирепели: решили на месте красавца. И уж мертвого даже били. Орентий-звонарь, как сидел в кабаке, выпивал, так и прибежал с вилкой и соленым огурцом на ней и этой вилкой завершил страшное дело — выколол молодцу синие очи!..

Долго в ту пору не было грозового дождя, долго темнела кровь на церковной ограде и выцветали под солнцем на тропинке русые кудри, вырванные с корнем.

Одни плевались, проходя мимо этого места, другие содрогались, сельские мальчишки камнями кидали в Стешу, когда она появлялась здесь и собирала кудри, и украдкой прятала их за пазуху.

После расправы над сыном Ермил крут стал, вспыльчив. Временами словно тучи находили на его душу, темнела она. Сядет порой и сидит долго-долго с опущенной головой, а потом встряхнется, передернет плечами, вскрикнет ни с того ни с сего:

— Эх вы, звери лютые, что наделали!

Свирепым стал, страшным. Как что — за топор хватается, за вожжи: «Зарублю, удавлю!»

На сноху глядел сумрачно, исподлобья. После гибели сына сноха осталась тяжелой и какой-то дикой — жалась в комочек, людей обходила сторонкой, положит руки на живот и стоит в углу, пугливо озираясь.

Не нравилось все это Ермилу: то толкнет он ее, то крикнет:

— Скоро, что ли? Другие как-то... А ты, знать, два года не разродишься!..

И жену Лукерью частенько донимал, что одного принесла:

— Заяловела, баба! Другие по десятку, а она одного кое-как... Эх, корова!..

Майским вечером, на закате светлого молодого дня, Ермил возвращался с поля. Несмотря на мягкость и доброту вокруг, сердце томило предчувствие скорой беды. «Неужто Степанида девчонку родит?» Не дай бог! Девчонка в дом — счастье вон. Надел на нее не положен. Корми, приданое справляй, а придет срок — замуж выдай, и опять трата. «Нет, нет, ты смотри, Степанида, лучше при родах помри, если девчонка в тебе!»

Избенка у Ермила стала плохой, печка в ней покосилась. «Может, кого придавило там... Может, пожар

случился? Да нет, оно бы в колокола звонили, услыхал бы, чай!»

Подойдя к броду, он лег на живот и, придерживаясь руками за теплые камни, стал пить-целовать самого себя — лохматого, злого. И даже усмехнулся над этим: надо же, как в зеркале!.. Тут перегоняли стадо, переезжали подводы, вода пахла стойлом, а на дне виднелись овечьи орешки, но Ермил, не отрываясь, пил и пил, как уставшая лошадь. Под конец ему надоело глядеть на свое отражение, к тому же оно почему-то стало казаться чужим и вызывало суеверный страх.

«Фу ты, нечистая сила!»

Он вышел на высокий берег и сел. Попытался понять, отчего тошно ему, но только рассердился еще больше и погрозил:

— Я вам ужо!..

Это он всем, всей жизни своей, миру всему. Душу Ермил теперь держал постоянно закрытой. А если бы кто, отворив, заглянул туда, то отшатнулся бы в испуге — черно, темно в ней, как в преисподней, и чернее того тени шарахаются. Сколько раз назначал он день подпалить село в отместку за сына, назначал и откладывал: то не под ветер случалось, то еще что-то мешало исполнить задуманное. Крынкин же в этой мести ото всех особняком стоял. Для него Ермил разные казни придумывал, мысленно рыл волчью яму. На дне ее колья заостренные вколачивал, встречал старосту один на один в лесу на узенькой дорожке с топором в руке. Сперва он молиться заставлял старосту на коленях, потом одним взмахом топора отсекал ему голову, и она, лысая, желтая, как спелая тыква, катилась в траву и поблескивала оттуда помутневшими глазами...

Часто сам боялся Ермил того, что выдумывал во злобе, и готов был сменить гнев на милость: «Богу молитесь, просите его, чтобы Степанида мальчишку родила... тогда, может, расчерствею, село не трону...»

Забылся, потерялся Ермил, сидя на высоком берегу речки. А между тем низко над полями висло большое золотое солнышко. Пахло цветочной пыльцой — тепло и сладко. Росная земля окрест и чистое высокое небо издали полнились благовестьем церковных колоколов, призывающих к вечерней службе. Когда-то любил Ермил раздумную благодать вечеров уходящего мая. В молодости вместе с красивой женой хаживал за околи-

цу, чтобы посидеть на остывающей земле, поглядеть закат, послушать чуткую тишину. Теперь ни времени, ни желания не осталось...

Издали он увидел бегущую через луг Лукерью. И тут же вновь промелькнуло в сознании: «Не иначе беда стряслась».

Жена подбежала запыхавшаяся, но не перепуганная.

— Родила!— передохнув, вымолвила она, и по ее лицу, по тому, как горели ее глаза, Ермил понял: мальчишка! Однако, сдерживая радость, спокойно спросил:

— Кого?

— Мальчика!

— Не врешь?

— Бабка повитуха сказала.

— А сама-то видела?

— Не успела, к тебе побежала.

— Эх, голова! Да как же ты?.. Ведь старуха сослепу ошибиться могла!..

— Так и Стеша тоже...— попыталась было оправдаться Лукерья, но Ермил отмахнулся:

— Да что ты на всех показываешь! Сама должна!..

Изба у Ермила стоит в средине села. Тут рядом и церковь, и кабак, и лавка — самые людные места. Глядишь, зашел бы в кабак, одолжил на «косушку», да с какой стати, коль сноха обрадовала? Вот бы девчонку — деваться некуда!..

Вошел Ермил и первым долгом в пеленки сунулся:

— Мальчик! Слава те, господи!..

И вроде светлей стали прокопченные стены избы, вроде не так уж гудят натруженные за день руки.

— Мальчишка... Помощник!..

Назвав Ильей, нового человека записали в церковную книгу. Прибавилась в семье живая душа и надел земли «на душу». Рос Илюшка болезненным, хилым. Ползал по холодным щербатым половицам, дышал угарной копотью избы, совался озябшими руками в чугуны с помоями, доставал оттуда что попадет и все таскал в большой грачиный рот. Душил и слюнявил головастую рыжую кошку. Но терпелив был и тих: поморщится или пискнет тихонько, если кто на ногу наступит или пальцы в двери прихлопнет.

А жизнь продолжала течь прежним руслом, не изме-

нилась. Макаровы ходили на барщину, ели похлебку из вики, ото всех болезней лечились у старух-знахарок и у стариков-колдунов. Время узнавали по петушиному пению. По вечерам жгли лучину или сумерничали в потемках, рассказывая друг другу страшные истории, доводя друг друга до сладкого ужаса. Утром, на синем рассвете, когда не хочется вылезать из-под дерюги в остывшую за ночь избу, рассказывали друг другу сны и гадали: «К чему бы, что вещают они?..»

За ночь Илюшка промокал до ушей, просыпался и долго копошился в вонючих тряпках, от которых щекотало в носу и кашлялось.

— Ходить пора! Доколь корячиться будешь?— присядая перед внуком, говорил Ермил.— Ты, брат, того... пошибче расти. Ребятишкам барин за прополку по пятаку в день дает. Чего смеешься, пострел? Правду сказываю!..

Другой раз он жаловался внуку:

— Эх, Илюшка, Илюшка! Что делать-то будем? Вот-вот за недоимки на корову, душегубы, замахнутся... Тебе что?.. Глаза не видят, уши не слышат... А?.. Ну погодь, и до тебя черед дойдет!..

То балует дед Илюшку, поиграет с ним, пощекочет голое брюхо своей бородой, а то, вроде ни с того ни с сего, рукавицей шлепнет бесштанного:

— Не вертись хоть ты под ногами, дьяволенок!..

С зимы в округе начинались кулачные бои. Особенно они разгорались на масленицу. Делилось село на две части и сходились мужики стенка на стенку. В числе любителей этого зрелища был помещик Лунин и молодой красивый поп отец Сергей, от которых часто зависел жар схватки: пообещают водки, ну и валтузят мужики один другого с особым усердием.

Сельский силач Василий Косой со своими не дрался, а уж если и станет, то так, для забавы: тому, кто понапористей, щелчок влепит, а то поднимет и в сугроб бросит, где помягче. Другое дело, если чужое село поднималось, тут уж без Василия не обойтись! Он с правой стороны заходил, потому как одноглаз был. Дрался не торопясь и не шибко, но все бегали от него, как зайцы от гончей. Только один раз Василий убил человека, и то когда в драке ему в единственный глаз горсть нюха-

тельного табаку бросили. Вот уж взвыл он, вот уж осерчал страшно! Ударил обидчика в бока, обоими кулаками враз, ударил так, сказывают, что ребры, как яичная скорлупа, хрустнули и кулак с кулаком сошелся!..

Под старость и Ермил Макаров страстным кулачником сделался. На побоища он даже в дальние селения хаживал, будто поплотничать, подзаработать соберется. Возвращался с шишками да синяками, но довольный.

Лукерья только головой качала, встречая его:

— Дитятко! На кого ты похож! Словно цепами тебя молотили... Глаз-то, глаз-то затек как!..

— Глаз не беда. Вот зубов жалко!— улыбался Ермил щербатым ртом и тряс в горсти прокуренные зубы.— На вот, Илюшке играть!..

— Какой прок в драках-то?— спрашивала его робкая Степанида.

— Злость девать некуда,— отвечал он.— Душу отвожу. Мякнет она от кулака хорошего...

Весной, во время пахоты, в сенокос, в страдную пору жатвы каждый день, обычно вечером, когда загонят скотину, на селе появлялся верховой — барский глашатай. Он не спеша ехал из конца в конец и кричал о том, сколько и на какую работу требуется народу на барские поля.

И вот как-то июньским вечером Ермил предупредил шестилетнего внука.

— Спать, Илюха, ступай. Чем свет подниму утри, барское просо полоть...

С этого дня и познал мальчишка, что такое фунт лиха! К десяти годам он боронил барские земли за гривенник от зари до зари: встает солнце — работу начинай, садится — домой поворачивай. А дедушка возьмет да и пропьет заработанное Илюшкой, обидно до смерти!..

Боронит Илюшка, поглядывает по сторонам и удивляется непонятному миру. Облака живут без помехи, столько простору им в небе, никакой задержки. И ветер вот не зря вольным зовется — дует туда, дует сюда; то пыль на дороге подымает, макушки берез покачает, то в овражке зеленом спрячется и не знает уж, чем только побаловаться, куда кинуться! Разбежится и с крыши

солому сдерет, яблоки с яблонь стрясет или у бабы подол заголит, так что она вскрикнет и покраснеет, все ему можно, только и живет для того, чтобы себя ублажать... А Илюшке от вожжей оторваться нельзя: ходи и ходи за лошадью, сбивай ноги о жесткие комья...

Илюшка работает, а грачи да галки бездельничают: то прохаживаются по полю — червяков глотают, то взовьются над самой макушкой, загалдят заспорят: «Я грач, я грач!»— «А я галка, а я галка!»

— Знаю, кто вы, бес вас возьми! — косится на птиц Илюшка.— Надоели, непутные!..

Голова гудит, припеченная солнцем, пыли наглотался, что во рту пересохло. Поднимет Илюшка ком земли и запустит в стаю. Да где там, разве попадешь в какую!.. Остановит лошадь и заглядится, как играют в небе беззаботные птицы, слушает, как шуршат они крыльями. Эх, Илюшке бы крылья, ему бы такой божий дар!.. Взвился бы под облака и незаметно опустился в барском саду... И чего только нет там, когда поглядишь в щелку забора!.. Не то, что вихрастые мальчишки, девчонки-сарафанницы прогуливаются в том саду, а барчуки разряженные — петухов краше. И не кидаются, как сельские, ни на ягоды, ни на яблоки: ходят степенно и лопочут так, что не поймешь ничего,— «Ля мэр, ле пер»! Бахвалятся, черти... Их счастье, что на кулачные бои не ходят, а то бы Илюшка надавал им подспинников, спустил бы узкие плисовые порточки!..

— Подойди, я тя так ляперну, что в одно ухо влетит, а в другое вылетит...— ворчит он накручивает на руки вожжи, чтобы на повороте безжалостно задрать голову взнузданной лошади и выругаться по-дедушкиному: — Гляди у меня, мать твою в затылок!..

Потом каялся, потому что любил он лошадь, как близкого человека, любил, когда она склоняла к нему свою большую голову и жарко дышала прямо в лицо — нутром, пахнувшим зеленью и чем-то домашним, дорогим.

— Устала, сударушка!— гладил ее теплую скулу и глядел в добрые лунные глаза, где видел себя маленького-маленького, как в сказке.

— Сударушка...

Любил Илюшка вечером залезть на нее, только что распряженную, потную, и поехать к реке на водопой. Если поздно, то даже жутко ему было от темной воды,

где в бездне дрожат звезды, ломается молодой месяц. И лошадь там вверх ногами и сам вниз головой, непонятно!..

Тихо-тихо вокруг, а в горле лошади гулькает, будто где-то далеко постукивает в колотушку ночной сторож, не спеша, размеренно: тук-тук, тук-тук... Туманится, пеленится саваном на той стороне какое-то «ничего», но живое, думающее. Там в свое время кинулась в воду красавица Саша из-за того, что ее, сказывают, обманул Лунин, когда еще сам молод и красив был. Со временем уж Илюшка стал понимать слово «обманул», а сперва в уме не укладывалось: как же так, заманил орехами да конфетами и... обманул!.. Где же обман-то, если гостинцы давал?..

Теперь, по преданию, Саша будто по ночам всплывает со дна в белой рубахе и поет печальные песни...

Жутко. По телу озноб. И лошадь уж очень долго пьет, не отрываясь, только изредка подергивается у нее холка.

— Да будет тебе!— громче обыкновенного кричит на нее Илюшка и колотит ее бока потрескавшимися пятками.— Ишь раздулась!

Как-то неохотно, жуя остатки воды, роняя с губ зеленые капли, лошадь тяжело выходит на теплую пыльную дорогу, дремотно всхрапывает. Повернувшись назад, Илюшка видит, как по реке расходятся круги, дрожат в глубине белые звезды, трепещет, ломается месяц. Все там таинственно, настороженно, какой-то одинокостью веет оттуда, печалью.

«Баламошная!— зябко ежась, думает Илюшка.— Орехи грызла, конфетки сосала и... утопилась от обмана...»

У кабака шум и галдеж. Это подрались меж собой братья Кобылины. Младший из братьев пьяным-пьянешенек сидит на земле и кулаком растирает кровоточащий нос, плачет с причетами:

— На мое пил, меня же и в харю!..

Над старшим, как взрослая, строжится маленькая девочка. Она тянет его за рубаху:

— Тятька! Кому сказано? Домой пойдем!..

Старший Кобылин еще раз бьет младшего по лицу, наотмашь, страшно и безжалостно, потом берет на руки дочь, целует ее:

-51353-

Осинниковская ЦБС
Кемеровская обл.

— Голубочек ты мой сизокрылый!..

Высоко в мглистом небе вырисовывается силует креста на церкви. Облепленный ночующими птицами, крест напоминает черного человека, простершего нескладные руки над кабаком, над пьяными мужиками, над селом, над полями и лугами — надо всем, что виднеется ему оттуда. Сейчас сумрачный и жестокий, не такой, когда принимает на себя первый луч восходящего солнца, сияя золотом.

Ермил берет у Илюшки поводья, ставит лошадь в стойло, и они, дед и внук, идут в сарай спать. Лукерья, все еще красивая и стройная, стоит на крыльце с ведрами, кричит вдогонку:

— Молока бы парного выпили!..

Илюшкина мать Стеша, тронутая умом после страшной смерти мужа, с родов зачахла совсем. Больше лежала, скрестив на груди восковые руки, или моталась по избе, бормоча что-то и крестясь. Словом, в семье лишним ртом была. Но обижать ее не обижали. А Илюшка любил мать нежно и чутко: сам не съест в праздник яйца, ягоду какую найдет в поле, дедушка оделит чем — матери:

— Где ты тут, молчушечка! Руку скорее давай, гостинчик принес тебе!..

А мать все норовит вцепиться в Илью дрожащими пальцами и не отпускать от себя; тосковала, гонялась за ним, как малый ребенок. Вот и сейчас, если бы Ермил не погрозил ей, побежала бы в сарай за ними.

— Ты не пугай ее, дедушка,— попросил Илья,— она и без того горемычная!..

— Это я не пугаю, внучек, а для порядку вроде...— не от души говорил старик, которому сноха давно надоела хуже горькой редьки, и ничего он так не желал, как ее смерти.— ...для порядку, ласковый мой... А бояться ее приходится. Не догляди — избу подпалит... так-то оно получается...

Ночное небо давит на землю звездной непроглядной тишиной, приплюснуло дворы и житницы, приблизилось так, что достанешь рукой.

К сараю, по узкой и росной тропинке — темной, как щель, Илюшка идет впереди. Ермил тяжело ступает за ним, удовлетворенно отмечает про себя:

«Судачили, будто Степан не от меня произошел! А

как же Илюшка-то портрет мой? И сноровка моя в деле, и другой раз даже брюхо почешет по-моему».

В сарае он все стаскивал с себя, чтобы потеплее укрыть Илюшкины острые плечи, горячо шептал в ухо ласковые слова:

— Я пень старый, а ты опеночек подле меня. Давай ноги-то мне в коленки, закоченели, поди!

Или историю жуткую рассказывать начнет с долгим выдыхом, с придыхом — сердце заходится у Илюшки, и тогда кажется: не дедушка по щеке бородой шарушит, а леший нечесаный.

Были у Ермила три колдовские ночи в году, которые он не спал напролет: зимой — на крещенье, потом в майское полнолуние и летом, когда цветет лен. В эти ночи он клад искал. С заступом на плече бродил в темноте ни путем, ни дорогою, возбуждая свое воображение, пугая себя. От того места, где становилось особенно страшно, Ермил делал сто шагов на восток, затем шел по кругу. В замкнутом кругу с закрытыми глазами протаптывал две дорожки и там, где они пересекались, копал яму.

Много всяких хитростей знал он, но внука в них не посвящал.

— Молод ты, рано. Кто лишнее видит — тому жить тяжко. В словах, в дедушкиных россказнях мальчик видел одну жизнь — интересную, загадочную, какую-то можную, и дедушка в ней был другим человеком — властелином, хозяином. Другая, повседневная, жизнь проходила скучно. Дедушка в ней казался немощным, обиженным. Вот один раз с ним и с бабушкой Илюшка серпом жал барскую пшеницу. Руки исколол в кровь, до темноты в голове прогрелся на солнышке. Ермил подбадривал его:

— Дожнем, внучек, эти три десятины — три рубля получим. Полтора долгу отдадим. Из остальных тебе на новые портки выкроим.

Последний загон осилили в сумерках. Стали домой собираться. И тут управляющий объявился.

— Эй, кто там?— крикнул он издали.

— Мы, то есть, я — Ермил Макаров,— заспешил к нему дедушка, держась за поясницу.

— Штрафую тебя!

— За что?

— Парнишка на полтора вершка выше жал.

— Так он ведь...

— Ничего не знаю. Штрафую!..

Домой шли опечаленные. Ермил виновато говорил:

— Были бы у тебя, Илюшка, новые портки, да вишь... как получилось...

— А что же ты не заколдовал его, чтобы ослеп он!— возмутился Илюшка.— Хвастаешь все...

И Ермил не нашел что ответить, только вздохнул тяжко.

— Сроду так у него,— сказала бабушка.—Насулит и не сделает...

Многого в ней не понимал Илюшка. Любила подолгу молча глядеть вдаль за рощу, в ту сторону, откуда пришла сюда в ноябрьское тихое утро по первому снегу в новых лыковых лапоточках. Обопрется, бывало, о плетень и улыбается чему-то. И бежит, и бежит по ее румяной щеке светлая слезинка.

— Ты что, бабушка?— спросит Илюша.— Плачешь?

— Нет, соринка попала...

Утрется подолом и по делам пойдет, сдвинув тонкие брови. Такая молодая, что не хотелось и бабушкой ее называть. Чай, не одна сельская девушка ей завидовала: походка легкая, голова — прямехонько, стан точеный. Не смеялась, как другие, не закатывалась, всегонавсего улыбалась, чуть-чуть вздрагивая округлыми плечами. Хороводы водила, песни петь мастерицей была. Пойдет по кругу — правая рука у груди, левая, с платочком, крылом в сторону. Не зря барин уговаривал ее у него в доме служить. Другая бы на ее месте ему в ножки бухнулась. А она сквозь белые ровные зубы:

— Покорнейше благодарим, батюшка.

А Ермилу так ответила, когда он попытался приказать ей не упрямиться:

— Утоплюсь лучше.

— С чего это?

— Скажу, когда смерть придет. Ничего не унесу с собой... А допреж не пытайся...

Всю свою жизнь чего-то ждала Лукерья, к чему-то вроде прислушивалась постоянно, почти не покидало ее печально-внимательное выражение лица. Говорила ли с кем, глядела ли от колодезя вдоль села, взгляд ее был близок и одновременно очень далек. Это отчуждало ее, отдаляло от домашних, от сельских, от всего, что окру-

жало. Вот эта ее непонятная одинокость и не давала покоя мужу, держала его в напряжении.

— У других жены как жены, а ты непохожая. Уж и не знаю, как мне с тобой: молиться на тебя аль колотить почаще?..

Привязчив, надоедлив был Ермил в молодости, жаден на ласки, так что иную ночь Лукерье и уснуть не даст. Она же его не отталкивала, но и не чувствовала: лежит дремотно-покорная, с холодным сухим ртом, с открытыми немигающими глазами. Однажды, когда они ночевали в сарае и месяц светил сквозь худую крышу, Ермил случайно увидел ее мертвенное лицо... Увидел и похолодел сам, страшно стало.

— Лукерья, с ума ведь сведешь!— и заплакал вдруг, уткнувшись лицом в подушку.

И только тогда, только в тот раз она положила его голову на свою руку и, погладив по щеке, сказала мягко:

— Уснем давай, скоро светать будет...

Сколько раз она мысленно возвращалась к тому, от чего навеки ушла в тихое ноябрьское утро — к васильковым полевым дорогам, к кудрявому Ефимке, к его голосу: «Лунюшка, давай убежим вместе...»

Вскоре, как обвенчана была Лукерья, за кучера приезжал Ефимка в лунинское именье, виделись они, но мельком, на дороге, когда в снежной пыли вихрем пролетела мимо лихая тройка. Потом уж через много лет заходил молодой странник, спросил Лукерью Касьяновну, отвел в сторонку ее и тихо поведал:

— Батюшка мой, Ефим Дроныч, долго жить приказал. Помирая, завет мне оставил — тебя разыскать, Лукерья Касьяновна, да в пояс поклониться...

Было это или не было, теперь уж и не скажет она, потому что, услыхав такое, снопом упала к ногам странника, а опомнилась — его и след простыл.

Может, наяву было. А может, с того света Ефимушка весть подавал, к себе звал...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Умерла Лукерья великим постом, чуть ли не в одночасье. Пожила после того, как что-то стукнуло ей в голову и наступила слепота, с обеда до вечера. Но в гре-

хах покаяться, успела и причащенной и соборованной умерла. Илье тогда шел девятнадцатый год. Бабушкина тайна, сразившая деда, на Илью особенно не подействовала. «А не все ли равно, каких ты кровей, роду, звания? Все под одним небом живем, одному богу молимся!» И успокаивал деда Ермила:

— Не печалься! Не тот, кто родил,— тот, кто кормил, дорог. Да и не верь, не в уме была бабушка. Погляди на меня хорошенько — себя узнаешь!

И дед Ермил глотал слезы, кивая лохматой головой:

— Узнаю, узнаю, родненький...

Лето в тот год выдалось на редкость неспокойное, грозовое. Занедужив, Ермил целыми днями сидел перед домом на скамеечке, опираясь на костыль ладонями и подбородком. Глядел из-под нахмуренных бровей на два камня и мрачно предвещал:

— Не миновать пожару. Непременно гром ударит вот в эти камни, разоединит их...

Пройдет кто мимо — тоже не понравится, скажет что-нибудь злое вслед. Беспощадно пинал кур, которые копошились у его ног. Илья тоже ходил мимо него опасливо: «Знать, умрет скоро, коли звереть начал!» Ермила, видя настороженность его, нехорошо хихикал.

— Чего ты, парень, поодаль все? Подойди поближе.

— Зачем?

— Да хоть палкой я тебя огрею.

— Было бы за что!

— Да за всех, милый! За господа бога, за царя-батюшку, за боярина-барина... Я-то умру, а ты жить останешься... Глядишь, придет время, и передашь кому что от меня получил...

Бывал он и добр. Пошарит в карманах старой дубленой шубы, что-то достанет оттуда — вроде чумазого кусочка сахару, поплюет на него, поцарапает корявым ногтем и сует Илье, крадучись:

— На. Да мотри, никому не показывай!..

Илья ладит подпорку под правый угол избы. Мать, прижав сухие руки к подбородку, стоит рядом, переминает босыми ногами, любуется сыном, словно он сотворяет невиданное, как бог — небо и землю. Мешает она Ермилу, и он кривит бледные губы:

— Посторонись, полоумная! Аль по воду сбегай.

Илья ласково кивает ей:

— Стой, стой, маманька. Не слушай его.

Старик взрывается:

— А мне-то надо глядеть, ай нет!

И, успокоясь, начинает учить внука:

— Живи — не поддавайся, парень. Голову склонишь — на макушку наплюют. Кулаков не разжимай, потому как жизнь — драка сплошная: зазевался — ребры переломают.— И с раздумьем, поразмыслив, продолжал: — Помирать мне страсть не охота. Не оттого, мол, что сладко жилось. Я, брат, по макушку сыт на этом свете. Главное, помру, не рассчитавшись с кем следовало. Эх, накопилось сколь!..

Пригоняли скотину. Ермил и Степанида, поужинав, ложились спать. А Илья допоздна вечерил — сидел на камне, который побольше, думал: «Украсть или с выгодой на вдове жениться?»

Что ни что, а дальше так жить не годится!.. Приходила соседка, дочь бобыля Дементия, участливая девушка Феня, и садилась на камень, который поменьше. Из хозяйства у Фени с отцом была одна коза — такая же голубоглазая, как Феня, и резвы были одинаково, и ходили постоянно вместе. Поет девушка песни, собирая в лесу ягоды или грибы, и коза голосит. Загрустит человек — и животное вроде припечалится. По этому поводу на селе всякое говорили, дескать, колдовство, не иначе! Дементий, которого прозвали за молчаливость безъязыким, собирал травы, лечил людей. Жил одинокой, никому непонятной жизнью: покажется и нет его.

— Где ты все пропадаешь, Дементий?

— Куда ветер — туда и я...

— Одичаешь ведь!

— На природе-то?..

Феня явно любила Илью. Он же к ней относился с усмешечкой, разговаривал с ней, как с меньшей по возрасту, хотя и были они одногодками.

— Ну, что тебе?— спросил он, когда девушка садилась на камень, натягивая на колени старенькое розоватое платье, спросил недружелюбно. Феня же в ответ удивленно всплеснула руками, обрадованно сказала:

— А я нынче утром какой гриб нашла!

Илья покосился в ее сторону:

— Косматая ты, как ведьма.

А Феня ему:

— Хочешь орешков?

— Эка невидаль! Молоко, наверно.

— Не скажи!— заспешила Феня разгрызть орех и показать на ладони маленькое зернышко.— Попробуй!

— Ешь уж сама.— Отвернулся Илья и стал глядеть на мерцающие звезды, удивляясь: «Падают, падают каждую ночь, а пропасть сколько еще их!»

Потом подумал о том, что месяц все же из золота состоит и что в нем не меньше трех пудов весу, и что хорошо бы, месяц упал, а он, Илья, нашел его. Тогда бы можно жениться и на бедной.

По дому Илья работать не ленился, но без настоящего усердия — не видел просвету: «Так из нужды не вырвешься!». Если бы было на что лавку открыть или земли подкупить... В клады деда Ермила не верилось: сколько помнилось — никогда не нашел ни одного. Душу черту продать — боязно. А без этого какой клад в руки дастся!.. Вот отец... тот было верно задумал, да не с руки вышло, страшную смерть принял, а ничем не попользовался... Где же те пути-дороженьки, что к счастью ведут?..

— Слышал, ты колдовать умеешь,— Илья повернулся к Феньке, сосредоточенно грызущей еще не вызревшие, вяжущие во рту орехи,— наколдуй мне!..

Фенька сплюнула скорлупу, ладонью отерла губы, не удивилась вопросу, не обиделась на выдумку сельских сплетниц.

— Умею,— сказала она, гордо встряхнув головой.— Тебе что наколдовать, невесту красивую?

— Нет, богатую.

— Тогда меня сватай.

Илья задумался:

— Бедны мы с тобой.

— А я нет.—Фенька засмеялась. — Колдуньи не бывают бедными. У меня, знаешь... все: лес мой, поле мое, небо... Даже ветер и солнышко!..

— Болтай больше!— с мужицкой ухмылкой Илья дотянулся и сильно ущипнул девушку за бок.— Язык-то без костей...

От жгучей боли она даже не поморщилась, лишь открыто и долго глядела ему в глаза — без упрека, без осуждения. Илья оробел даже:

— Ну чего ты?.. Правда, колдунья?

— Добрая. Только добро делаю,— и она неожиданно погладила его руки, лежавшие на коленях.

С детства Илья холодно относился к Феньке, обижал часто, не считал ни за девчонку, ни за человека. А сейчас что-то потянуло к ней, появилось желание повозиться с ней где-нибудь на соломе, подурачиться.

— Целоваться умеешь?— не скрывая наглости, спросил он.

— Умею,— кивнула она, как будто спрашивал Илья о самом простом, обыденном.

— В сарай пойдешь со мной?

— Пойду.

— А знаешь по што?

— Так...

У Ильи на миг пересохло во рту, но вслед за жаркой волной, пробежавшей по телу, к горлу подкатила горечь. Он глотнул слюну:

— Дура!..

— С чего ты?— не поняла Фенька.

Илья отвернулся:

— Дура, говорю. Спать ступай!..

Дома, шмыгнув на шаткую деревянную кровать, под старое стеганое одеяло, от которого пахло прелью, потому что протекала над избой крыша, Фенька затаилась. «За что дурой назвал?» Думала-думала и вдруг ахнула, догадавшись: «Так вот, что на уме у него, охальника!» Она сбросила одеяло, выбежала на улицу, с разбегу сунула в нос удивленному Илье кукиш:

— Видел?!

Потом опрометью кинулась к реке, а за ней — постоянная подружка — коза, побежала туда, в жуткую темноту, в сырое молчание ночи.

— Тьфу, ведьмы!— Илья плюнул под ноги и набожно перекрестился.

Ночь прошла для него беспокойно: мать вскрикивала во сне, обреченно звала к себе Степанушку, и ее зов нагонял безвыходную тоску.

— Шла бы сама к нему с глаз долой!— сердился Ермила и просил:— Илька, заткни ей пасть тряпкой, что ли!..

Вставал старик, гремел о ведро кружкой, пил злыми большими глотками, отдувался:

— Господи, господи, никакого покою!..

Устроившись было на лежанке, Илья собрался и по-

шел в сарай босиком по холодной росе. Дрожалось и оттого, что из теплоты, и оттого, что всегда не доверял темноте, побаивался ее мягкой близости и кошачьей крадучести. Последние летние ночи, особенно в безлуние, бывают так густы и непонятны, что кажется, будто кто-то стоит или идет за спиной и вот-вот постучит в макушку или положит на плечо властную руку. Оглянуться страшно, и не оглянуться нельзя... Суеверному Илье часто мерещилось, чудилось. Когда с дедом ложился — спокойнее было, а одному идти в сарай и нащупывать там старую попонку, брошенную на сено, прямо невмоготу!..

Заснул только под утро, а наснилось всякой всячины короб. Видел, как топилась в реке Фенька и топила его. Видел себя с зеленым хвостом на дне ночной реки. Потом вместе с Фенькой и с утопленницей Сашей всплывал, чтобы петь печальные песни, сидя на крутом берегу над туманной водой...

Проснулся — думал. Пытался представить свою жизнь в том случае, если бы отцу удалось обокрасть церковь и разбогатела семья. Илья верил в бога душевно, молился по-матерински, истово, но поступок отца пытался оправдывать. «Почему бы не занять у бога? Нет, не украсть, а занять именно! Занять, разбогатеть и вернуть сторицей...»

Получалось можно. Теперь бы Илья вернул богу то, что собирался отец взять. Теперь бы у Макаровых было две добрых лошади, а то и три... Коров пара, овец табун... Кур тьма-тьмущая... Купил бы Илья у Лунина землицы, знакомство бы с ним завел... Научился бы по-французски — «ля мэр, ле пэр»... Чем черт не шутит!.. В мыслях Илья женился на барышне, хоронил тестя-барина и брал хозяйство в свои руки... Мужиков не обижал, но и не потакал: лежебоких бьют под боки!.. Взял бы у мужиков землю, как до вольной было, и сказал: вот вам мой харч, моя одежонка, живите, жрите от пуза, но и работайте за это, мать вашу в затылок!..

Илья с удовольствием потянулся, поизвивался вьюном на сене, пограбастал его крепкими руками и, сев, перекрестился:

— Суди мя, боже, ако услыше молитву мою!..

На дворе было белесо от преждевременного заморозка и солнечно. У своего крыльца Феня доила козу,

согнулась так, что сзади выше головы торчали ее голые колени.

— Бог на помощь!— крикнул Илья, останавливаясь и собираясь спросить, зачем бегала вчера на реку Феня, и рассказать, что снилось ему о ней.

А Феня словно не услышала его, лишь села поудобнее и сказала козе строго:

— Стой, непутная!..

Вчера на реке она наплакалась как следует: грубость Ильи показалась такой греховной, такой позорной, что почти неискупимой. А потом «заколдовала» свою любовь к Илье. Для этого Феня наощупь выбрала на берегу заветный камень-голыш, перевязала его своим алым поясочком, пошептала над ним и с моста кинула в глубину. С той поры только тот может стать ее женихом, кто достанет камень со дна... Камень, перевязанный Фениным поясочком...

Она даже побожилась, поклялась в верности своему завету, подняв к небу мокрое от слез лицо и глядя на белую звездную дорогу:

— Царица небесная, прости и помилуй! Отдай мою любовь кому хочешь. Аминь!..

А в том, что там услыхали ее просьбу, приняли к сердцу,— нет никакого сомнения: тут же, как был совершен обряд, три раза громко пропел петух.

Сейчас, слыша голос Ильи и не отвечая ему, Феня усмехнулась: «Вдруг он найдет камень?!— но быстро сделала строгое лицо и соврала богу.— Нет, пусть лучше другой кто!». С Ильей ей не жить...

Илья не такой, какой ей нужен, не похож на того, которого она вчера ночью придумала. Тот придет из поля, из ржи выйдет с васильками в руках, тряхнет белыми кудрями, поклонится.

— Здравствуй, лебедушка, душа моя, красна девица!

— Здравствуй, молодец, ясный месяц мой!

— Не угодно ли вам букет принять?

— А позволь спросить, с чем пожаловал?

— Я пожаловал с любовию, с любовию своей чистаю, чтоб руки просить твоей, девушка, целовать тебя в уста сахарны, чтоб глядеть в твои очи светлые, брать за белые тебя рученьки, под венец вести в церковь божию.

— Так ступай-поди, опустись на дно быстрой ре-

ченьки и достань завет, завет-камешек, перевязанный поясочечком, поясочечком моим алыим.

— А я вот и на, уж достал его, только камень тот изумрудом стал, как звезда горит небесная. Поясочком же подпоясан я, видишь, кован он чистым золотом и подарком мне будет свадебным...

А как Фене хотелось поговорить с ним еще, да сон пришел. А может, сон ушел?.. Остался лишь запах васильков и желтое тепло спеющей ржи, и сладкая боль в сердце...

За утренним чаем Ермил чесался, ворчал:

— Блохи заели... Нестирано, немыто кругом!..

В мятой картошке нашел очистки и бросил на стол щербатую ложку:

— Женись, Илья, христом-богом прошу. Пропадем без хозяйки!

— Погожу.— Илья вспомнил, о чем думал, проснувшись,— надо другое испробовать. С барином поговорить собираюсь...

От того, что пришло вдруг на ум, Илью передернуло: «Не грешно ли?»

— Барин в женитьбе не указ ноне, не бывалышна пора! — Ермил сбычился и затряс головой, обметая со стола крошки. С того часа, как жена на смертном одре повинилась ему в грехах, он затаил на барина лютую злобу. Лукерью простил тоже не от души: «Хитра была, при жизни не открылась, что с троими до меня прелюбодействовала! Другая бы руки на себя наложила от такого позора, а она нет. Вот и померла без время — бог покарал!» Тех, других, Ермил не знал и не знает, а Лунин рядом, бельмо в глазу. «Погоди, поправлюсь ужо, посчитаемся!»

— В семье я старшой! Женись, говорю, и шабаш! — прикрикнул Ермил на внука, пока тот соображал, как перехитрить барина и не согрешить перед богом.

Илья не пошел к барину ни после завтрака, как собирался, ни на другой день. Думал-передумывал, чтобы не провалить дело. Выспрошал у деда Ермилы про бабушку, про своего отца — каков тот собой был. Справился о здоровье Лунина, о его характере. В довершение ко всему нацарапал на грамотке «бабушкино завещание», где было сказано: «...почитай внук мой и люби ясна сокола батюшку барина Степан Владимирыча именем коего назвала я отца твово покойнова коль случит-

ся время трудное поклонись ему в ношки белыя знай что ты ему...»

На этом «завещание» обрывалось, потому что у бабушки Лукерьи якобы при этих последних словах закатились глаза, и она нашла силы лишь для того, чтобы осенить себя крестным знаменем.

Барин может спросить:

— Как же она написала, ведь даже крестики не умела ставить?

Илья приготовился и к этому:

— Истинная правда, Степан Владимирович, не умела. Бабушка велела дедушке уйти на это время, а меня позвала и молвила через силу: «Возьми грамоту, милый, запиши, что я молвлю». А я-то, ваше сиятельство, от дьяка научился...

Принарядился Илья, причесался на пробор с церковным маслом. На коленях постоял перед образами, трижды прочел «живые в помощи». Вышел и степенно направился вдоль улицы на восток, где в полуверсте от села виднелись сосновый бор и барские постройки. Владело им чувство презрения к лачугам под соломенными крышами, к угрюмо сидящим на ступеньках кабака опухшим от водки братьям Кобылиным. Против них стояла тощая старуха-мать с пустыми ведрами, бранила сыновей:

— Аспиды! Холеры на вас нет!..

Словно медведи после зимней спячки, взъерошенные, красноглазые, Кобылины глядели исподлобья, по-звериному голодно. Старший подтолкнул младшего, и тот кинулся к Илье:

— Погодь, дело есть! — прячась от матери, он показал из-за пазухи яловые женские сапожки, дохнул на Илью падалью, словно нутро у него стало гнить.— Опохмелиться... сил нет...

Брезгливо отстраняясь, Илья решительно взял сапожки, поцарапал подошву, сунул руку в один, в другой, и к ужасу было ожившего мужика отдал их старухе. Она взревела от радости, а Кобылины побледнели, в кулаки на Илью, и быть бы ему битому, да, знать, праздничный вид его остановил их. Лицо старшего зловеще перекосилось, меловым языком он облизнул синие дрожащие губы:

— С огнем балуешься!.. Аль в каменном живешь?!

Но воли у пьяниц не бывает, есть миг отчаяния на

взмах, на смертельный удар, а миг был упущен, поэтому Кобылины вдруг обмякли под властным взглядом Ильи, младший жалобно съежился, старший всхлипнул:

— Илюха, Илюха, что ты наделал...

В пахнувшей керосином и чесноком лавке Илья поздоровался лишь с хозяином Демидом Устинычем. А люди, что были там в это время, расступились перед ним с поклонами. Знать, почувствовав настоящего покупателя, просиял лавочник:

— Что прикажете, Илья Степанович?

— Некогда, после приду,— ответил Илья.— Вот разве подсолнечников осьмушку для забавы, пожалуй.

И стал рыться в карманах, где среди подковных гвоздей завалялось несколько копеек.

Уходя, услышал:

— Эх, паря, денег карманы полны!..

— Чей?

— Ермилы Макарова внук, сын Степки-вора. Помнишь, в церковь залез...

«Вот оно что не учтено! — помрачнел Илья.— Барин, должно быть, тоже помнит?.. Вразуми, господи!..»

Вразумил... «В правде греха не бывает,— рассудил он.— Если человек заведомо не знает, что он врет,— тоже не грешно. Кому известно, что отец намеревался именно обокрасть церковь? А может... Ничего не может, а так, точно, не обокрасть!.. Предположим такое: бабушка отцу рассказала, что он не Ермилов сын, и попросила его остаться в церкви на ночь, чтобы помолиться за ее грехи... Могло быть такое?.. Могло... Могли прихожане, не разобравшись, в чем дело, напрасно убить отца?.. Могли... Да оно, должно быть, и было так!..»

Все остальное уже легко лепилось одно к другому. Неоправданное убийство отца не прошло даром: чума погуляла по приходу, потом мор на скотину... Неурожай был... Пожары... Тогдашний дьяк в крещение Иордани прямо с крестом провалился в прорубь и не всплыл с тех пор... Много случилось бед и неспроста, только об этом нужно напомнить людям...

Придумывал Илья и до слез верил в придуманное, словно из посторонних уст услышал горькую правду...

Обретая прежнюю уверенность в себе, в правоте задуманного, он прошел мимо заросших прудов с рухнув-

шей купальней, мимо служб, замшелых и необихоженных. В глаза бросился беспорядок и запустение. По-осеннему сквозившая липовая аллея привела его к колончатому фасаду барского дома. На широких ступенях толстым слоем лежали опавшие листья. «Неужто подместь никто не догадается?! — усмехнулся Илья и стал глядеть на воркующих голубей, во множестве облепивших скат крыши. Дом казался нежилым, и если бы из раскрытого окна на втором этаже не слышалась веселая музыка, то можно было бы подумать, что дом давно покинут людьми.

Но вот из-за угла выбежала сука легавой породы, за ней — орава кудлатых щенков, и все они кинулись в ноги Илье, вешаясь на него, скуля, тычась мокрыми холодными носами в руки, шаркая горячими языками.

Илья снял картуз, потому как оттуда же, откуда прибежали собаки, показался сам барин — седой старик невысокого роста, но прямой и плотный. Лицо его восково-желтое. Дряблая кожа на скулах висела, делая небольшой рот капризным, недовольным. Путаясь в полах длинного теплого халата, он подсеменил к Илье и близоруко поглядел на него старчески потухшими, когда-то синими, глазами. В это время Илья подумал: «И у меня синие и у отца синие были!»

— Где же ты изволил пропадать, голубчик? — дребезжащим голосом спросил Лунин, отстраняясь.

Илья потупился:

— Я, господин барин, сельский, Ильей Макаровым прозываюсь. На поклон к вашей милости...

Барин встряхнулся, хмыкнул и потряс головой:

— Так ступай прежде найди мне Нифонта и приходи с ним. Понял?..

— Понял, ваша светлость,— обрадовался Илья,— никак его я видел в саду. Там девки яблони окапывают, а он возню с ними затеял. Я мигом, господин барин!

К слову Илья мог бы еще сказать, что личный кучер барина Нифонт шибко пьет и лошадей заморил, да Лунин не расположен был слушать, занялся собаками.

Нифонт действительно был в саду и действительно гонялся за девками — под хмельком, веселый. Илья застал его на Ульке Шумовой, между куч мусора. Улька отбивалась от него руками и ногами, визжала поросен-

ком. Вокруг хохотали девки. Потом Улька наконец изловчилась и подмяла Нифонта под себя. Девки захохотали пуще.

Илья шлепнул Ульку по широкому круглому заду:

— Будя дурачиться!.. А тебя барин зовет! — сказал он Нифонту с укором.— Ищет, а ты тут шашни разводишь!..

Нифонт вскочил, выругался:

— Мать твою переехал! Совсем забыл! — слазил за шапкой, которую девки успели закинуть на дерево, попросил Илью: — Не сказывай про меня, Степан Владимирович не любит, чтоб с девками... Мол, на озимь ходил Нифонт, зайцев высматривал...

«Да уж сам знаю, сказать что, коль к слову!» — думал Илья, идя впереди и не давая кучеру, как провинившемуся, обогнать себя, чтобы первым доложить барину: полюбуйтесь-де, ваша светлость, вот он, раделец, девок обхаживал, вместо того чтобы барскую волю исполнять!»

Степан Владимирович Лунин действительно долго был неравнодушен к Лукерье и имел с ней грех до того, как выдать ее за Ермила Макарова. Будучи предупрежденным, староста привел к нему Лушку прямо с дороги — заснеженную, с пылающими щеками, не похожую на его, лунинских, девок ни ростом, ни манерой держаться. А уж красотой и подавно. В обтаивающих лаптях она стояла перед ним пяточка к пяточке, не косилась, не боченилась, глядела открыто, прямо в глаза барину, поджав под мышки озябшие кисти рук.

— Что ж, Лукерья, в баню иди! — весело сказал Лунин, любуясь девушкой.— Отдохни, поешь в людской, там видно будет...

Он помнит, как сграбастал ее в предбаннике в одной рубашке, горячую и влажную, повалил на широкую дубовую лавку...

И после все думал и думал о ней, и приглашал, овдовев, Лукерью экономкой в свой дом. И что-то шевельнулось в груди, когда увидел Лукерью с младенцем на руках и спросил, как назвала она сына. И когда слух дошел, что мужики ухлопали красавца Степана Макарова, опять чувствовал себя неспокойно... Но все со временем забылось, затуманилось.

Илья ковырнул старую болячку, ковырнул не до крови, не до боли, а лишь настроил на нежное воспоминание далеких времен о шумном от гостей доме, буйном желании жить нараспашку, хмельной головой кидаться в кусты цветущих жасминов, очертело скакать на лошади со свистящим бичом в руке наперерез борзым, чтобы смять и засечь матерого волка...

Илья показался пришедшим из прекрасного далека и был желанен, поэтому и разговорился с ним Степан Владимирович, забыв, зачем нужен был ему Нифонт. Он отослал кучера, как только Илья подал ему смятую бумажку со словами: «Завещание покойной бабушки Лукерьи».

Барин читал «завещание» еще и еще. Затем снял очки и без них пристально посмотрел на Илью, стоящего с картузом в руках. Потом откинулся на спинку кресла, чтобы мысленно вновь вернуться «к чудному мгновению», и оно промелькнуло... Лукерья! Ведь все-таки она оставила самый неизгладимый след «в морщине старого утеса»... А было... Эх, сколько было... Но не было настоящей любви...

«Знать, ошарашил!» — думал Илья, наблюдая за восковым лицом, стараясь предугадать, куда повернет дело. Барин может осерчать, крикнуть: «Пошел вон!». Охота ли ему чернить свое доброе имя. Всякому доведись, а что бы там ни было, постарается спрятать концы, ведь хлоп нахально в родню лезет! Мало того, за подлог в управу поволокут...

Илья мёр, чувствовал дрожь в коленях и близкую боль в сердце, словно туда было направлено раскаленное железное веретено.

Где-то маятник часов отсчитывал время, где-то лилась нежная музыка. Лунин сидел, как неживой, завороженный, вытянув и положив бескровные руки на крышку письменного стола.

Но вот, наконец, содрогнулось лицо, приоткрылись глаза и тонкие старческие губы тронула улыбка.

— Помню Лукерью, как же! — сказал он как бы самому себе.— Помню...— И почти тут же поднял на Илью другое, недовольное лицо: — Вздор! — Помолчал и добавил: — Тут, братец, бред написан. Я ничего не понял. Попробуй на словах расскажи, если ты записывал!

Но проследив, как барин вложил «завещание» в кни-

гу и захлопнул ее, Илья смекнул: «Понял!» — и облегченно передохнул: самое страшное миновало!..

Только теперь он увидел полностью письменный стол, в беспорядке заваленный книгами и журналами. Старые часы, которые до этого только слышал, находились справа,— похожие на черный узкий гроб, поставленный на попа,— и высились от пола почти до потолка. Слева стояла думка, над ней по стене висели портреты. В кабинете сладко пахло мятой. В окна лился желто-розовый свет увядающего сада.

Пока Илья переминался и соображал, как соврать поскладнее, Степан Владимирович, умышленно или нет, спросил о другом: как он, Илья, думает о теперешней жизни.

— О жизни я много думал, ваше сиятельство,— степенно начал Илья.— Шел сюда, тоже думал... Жизнь... она, это самое, к упадку пошла...

Лунин вскинул белые брови:

— Ну-ка, ну-ка!..

— Народ ленив стал.

— Верно!

— Не зря говорится: что посеешь — то и пожнешь... Иду и думаю... Пруды почистить бы, рыб напущать. Оно как хорошо свеженькую на стол подать.

— Было, было! — еще больше оживился Лунин.— Форель водилась.

— Еще бы дом ваш подновить,— продолжал Илья,— круг него порядку не видно... В саду вон зайцы яблони объедают. Что-то и лошади у вас стали не те, как бывало, помню... А Нифонт, осмелюсь, избаловался.

— Верно! — подтвердил Лунин.— Ты молодец, я скажу.

Ободренный Илья начал целиться в управляющего, но как- только упомянул его имя, барин перебил:

— Знаю. Вор. Жулик Франц Францевич! — сердито покряхтел, покашлял, поднял на Илью близорукие глаза.— Ты о чем просить, мил человек, меня собираешься?

— Служить хочу вашей милости... бабушка так завещала...

И тут Лунин отвернулся от Ильи, задумался.

— Служить? — спросил он, не глядя на Илью.

— Верой и правдой, ваше сиятельство...

— Верой и правдой! — сердито повторил барин.— А про отца своего забыл?..

— Нет, ваше сиятельство, не забыл и не забуду.

— Ну и ступай откуда пришел!

— Степан Владимирович! — от того, что рушатся все надежды, Илья даже всплакнул по-настоящему, продолжал, шмыгая носом:— Ить он, батюшка мой, царствие ему небесное, без вины муки принял... Может, его, ваше сиятельство, к лику святых причислить следует. Он мне, барин, каждую ночь покою не дает, на церковный погост просится. За что, говорит, меня в поле захоронили.

— Мелешь! — изумился Лунин.— Где это видано, чтобы покойники к живым приходили?!

— Чудится, барин,— доказывал Илья,— мне и матери моей, как живой, является...

Тут барин вскочил и замахал руками:

— Молебен, панихиду отслужите. Да с этим, право, не ко мне, а к попу надо!

Илья совсем уронил голову:

— Пойду. С богом, барин, прощайте... А бабушка так сказывала: послала его в церковь на ночь за Степана Владимировича помолиться, он с лошади упал в ту пору и плох был...

Утирая кулаками слезы, Илья успел заметить, как пошатнулся барин, хватаясь за кресло. Он правда был тогда болен и правда к нему тогда прибегала Лукерья, чтобы попросить защиты для сына, но он лежал в постели и ее к нему не пустили. Что бы она сказала, если бы они встретились?..

То, что Илья приберег на последнее, поразило, потрясло Лунина. Его стариковский ум не способен был к анализу. Барин уже не мог мысленно вернуться к тому, с чего начался их разговор с Ильей, проследить и увидеть фальшь, он был пленен тем, что Степан — его сын.

В следующее воскресенье, в обычное время — на свету, звонарь Орентий Дохлый по винтовой лестнице поднялся на колокольню. От выпитого вчера у него стучало в висках и давило грудь. Пил он вообще много, а вчера с расстройства потерял всякую меру. Под конец стало казаться, будто в бутылке сидит покойник и гро-

зит кулаком. После большого запоя ему, обычно, мерещились голые птенцы — таращили большие красные рты, просили Орентия, чтобы он слетал в поле и принес им земляных червей, а тут вдруг покойник да еще кулаками размахивает! А расстроился Орентий оттого, что в кабаке кто-то напомнил ему про убиенного Степана Макарова, у коего он, Орентий, как известно, собственноручно выколол глаза.

Запамятовал Орентий, кто вчера подсел к нему и спросил:

— Помнишь Степку, в церкве пойманного?

— Которому я глаза выколол? — похвастал звонарь.— Как сейчас помню!

— Напрасно, сказывают, душу-то загубили, молиться остался он, а не воровать...

Кто же это сказал?..

Может, привидение было?..

Напрягая мысли, Орентий навалился животом на оградку пролома, глянул сверху на спящее село—оно пустынно безмолвствовало: ни огонька, ни собачьего лая. Вдали над темным лесом начиналася зорька, словно кто вспорол небо, и оно пустило кровавые струйки. Глянул поближе, к церковной ограде,— сумрак да голоса дерущихся кошек: одна младенцем плачет, другая стонет, как Степка Макаров стонал...

Постепенно там, внизу, стало что-то белеть, делаться яснее, и вот уж Орентий явственно видит человека в белом и узнает в нем Степана Макарова. Руки Степана длиннеют, длиннеют, тянутся к колокольне, а в каждой ладони — по большому синему глазу лежит, глаза чистые-чистые, живые-живые, с сиянием вокруг...

Вместо милого сердцу перезвона «дон-тили-дон», окрестность огласилась тревожными ударами главного колокола, часто и грозно: «пожар!».

Каково мужику, разморенному предрассветным сном, услышать набат! Без памяти он подскочит к окошку, растрепанный, пучеглазый, и почти тут же, не одеваясь, не обуваясь — во двор: не сам ли горит?! Вор ворует, стены хоть оставляет. Пожар все уносит. Пуще всего боится мужик огня и все-таки любит издали поглядеть на полыхающее зарево от своего, богом помилованного, гнездышка! Стоят почесываются, громко и тревожно

переговариваются с соседями, гадают: какая деревня горит, да с какого края, да чей дом там стоит, не он ли горит именно? Те, которые помоложе, сбегают-слетают: что за семь верст на пожар оттопать! Зато сколько потом разговору, на целый год!.. На одном конце села очевидец скажет: дом сгорел и старуха в нем. А пока идет сказанное до другого конца, в такую страшную историю превратится, что и сам очевидец слушает ее с удовольствием и не перечит! Верит, что не дом — деревня начисто, что, кроме старухи, ребятишек много задохнулось, обгорели три мужика, наверно, не выживут, что беременная женщина пыталась вылезти в окно, кричала, но никто не смог ей помочь... Ты соври, но, главное, чтоб за душу брало!..

А уж если мужик поднялся по тревоге, настроился, то ты ему подавай событие! Зря что ли он чуть исподни не замарал с перепугу?!

И вот, на тебе, долдонили в колокол, а вокруг никакого зарева, что за шуточки?.. Мужик в таком случае эх как серчает!..

— Кум, ты слышал?

— Еще бы! Вишь, все село на ногах!

— Я искорки не вижу!

— И я нет!

— Так что же, туды их?..

— Ума не приложу!

Постой, постой, вроде к церкви бегут!

— Неужто опять воры?

— Так чего же стоишь?!

— А ты чего?

— Бежим!

— Бежим!..

Толпа колышется, толпа запаленно дышит, сердца у мужиков где-то в горле стучат. Лупят друг на друга глаза, озираются сумасшедше.

— Кто переполох устроил?

— Слышишь, Орентий, бают!

— Чай, спьяну?

— Кто его...

И вдруг по толпе:

— Степан!!!

— Степан!!

— Степан!!

— Степан!

— Степан.

— Степан...

И совсем еле слышно: «Степан Орентию явился...»

— Явился?.. Батюшки!..

Теперь каждому надо на Орентия поглядеть, пощупать его. Орентий, этот дохлый пьяница, всеми отверженный человечек, стал вдруг интересен, как богоявленная икона. Теперь им не будут помыкать, всяк постарается, как желанного гостя, пригласить его в свой дом, послушать, понаслаждаться ужасом загробного видения.

Вместо заутрени решили провести сход, чтобы Орентий рассказал, как дело было, а отец Сергей растолковал, что знаменует собой явление покойного Степана.

На паперти поставили табуретки, на табуретку — Орентия, чтобы его, низкорослого, видели все.

— Православные! — начал он в гробовой тишине.— Я еще на колокольню не залез, когда звон заслышал. Поторопился туда... Кто бы мог, думаю?.. Забегаю... Свят, свят!.. Колокол бьет, а никого нет!.. Я было к отверстию, народ звать... А там, внизу, Степан у ограды!.. Я по ступеням обратно, а на ступенях шкилеты сплошь... Пресвятая дева!..

Чтобы оправдаться, Орентий собирался еще кое-чего присочинить, но отец Сергей спихнул его с табуретки:

— Будет тебе молоть, Орентий! — сказал он строго и разрешил высказаться Илье. Тот рассказал лишь о снах, в которых ему грезится отец и будто просит перенести его на церковное кладбище.

Толпа не удовлетворилась, послышались возгласы:

— А бабка Лукерья что перед смертью баяла?

— Правда она Степана молиться послала на ночь?

Илья заколебался, потому что ни с кем, кроме барина, об этом не говорил, но ему помог отец Сергей. Поп отстранил Илью и громко произнес:

— Правда, православные, она его молиться посылала!..

И тут же попросил разойтись по домам, потому что ему нужно обдумать, что предпринять в дальнейшем.

Благословив толпу, он перекрестился сам и направился восвояси, довольный собой. Вчера на исповеди он отпустил барские грехи, грехи молодости Степана Вла-

димировича, конечно, веря и не веря, что Степан — лунинский отпрыск, что Лукерьино «завещание» — не подлог и Степан не воровать, а молиться собирался, все же без возражения пообещал барину найти повод отслужить молебен на полевой и одинокой могиле Степана и перенести его прах поближе ко храму божьему. Для начала отцу Сергею нужен был хотя бы слух о невиновности Степана, и он пустил его. Под клятвенным обещанием молчать поделился с набожной женщиной, своей послушанкой, безносой грешницей Харитиной. Та перед иконой уж так истово заклинала себя, что отец Сергей не очень надеялся на успех, но все, слава богу, обошлось как нельзя лучше. И этот богохульник Орентий кстати сбесился, и выдуманные сны Ильи Макарова к месту.

Дома он представил себе, что сейчас делается на селе, какие толки идут вокруг Степана Макарова, вздохнул сокрушенно: «Тьма-тьмущая! — и задумался.— А может, многие только прикидываются дураками?».

Таких, как Орентий да Крынкин, вряд ли проведешь? Но и Илья тоже видать анафеме не уступит, ишь как барина-то растряс, из молодых да ранний, шельмец!..

Прикинув и сообразив, что все это, если с умом подойти, можно использовать на блага самих же верующих, отец Сергей совсем повеселел. За чаем ему даже захотелось позабавиться над безносой Харитиной. А она уж догадалась, отчего на нее так лукаво посматривает батюшка: сердце упало, когда он позвал ее и поставил против себя в двух шагах, чтобы лучше видеть, как это безобразное обличие будет хитрить, закатывать под лоб красные глаза.

Сидел нога на ногу, хмельной от крепкой заварки, с полным носом нюхательного табака, потный, улыбчивый. Долго молчал, у Харитины трусился подол, дрожали на плоской груди жилистые руки. Начал участливо:

— Лихорадит?

— Да, батюшка, простыла, знать.

— Чаю попей.

— Нет уж, батюшка, почивать пойду.

— А помрешь если?

— Как богу угодно.

— Так давай исповедую, в уме пока!

— Днями ить я отпущалась, нешто запамятовал, батюшка?

— Не запамятовал, но знаю, что нагрешить успела! Кайся!..

— В чем, батюшка?

— Сама знаешь, блудница!

— Глаза мои лопни. Провалиться на месте. Как перед богом, батюшка,— зачастила Харитина.— С места не сойти. До солнышка не дожить.

И тут отец Сергей фыркнул, схватился за брюхо:

— Ай, потешница! Ай, уморила!

Он хохотал старчески, давясь кашлем, и слезы катились по его щекам:

— Ой, господи! Ой, царица небесная! — вскрикивал он, еле-еле переводя дыхание. Собрал последние силы, чтобы махнуть руками, дескать, изыди наваждение, но и без Харитины не скоро остановился. — До ночи, до постели,— нет-нет, да и всхохотнет отец Сергей опять.

— Чего же молитвы-то ваши стоют, иудеи несчастные?!

Перед молебном и перенесением праха Степана решил привести к покаянию всех убийц его. Грешен или не грешен человек, но самосуд чинить не резон, бог дал жизнь — он и повелевает ею.

— А тебя, Крынкин, я засупоню,— сказал он, крестя рот и давясь зевотой.

Сон приходил к нему, как к младенцу,— здоровый, глубокий.

Отменно строго встречал отец Сергей причастных к убийству, от каждого требовал громкого раскаяния и осуждения души своей.

— Не верю! — грозил он старым серебряным крестом, твердо держа его в кулаке.— Так надо: уподобясь зверю кровожадному, отрекясь от всевышнего, исполняя волю сатаны, я пустил кровь невинного. Вся жизнь моя отныне и вовеки веков будет отдана молению за грехи тяжкие...

Ксенофонта Крынкина гонял до седьмого пота. Как ни старался тот изображать смирение и покорность, входя в алтарь, а все-таки не угодил.

— Ты что, брат, в кабак аль в конюшню?! — закричал отец Сергей.— Ты что лыбишься перед ликом божьим?! А?!

— Я, батюшка, с открытой душой...— залепетал было Крынкин,— с покаянием...

— Вижу. Все вижу: нечистый в тебя вворотился, и руки твои в крови! А не барана резал — человека убил. На колени!

Повинуясь, Ксенофонт опустился, поднял на попа маленькое бледное личико с чутким птичьим носом, с шилистыми темными глазками, покорно ждал. Отец Сергей умышленно не спешил, делал какие-то свои дела, время от времени, бросая в сторону Ксенофонта косые взгляды, думая: «Ишь, как высох от ненависти, хоть на доски распиливай! Я тебя, субчик, помню смолоду. Тебя, ежели живьем сжечь, и от грехов не искупишь. Добра-то никому на грош не сделал... Комарик всегонавсего, а гляди, какую жену высосал, ворюга... Дочь в чахотку вогнал, сына изуродовал. Мать родную по миру пустил, кровосос. А уж посторонних то сколь горюшком наградил — не сочтешь!..

И когда довел себя отец Сергей воспоминаниями до белого каления, приступил к обряду; Ксенофонт уж, стоя на коленях, начал покачиваться.

— Давай! — указал пальцем у своих ног. — Сюда давай!

Не поднимаясь, Крынкин подковылял на ослабленных коленях, был зол на попа до дрожи, но не подавал виду.

— Дело прошлое,— начал он глухо,— было так... Я ведь сам-то почти не бил Степана... Народ, правда, подзуживал... помню...

— Ишь ты! — вскрикнул отец Сергей, еле сдерживаясь, чтобы не ударить грешника тяжелым крестом.— Подзуживал! А православный тоже!.. Сказывай, в чем перед покойницей Лукерьей повинен!

— Ни в чем, батюшка, акромя убиения сына.

— Врешь! А не принуждал ли ты ее к прелюбодеяниям, к сожительству? А?!

— Грешен, батюшка.

— То-то. А не способствовал ли ее грехопадению? А?..

— Не разумею, батюшка.

— Не разумеешь? А кто подстрек барина пойти в баню, где парилась покойница Лукерья, а сам тем временем стоял на карауле, чтобы никто не помешал злодеянию? А?..

Крынкин было попытался свалить часть вины на Лунина, но отец Сергей не дал ему говорить.

— Кайся. Не пеняй на других.

— Грешен, батюшка.

— То-то!.. Теперь повторяй за мной...

И потребовал от Ксенофонта трех обетов.

— Повторяй: чтобы не отсох мой язык, обещаю знамое хранить в строжайшей тайне до гробу.

Крынкин повторил. Отец Сергей сказал «аминь».

— За Лукерью тебе по сорок поклонов сорок недель утром и вечером. Понял?.. Повторяй!..

Ксенофонт повторил, но, как показалось попу, не искренне. «Обманет, плут!» И назначил третий обет:

— На могиле убиенного, раба божьего Степана, поставлю часовенку с иконой Скорбящей Божьей Матери. Повторяй!..

Еще не окончил поп, а Крынкин уже обмер:

— Батюшка! — взмолился староста. — По миру пойду! Никаких потрохов не хватит!

— Не ропщи, грешник! Бог тебя слушает!.. Часовенку же собственноручно, кирпичную, трех аршин до креста, сложишь. Понял?!..

Ксенофонт пошел от него, запинаясь, как пьяный, со словами:

— Господи, да что это, разорение?..

Орентия отец Сергей не допустил к исповеди, прогнал:

— Изыди из храма божьего, образина вонючая! Преставишься — отпевать не стану!..

И творя уже для себя молитву, он спрашивал:

— Господи, да как их матушка-земля держит!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дед Ермил помаленьку чах. На Степаниду события подействовали плохо. Пережив как бы заново несчастье с мужем, она слегла окончательно. Илья ждал перемен в жизни, и они свершились: Степан Владимирович Лунин взял его старшим работником в свое имение, вроде бы помощником управляющего — обрусевшего немца, тощего и высокого Франца Францевича. В обязанности вменил: нос вперед не совать, а если что не так — докладывать, потому что управляющий не только жулик,

но и дельный человек. С прочих же Илья мог спрашивать как с подчиненных: кого постращать, а кому и подзатыльник...

А так как барин под старость разлюбил блуд и всячески искоренял его в поместье, охраняя нравственность не замужней еще тридцатилетней дочери Веры Степановны, то потребовал от Ильи немедленно жениться. Женатый-то он вроде мерина: без блажи, но до работы охоч.

Что жениться? Жениться ума не много надо, это не портки через голову надеть! А девок-то хоть пруд пруди... Самое главное Илья сделал: из темного леса, в котором плутали Макаровы, вышел на торную дорогу, понял, что не только горбом надо нужду подпирать: горб — он слеп и глуп, а есть хитрость да ум — всякому кум! Илья не из таких вахлаков, чтобы жена опорой была, советчицей или там с расположением, душевностью, нет! Пусть душа-то овечья — была бы лишь с лицом человечьим. Чтоб в праздник с ней вышел, к обедне пошел — люди не смеялись. Ну еще чтобы гнездышко вить умела, перечить не смела.

Прикидывал, прикидывал Илья и все-таки решил: «Феньку надо. Хоть не богата, бедна, да не хлопотно из дома в дом перевести. Усадьбы рядом, соединить их — только межу распахать...».

Посылал сваху и подтрунивал над ней:

— Не печалься, какая ловкость нужна, чтобы Феньку просватать! Послов посылаю так, для порядку. Не то вот выду на крыльцо, свистну — сама прибежит!

— Еще бы! — ладила сваха. — Из грязи да в князи! Не за простым мужиком жить, а за... Как, если что, сказать-то ей?

— Можешь так сказать: мол, от Ильи Макарова, старшего работника именья его сиятельства Степана Владимировича Лунина. Запомнишь?

— Мудрено, соколик, но постараюсь.

— Куда уж, мудрено! — ухмылялся Илья, наслаждаясь высотой, на которую поднялся вдруг над всеми сельскими.— Я кое-что и по-французски могу: ля мэр, лё пэр, к примеру!..

Сваха притворно изумлялась, не зная чему:

— А-а-а, накось, накось! А бедную сватать собрался... Ну оно и лучше. За благодетель к бедным бог грехов сбавит, счастья в дом пошлет!..

Но вернулась она от невесты запыхавшаяся, с перепуганным лицом, словно там что-то привиделось страшное, сообщила, задыхаясь:

— Отказ, свет! Начисто, Илья Степанович, ни в какую!..

— Полно тебе! — усмехнулся он.

— Крест святой!

— Что она?

— Все и хуже. Прямо стыдно сказать... Говорит, а козу он не желает посватать? Я ей: что ты? А она: то-то да ищо... Колдунья, говорит, я. Де он не боится разе?.. Ты плюнь на нее, сахарный. У меня другие на примете, кровь с молоком.

Но Илью задело, пошел сам, распахнул дверь и сразу:

— Ты что, сдурела?..

Феодосия тогда лежала на печи, не повернулась, ухом не повела.

Илья ее за ногу:

— Слышишь?!

А она пяткой в нос ему. Потом, подурачившись, слезла, поклонилась степенно в пояс:

— Если сватать, то не обессудьте, государь, другому обещала, — и выпрямилась, как царица, и рукой важно до сердца довела.

— Кому?

— Кто мил сердцу моему.

— Будет тебе!

— Союз зароком скреплен, благодарствуем.

— Покаешься!

— Не ваша забота. Час добрый, государь, — опять поклонилась и на дверь пальцем указала...

Сваха другую ладит. Илья: «Подожди, уломаю». Главное, обида взяла: «Какая-то Фенька-бобылка понукает!».

Другой раз наведался, — девка околесицу несет: велит достать со дна речки какой-то камень, лиловым поясочком перевязанный.

— Где он?

— У моста, в бочажине, на донушке.

— В воду лезть?

— Знамо.

— Не летняя пора, студено!

— Воля ваша, государь. Нами сказано.

Бился-бился Илья, а лезть в реку не миновал. Пока искал «заветный камень», закоченел до смерти: «Подожди, стерва, я те припомню!».

Да частенько и припоминал...

На свадьбу Илья не размахнулся: ни гостя лишнего, ни рюмочки сверх того. Деньжонки, которыми пожаловал барин на свадьбу, придержал. «Есть не просятся, а надо, будет — спросятся».

На другой день после свадьбы, имея разрешение от Лунина не выходить на работу, он сказал молодой жене:

— Ты давай тут, заворачивай. Я пошел!

— Куда? — спросила Феодосия.

Он отстранил ее:

— Не кудыкай, пути не будет! — взял топор и ушел в лес.

Никогда так хорошо не было на душе у Ильи Степановича... Да, он стал Ильей Степанычем!.. Жили люди, было у них неисходное горе, с которым они ложились спать и вставали, горе, которое передавалось по наследству из рода в род. Оно дошло и до него, до Ильи Макарова, и тоже бы придавило, сплюснуло. Но он вот изловчился, обратал его... Правда в пословице говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло!.. Про отца говорили: «Подзаборник и вор». С позором и неразделенной любовью ушла на тот свет бабушка Лукерья. Обездоленным и круглым сиротой доживает свой век дедушка Ермил... Сумасшедшая мать... Оглянись и ничего не увидишь, кроме черных туч и еще более непросветной темени... А тучи когда-то прошли над головами близких, секли их молниями, оглушали громами. Все их следочки смыло дождем, выдуло ветрами буйными... И только Илья Макаров выстоял.

...Раньше, слушая деда Ермила о том, как пошатнулся свет в его глазах, когда он увидел на травушке-муравушке Степана, когда он «взял синий глазик его, что висел на тихонькой ниточке около ушка, и положил на место», Илья содрогался, всхлипывал. До какой-то поры рос мстителем... Иногда бабушку упрекал в душе, зол был на Лунина... Теперь все уместилось в одном:

— Знать, богу так нужно было... Бог и мне указал путь...

Но где-то, в каком-то уголке души, переполненной счастьем, темнело что-то, бередило. Осознать бы,— некогда... Да и зачем?..

Бабушку не воротишь. Для отца лучшего не придумаешь: его из поля перенесли на кладбище, Крынкин начал ладить часовенку на его могиле. Деда Ермила Илья не забудет. Да что там! Для себя просто не допускает, что старик другой крови, брехня сущая!..

А где же правда?.. Илья очнулся и увидел себя на лесной поляне. «Господи Исуси, надо ж, как задумался!..».

Осень уже была в той дряхлой поре зябкости, когда темные лужи зияют пустыми окнами, поджидая веселого стекольщика деда-мороза. В сиротской печали, нищенской наготе пребывает лес. В нем студено и мокро, сумрачно, как перед дождем. Но не радужными струями грозит мглистое небо, а белыми мухами. Ни зверь, ни зимующая птица не любят такую пору. Невесть где они прячутся до звонкого «утренничка», до первой пороши в ночи, до тихого белого утра с синицами, краснозобиками, с пичужками-поклонушками, когда зычно и раскатисто гавкнет гончая и затрубит охотничий медный рог.

В осеннем лесу в такую пору не мерещится, не чудится, а грустится, как на заброшенном погосте. Но Илья ничего не заметил такого, чтобы опечалиться. Он был занят собой, ощущением внутренней силы, приподнятости. Ему даже не хотелось возвращаться домой, чтобы не растворить это чувство в мелких заботах.

В лесу пахло старьем-плесенью раскисших грибов, прелыми листьями, горечью мокрых сучков. А где еще так с удовольствием дышалось Илье Макарову, как сейчас в этом мертвом лесу? Лес!.. Он был барским, он и теперь барский, и все-таки нынче Илья не чужой в нем. Надеяться нельзя, можно думать и мечтать: придет время, помрет Лунин, соберутся его родные и станут читать завещание... Тому — одно, другому — это... И вдруг — Илье Макарову...

Раньше ему думалось так: живут люди, живет и скотина. Какая разница? В отличие от скотины, бог человеку дал речь, разум, хлеб. Речью он пользуется, чтобы просить, ругаться и читать молитвы. Разум для того, чтобы понимать, как он ничтожен. Хлеб, конечно, не тра-

ва, но и его не вволю! Иной раз Илья скотине завидовал, что она без мысли, без языка и травой питается.

Нынче нет! Нынешний Илья гладит по головке вчерашнего несмышленого Илью с улыбкой старшего брата, знай-де: «что потопаешь, то и полопаешь», жить учись, лопоухий!..

Вернулся из леса с новой метлой и дубовым столбиком в два локтя длиной, в два вершка по срезу. Метлой до соринки вымел-вылизал двор. Столбик затесал с одного конца, заострил. Ковырнул разметенную землю посредине двора, в образовавшуюся ямку сбросил позеленевший от времени грош, за ним следом воткнул заостренный столбик и обухом принялся забивать его, загонять им грош в землю.

Феодосия смеялась. Ермил, смекнувши, одобрял и советовал:

— Только не проси ничего. Домовой сам увидит, что надо тебе в хозяйстве. Я тоже, бывало...

Илья хмыкнул:

— Я, бывало... Знаю, как у тебя бывало. Шел бы на печку со своими советами!..

Встал на четвереньки, к торцу заколоченного столбика — к горячему и пахнувшему дубовым соком — Илья приложился губами да так и замер надолго. Делая это, он не понимал, зачем и какой смысл вкладывает в этот обряд, но все в нем почему-то трепетало святым умилением, словно сам Христос выводил его за руки из мрачного подземелья навстречу теплому солнышку, к тому райскому бытию, где исполняются все желания бесконечной жизни...

Старый петух садился к нему на спину, хлопал крыльями. Сбитый с толку, ходил вокруг и лаял на него рыжий кобель Дружок. Выходила из избы и звала обедать Феодосия. Но Илья не поднимался.

Сначала Феодосии было смешно, потом сделалось страшно. Она силком оттащила мужа от столбика и ввела в избу, посадила под образа.

Илья улыбался и плакал...

Как хорошо быть невестой!

Жила не жила, была не была Фенька. Никто, небось, и не задумался над ее существованием, прозвали ведьмой за дружбу с козой, ну и ладно, на селе всем прозвище найдется, ведьма так ведьма. Любую ко-

зу, чтобы обругать, называли Фенькой, а Феньку козой, какая разница!..

Не унывала Фенька, хоть и жила впроголодь. К кусочку хлеба, добытого отцом, у нее всегда находился щавель, пестушки — сочная травка, что на пару растет, грибы разные: в пору — свежие, зимой — сушеные. То похлебку состряпает, то щи зеленые козьим молоком забелит, хвалит отец не нахвалится!

— Ты у меня, дочка, что незакатное солнышко: каким боком ни повернешься к тебе — пригреешься. Ото всех ветров сразу загораживаешь!

Жили тихо, незаметно, никому не мешали, никто им не мешал. Разбирает, бывало, травы Дементий: от кашля — вправо, от грыжи — влево, от ребячьего крику — в лукошке оставляет и рассказывает сказочку-быль про поля вольные, про леса дремучие. А Фенька слушает да прядет кому-нибудь исполу: поплевывает себе в пальчики, подергивает ленок-долгунок, кружит веретено быстрое.

— Я думаю так, дочка, что деревья раньше по земле ходили, вместе с людьми жили. Потом отделились от человека, надоел он им. Стоят они рядышком друг к дружке, в обнимку вроде, а у людей один другого спихнуть норовит. Даже в самом человеке вражда сплошная: левая рука отдает, правая — отнимает. Разум вещает правду, а язык ее переделывает по-своему: где вовсе исказит, где наполовину. По виду люди, как пироги, одинаковые, а начинены по-разному: там и ягода малина и горькая калина, то зелье, то деготь черный, а то все вместе перемешано. В природе — другое дело, в ней правда сплошная. Лужок — так лужок. Цветочки, бабочки, пчелки. Уж сорная травинка — так видно, что сорная. Полезная отличается от нее. Легко, стало быть, привольно!..

Поле у Дементия для любования создано. Лес для раздумья. А все вместе — лекарство души. «Ведь не глянешь сердито, коли перед тобой нива стелется... Дубрава шумит, глядишь, как на мать, а оно на тебя, как на младенца...»

— А оно-то что? — спрашивала Феня.

— Оно-то? А это... как бы тебе растолковать? Я, пожалуй, и сам не знаю. Оно такое светлое, что его не увидишь. Такое громкое, что не услышишь, и большое, что не обнимешь. Оно, дочка, постоянно с нами и добро

нам делает. Злых и нелюдимых не уважает... Вот один раз мужик идет по лесу, грибы-мухоморы палкой сбивает, сквернословит: что это, так-твою, рас-так-твою, поганки одни попадаются?! А оно-то ему их для шутки подставляло. Потом опенки ему кажет, грузди-волнушки, прочий гриб. Мол, какой ему милее, узнаю? Он и их лупит налево-направо. Постой, оно думает, и ставит под елочками коровик — белый гриб. Да несподручно так, что его не возьмешь просто... Мужик с одной стороны зашел — никак. С другой — тоже. Да что это, бает, за хреновина? Не подступиться!.. Ну, значит, хвать молодую-то елочку и сломил... А оно, не долго думая, хлесь мужика за такое по харе хворостиной... Мужик пуще взъярился, другое деревцо ломать. Тогда оно по глазам его, да, знать, больно, потому что мужик окривел даже. Сидит после этого и плачет — заливается, ничего не видит — круги, круги перед ним радужные... Да-а... И вот слышит вдруг речь такую:

— Ты пошто убиваешься, дитятко?

— Глаза захлестнул. Не знаю, как домой идти.

— Не беда, накось, утрись вот.

Чует мужик: полотно какое-то принимает. Утирается, значит, глаза открывает, глядит как ни в чем не бывало, только никого перед ним нет... И это не все... Прежде всего мужик к грибу кинулся, уж шибко хорош тот был!.. Ну кинулся, а там, под сломанными елочками, на месте гриба-боровика... Что ты думаешь? Змея лежит, в колечки свернулася... Батюшки!.. Поднял мужик полотенце, коим утирался, а на бел-полотне-то потрет его... будто он елочку ломает, а лицо искаженное, как у дьявола, только без рогов... Так с той поры, дочка, этот мужик лесу боялся... Вот тебе и оно...

Нет, хорошо быть невестой!..

Заговорили, зашушукали:

— Просватали ведьму-то!

— Коза-то за Илюху выходит!

Соберутся у колодезя бабы, по бедрам сами себя шлепают, глаза колесят:

— Господи! Голь перекатная! Где у него соображение-то? Хоть бы Ульку Шумову сватал, там сундуков пропасть!

— Приворотила, провалиться мне, приворотила!

— Одно слово, колдунья!

— Право, колдунья! Слышь, от нее тени не бывает! А к солнышку поглядишь — кишки просвечивают, все нутро видно — черное-черное...

А подойдет Феодосия к колодезю — кланяются:

— Поздравляем. Счастья желаем!

— Накось, какой парень сосватал, барыней станешь!

Угодить, упредить норовит каждая баба: соринку смахнут, морщинку на платье расправят...

Нет, хорошо быть невестой. Один Дементий вздыхает:

— Не торопись, Феодосьюшка, в миру жить... Послушай-ка, что расскажу... Это опять же оно зовет тебя, замуж сватает... Оно и советует: примерься к тому, кого выбираешь!.. Не год — в год, не рост — в пост, а чтоб душа — в душу... За Илюху — не на сладкие яблоки — в огне гореть. Осилишь ли?..

Помнишь, как оно мужика вразумило, по глазам нахлестало?... Раз одна замуж также собралась за богатого да за знатного... Оно ей на грудь, на сердце указывает, де загляни, что там у человека. А она в сусеки, в горницы нос сует... Самое что ни на есть богатство в самом человеке...

Нет, хорошо быть невестой!..

А уж как платье белое надевали! — Илья батисту купил, а мастерица шила, — как вуалью покрывали да под венец вели... Ахнули люди добрые!..

— Ишь ты, как сдобили!

— Что лебедушка!

— Просто писана!..

И кружилась, кружилась голова у Феодосии от церковного хору, от песен свадебных, от свечей воску ярого...

А нынче проснулась в потемках, в холодной чужой избе. Рядом муж сопит, на печи — свекровь охает, до ветру просится. Старик доходной — на лежанке, матом кроет из души в душу... Лошадь в прясло копытом бьет, корова мычит... Эх, долюшка!..

Потемну печь истопила, скотину управила, полы вымыла, по воду сбегала, отца по пути навестила.

Пригорюнился Дементий: сидит у окошечка один-одинешенек.

— Ты что, дочка?
— Забежала вот, как ты тут?
— Да вот думаю... Думы мыкаю...
— Может, к чаю придешь?
— Спасибочка.
— Может, так посидеть?
— Не досуг ноне.
— Побегу тогда, чай проснулися!..

Самой умыться, прибраться осталось да к столу звать... А муж давно не спит, но помочь не встал. Поглядывал исподтишка: что да как молодуха делает?.. Понравилось, «баба срушная, туда-сюда сущая». Поел — ушел, похвалить забыл... «Не хвалена — калена, похвалишь — распаришь. Нельзя бабу блюсти, что умеет пол мести. Надо, чтобы вожжи-то постоянно в натяжечку были!»...

Уходя, сказал:

— На должность пойду. Присядем, помолимся.

На улице падали редкие снежинки и тут же таяли на склизлой земле. Демид Устиныч шел с большими ключами отпирать лавку. За ним шлепали босыми ногами братья Кобылины — в рваных полушубках, простоволосые, с собачьим повиновением на опухших лицах. Вчера они рыли лавочнику погребные ямы, заработали.

Илья поздоровался с лавочником, сказал:

— Охота тебе, Устиныч, вставать ни свет ни заря!

— И то вернуться думаю, — прищурился Демид Устиныч.— Возьмут косушку, а хлопот на четверть.

— А я про что! Потерпят, день-то начинается только, не ходи.

— Пожалуй! — Демид сделал вид, что действительно раздумал, вернулся. Кобылины шуток не понимают, просты и доверчивы. Над ними постоянные насмешки, где бы они ни появились.

Младший Илью оттесняет:

— Не твое дело!

Старший лавочника умоляет:

— Демид Устиныч! Бутыль купим. Лопни глаза, бутыль! Что нам косушка? Размочить не хватит!

— Деньги покаж.

— Мигом. Братуха, давай!..

На трясущихся ладонях, жестких, немытых, со сведенными от работы пальцами, как желтые блошки, пры-

гают копейки. И чем осторожнее братья Кобылины пересчитывают их, чтобы, упаси бог, не обронить, тем сильнее трясутся их руки. Илья и Демид Устиныч переглядываются:

— Семишника недочет! — лавочник незаметно скрадывает монетки.— Пересчитайте!

Кобылины вновь считают и приходят в ужас: действительно не хватает! Винят один другого, выворачивают карманы и готовы валтузиться. А уж орут, сквернословят — из конца в конец села слышно!

— Который-нибудь за щеку спрятал! — смеется Илья, и они как по команде разевают вонючие рты с белыми дрожащими языками, с коричневыми пеньками гнилых зубов, рычат: мол, нет, удостоверься.

Демид Устиныч замечает:

— Один у меня в лавке приказчиком был... так тот деньгу хоронил в энто самое место... Стал быть, не в рот, а откудо гузно прет. Раздену, бывало, до гола, кругом обыщу,— нет!

— Но-о! — притворно удивился Илья. — Так как же?

— Оправляться заставил в посуденку, а как же иначе? Посажу и жду, слышу: динь, готово, значит... штаны надевай.

Он и Илья притворно-подозрительно глядят на ширинки братьев Кобылиных, те испуганно-ошалело озираются. Они поняли, что за сим последует позорное условие... А что делать? Придется!..

Натешившись, Устиныч машет рукой:

— Ладно. В долг поверю, бог с вами! — он кланяется Илье и идет к лавке. Растроганные щедростью, покорно шлепают за ним Кобылины и наперебой клянутся, что семишник за ними не пропадет. Клянутся огнем и могилой... А чем же еще?.. Добра нет, чести... Какая у мужика честь?! Поэтому и страшна у него клятва... Чтобы поверили мужику, он клянется истово, а по спине у бедного бегают мурашки, поднимаются под шапкой волосы, потому что проклятия черным словом сбываются. Он слышал, как кто-то вот так же стал оборотнем-столбом и стоит теперь в полюшке чистом, никому не нужный; разве туча пройдет лишь над ним и ударит молнией, разве собака пробежит и поднимет на него лапу, разве ворон сядет и прокаркает... Проваливались мужики в преисподню, слепли вдруг, лишались

родных матерей, детей своих отдавали дьяволу... Пришел один к барину зачем-то да и сказал: «Домой бы мне не воротиться». Так вот доныне, уж лет сто, идет и никак полверсты не осилит. Его, правда, никто не видит, а он всех... Вот уж, состарившись, жена у него померла, дети выросли, внучата пошли. Все на глазах у него происходит, каждую беду, которая должна свершиться в семье, он заранее видит: сердцем мрет, торопится предупредить. Идет-идет да побежит, побежит-побежит да опять пойдет, а путь не убавляется!..

Представил Илья Кобылиных оборотнями-хабами, и противно стало. «Как бы это они сейчас прыгали-корячились за Устинычем». А когда-то все же случится с ними что-то страшное, не сдобровать мужикам!

Илья заходил к ним избу, когда нужно было позвать их сарай крыть. Ну, если, говорят, в аду плохо, то у Кобылиных и подавно! В чаду, в вонючей прели — тряпье рваное, а в нем, как червяки, дети копошатся — в болячках, коростах, головастые, глазастые. Мужики уж никак и не поймут, который ребенок одного, который другого. Родят жены и в угол складывают. А сами, как бездомные кошки: клочкастые, поджарые, носы мокрые, подолы грязные... Мужики волками уставились тогда на вошедшего Илью: все в них выражало алчную надежду и готовность кинуться... К ногам выползло из тряпья голое крохотное существо, скорее лягушонок, чем ребенок, и широко заулыбалось пустым ртом, засияли его удивительно чистые глаза. Илья сунул в этот рот кусочек сахару, а ребенок, не понимая, вытолкнул его языком и заулыбался еще приветливей...

Сейчас, вспомнив все это, Илья вновь ужаснулся: «Нет, они уже прокляты, они не люди!»...

Орентий Дохлый перебежал дорогу, чтобы поздороваться с Ильей. Теперь, после оправдания всем миром Степана, ему не стало житья: отец Сергей прогнать обещал, люди, завидев его, стороной обходят, парни и девки потешаются — водой обливают, а то к дереву привяжут и научат ребятишек в лицо плевать. Мало — в ноздри по папироске воткнут и покатываются со смеху от того, как задыхается, кашляет некурящий Орентий...

Бежал он через дорогу, думал: «Прощенья попрошу,

может, смилостивится?» Да нескладно вышло: заторопился, споткнулся, чуть Илью не сшиб:

— С законным браком, Илюха!

— Ну?

— Счастья желаю!

— Пшел ты, тварь наземная! — замахнулся Илья.

Но Орентий не испугался удара, кинулся в ноги, прильнул к яловым сапогам Ильи, густо смазанным дегтем.

— Прости, Христа ради!..

И не почувствовал пинка в полуоткрытый рот, и остался сидеть в луже, провожая Илью скорбным взглядом, не утирая стекающую с губ кровь...

Илья шел той же дорогой, которая вела мимо заросших прудов, замшелых служб, липовой аллеей к колончатому фасаду барского дома. Все было так же и то же, мало что изменила поздняя осень. Разве что светлей и просторнее стало вокруг. Но сам Илья был не тем, каким приходил сюда с «бабушкиным завещанием». Он шел без робкой хитрости, с теплым участием ко всему, и владело им такое чувство, будто он возвращается к родному углу после долгих лет странствий, когда хочется сказать осиротелой забытости: «Ничего, ничего!.. Я вернулся и теперь дела пойдут по-другому!»

На запах дымка он зашел в сад, полный горькой синевы и простора. Там девки жгли мусор, зубоскалили у медленного дымучего огонька. При виде Ильи загыкали, давясь смехом. Потом уставились на него с каким-то смеющимся удивлением; сами же, неуклюжие, разношерстные, всяк в своем одеянии, непохожие, были, как ряженые на святках.

Кое-кого из них Илья знал близко: случалось, провожал с гулянья, тискал в соломенном закуте или с игры в «горелки» уводил в поле. Среди них была нежная и какая-то одинокая, как василек при дороге, Мотя; курносая кубышка Апполинария; ротастая, с крепкими лошадиными зубами Анка-сова; бойкая, с мужской ухваткой Груня-солдат и Шутова Улька — девушка с рябиновым румянцем и непомерно высокими грудями.

Вот она, Улька-то, и имела все основания огрызнуться на Илью, на его указание быть поаккуратнее с огнем, чтобы не опалить яблонь.

— Указ нашелся! — сказала она. — Давно ли лаптем щи хлебал?..

На что Илья только и смог:

— Но, не очень! — и с сожалением подумал: «Знато, с тобой бы я в крапиву не сел, а то миловал, дуру стоеросовую, голубкой называл, чертовку!». И вымести обиду на кучере Нифонте, заглянувшем в сад по привычке побаловаться с девками. Но Нифонт тоже не очень поддавался:

— Мать твою переехал! Илюха-то, глядите, руки в боки! В заду ни перышка, а кукарекает петухом!

— Поговори! — Илья решительно шагнул к Нифонту и прямо с ходу такого влепил ему в челюсть, снизу вверх, что тот, раскинув полы и руки, сел задом в костер.

Девки рты пораскрывали от неожиданности. А Нифонт растерялся так, что некоторое время сидел неподвижно и из-под него валил дым. Илья пошел прочь как ни в чем не бывало, с достоинством понес свое крепко сбитое тело, ощущая удовлетворение в сердце и силу в мышцах. Потом уж услышал дружный смех девок и крик Нифонта:

— Кошкодер!.. Подзаборник!.. В долгу не останусь!..

Франц Францевич выслушал барское представление «старшего работника», презрительно покосился на Илью, проскрипел:

— Хорошо.

Он повел Илью знакомиться с хозяйством и людьми. Шел впереди на тонких негнущихся ногах, как ребенок, делающий первые шаги, сопел простуженно и пах нафталином. «Надо же, как вывялился, сыромятина, хоть гужи из тебя делай!» — отмечал про себя Илья. — «Чай, забыл, как ни за что ни про что штрафовал меня? А я помню!»

Хотелось бы Илье явиться к Францу Францевичу в последний час его жизни, встать у изголовья и молвить:

— Умираешь? Умирай, умирай... Худая трава — с поля вон. Да знай, журавль долгоногий, есть кому на твоей могиле оправиться!..

В людской — жарко натопленной избе с низкими прокуренными потолками, с длинными столами и лавками — бездельничали мужики. Знать, им что-то рассказывал Нифонт, сидя на краю стола.

Кивнув на него, управляющий сказал:

— Свинью посадили за стол — она положила ноги на стол.

Он вытянулся, сделался еще выше и тоньше и сделал шаг влево, назад и вправо, встал сзади Ильи, положил ему на плечи длинные руки:

— Вы знали меня. Теперь у меня есть помощник. Вот он — Илья Степанович Макаров! — и добавил мягко и тихо: — Прошу слушаться его, — посопев, указал на Нифонта: — Самая большая свинья! — похмурился, подрыгал поджилками, спросил: — Нифонт, верно я сказал?

Мужики гыкнули. Нифонт соскользнул со стола. зло заулыбался:

— Свиней-то и без меня хватает...

Франц Францевич сделал трагический кивок головой, закатил водянистые глаза:

— О-о, плут! — и обратился к Илье: — Я стар. А ты, Илья Степанович, пожалуйста, колоти его!

— Палка о двух концах,— им вслед бросил Нифонт, насупясь.— Много найдется вас!..

Его слова хорошо расслышали Илья и Франц Францевич, но не показали друг другу вида, направились к погребам, где бабы замачивали антоновские яблоки. Их всех «хозяева» застали с полными ртами, поэтому они вместо «здравствуйте» что-то промычали. И на распоряжение слушаться «старшего помощника», заугукали, закивали.

Здесь Франц Францевич остановил внимание Ильи на экономке Иринушке — быстрой, как юла, старушке, сказав: «Не допьет, не доест, а барского не тронет». Потом, между прочим, скорее для того, чтобы Илья лишний раз подивился, подозвал женку Кобылина-старшего Фотинью — женщину на последних днях беременности, с огромным животом, беззубую, со страшным синяком под глазом. Как и муж, Фотинья была разута, но в шубе, подпоясанной веревкой и повязана теплой, давно износившейся шалью.

Глядя на ее жилистые грязные ноги, управляющий спросил:

— Не холодно?

Стоя широко и твердо, она усмехнулась:

— Тяпло ишо.

— Снег падает!

— А он тает.

— Муж-то бьет? — покачав ушастой головой, опять спросил управляющий.

— Допреж бил. Ноне редко, — и просияла, показав два желтых клыка. — Младенца жалеет, ить я скоро...

— Куда уж вам! — вспомнив адскую жизнь Кобылиных, возмутился Илья. — И которые есть не выживут, а вы еще надумали!

— Так ить бог посылат,— серьезно и пригорюнясь, ответила Фотинья. — Оно бы и будя, да получается...

Управляющий актерски всплеснул сухими ладонями:

— О, Россия! Кто тебя выдумал?!

— Темнота,— понимающе добавил Илья.

Они ушли, а Фотинья продолжала стоять на прежнем месте, как заколдованная. Потом повернулась к остальным бабам, торопливо жующим яблоки, сказала:

— Надыть, какие потешные! — и рассмеялась над «господами».

Веру Степановну, молодую барыню, Илья не видел много лет, не приходилось. Она подолгу гостила у теток. Появится летом с тетками и племянниками и опять нет ее. Да и никогда так-то близко не видел ее, как нынче: чуть ли не нос к носу столкнулись на липовой аллее. Франц Францевич отступил, раскланялся:

— Бонжур, ма шер!

Она что-то сделала ножкой:

— Бонжур, месье.

Управляющий ладонью вверх указал на растерявшегося Илью.

— Силь ву пле: месье Илья Макаров.

Вера Степановна округлила алые губы, удивленно и радостно расширила светло-серые глаза, сказала по-русски:

— О-о! Очень рада. Папа мне говорил. Вы будете у нас, как это?.. Большим работником? Да?..

Илья опустил руки по швам, склонил голову:

— Постараемся, барышня...

Франц Францевич не то в шутку, не то серьезно заметил:

— Месье Макаров, к сожалению, не знает французского. Вам, Вера Степановна, придется уроки давать ему.

— Охотно! — подхватила она. — Вы сможете, месье Макаров?

— Осилим, барышня. Чай, не трудней закона божьего? — смело ответил Илья. — Я понятливый. Вот когда слышать изволил, как в вашем саду барчуки лопотали в детстве, а помню по сей день. Как это?.. А так — ля мер, ля пер...

— Смотрите! — воскликнул Франц Францевич. — Успех!

— О да, месье!..

Они засмеялись, а Илья громче их: радость переполняла его: «Господи, Илюшка Макаров с господами разговаривать умеет!»... Так круто перевернуло его счастье, так вознесло, что, обедая в обществе Франца Францевича, садясь за стол, он не прочел «отче наш», только перекрестился. Пообедав, не сказал «слава тебе, господи». Излишне!.. Надо быть строже, экономнее даже в молитвах. Ел не спеша, зорко следил за управляющим, старался подражать ему.

Уже в сумерках приказал Нифонту запрячь сивого меринка, на котором Лунин разрешил выезжать по делам службы, и укатил в поле. Хотя и не по пути ему было село, он не миновал его, медленно проехал из конца в конец, степенно кланяясь направо и налево.

Чинно выехал за околицу, там мглилось и туманилось в поле. Синеватая хмарь висла над хрусткой землей. На всем лежала печальная покорность медленного ожидания чего-то неотвратимого, жуткого, будто наступала ночь, которой никогда не будет конца, будто никогда-никогда не подует луговой ветерок с запахами цветов и зелени, не покажется, не обогреет солнышко. Даже одинокая ворона, сидевшая на стогу, горбилась, никла. Даже сивый меринок понурился и вздыхал обреченно. Было и Илье душно и тяжко в этой стынувшей неподвижности, и душа кричала в нем: простору!.. Не просила — требовала: простору... И он как-то нечаянно вдруг отозвался ей. Свистящим ременным кнутом он сплеча рассек льдистый воздух, охнул, рявкнул, описал кнутом круг над головой и опустил его сверху вниз под брюхо ошалевшей лошади. Темный лес качнулся и побежал навстречу, подпрыгивая, подплясывая. Не отпуская вожжей, Илья перегнулся на сторону, прищурился, ос-

калился. Кнут летал черной молнией с хлопаньем, с треском, равномерно и оглашенно.

— Вперед! Вперед! — яростно цедил Илья, давясь ветром.— Вперед, милый!

Трудно сказать, чего было в нем больше — радости или зла, или то и другое так непонятно смешалось в нем и хлынуло наружу противно, нечеловечески.

В тот миг ничего бы не могло остановить его, никому бы не уступил дороги Илья, даже тому пророку и громовержцу, который сотрясает небо и землю, от которого даже черти под пласт земли забиваются!

— Вперед! Вперед! — вопила в нем необузданная душа живых и мертвых Макаровых. За всех в этот миг мстил и радовался Илья, наслаждался свободой и властью. Вот оно русское, вот оно какое, когда ломаются прясла и рвутся арканы!..

— Вперед!..

Там, за лесом, где закатилось солнышко, должен быть край земли. Там Илья оторвется от нее и врежется в царство небесное, в эту безмятежную тихость небытия, разгоняя, как голубей, безгрешные души, сомнет адскую стражу, опрокинет котлы с кипящей смолой и дальше, дальше вперед!..

Да где же эти аспиды и василиски, чудища с огнедышащей пастью, на которых бы наступил Илья и попоперешил?.. Где страх, где изумление и ужас?.. Где?!

Орентий, срезавший у дороги молодую елочку, чтобы выстругать из нее мутовку и продать дьяконше, еле-еле вывернулся из-под колес.

— Илюха, ты? — крикнул он, отскочив в сторону.— Ить самую малость не задавил!

И голос его, сиплый, пропитый, голос Орентия — не владыки рука — остановил чертову колесницу.

Бросив дрожащую лошадь, Илья соскочил наземь. С кнутом в правой руке, нетерпеливо, но как-то крадучись, приблизился к Орентию и наотмашь хлестнул его по узким холщовым порткам. Звонарь подпрыгнул, схватился за ляжки:

— Не озорничай, парень, ить больно!

Озверело скаля рот, Илья дернулся:

— А-а, больно?.. А отцу глаза выковыривал, не больно?..

— Ты, слышь-ка, постой...— что-то хотел сказать Орентий, но в эту минуту Илья снова горячо опоясал

его, словно плеснул кипятком. И начал, и начал, то вкривь, то вкось, то сверху, то из-под низу, с ахом, с придыхом...— Сполна получай!..

Орентий кинулся бежать, но в потемках стукнулся головой о дерево, упал и уж не смог подняться. Сначала он чувствовал режущую боль от ударов, вскрикивал, корчился. Потом затих: ему сделалось покойно и безразлично.

Илья опомнился лишь тогда, когда звонарь, распластавшись, лежал перед ним без признаков жизни. Выронив кнут, отшатнулся.

— Господи, знать, убил человека?..

И перекрестясь, не отдавая отчета, поднял Орентия на руки и понес вглубь леса, качаясь на ослабевших вдруг и непослушных ногах.

— Господи, что же наделал я?..

В поту, в изнеможении останавливался, воровато озирался и снова нес окровавленную ношу, не зная куда, не зная зачем. В конце концов выбился из сил, опустился на колени, осторожно положил Орентия.

— Господи! Прости мою душу грешную!..

Давно наступила ночь, вплотную обступили черные деревья, и непроглядная чернота между ними. И лишь высоко вверху, куда глядел и молился Илья, с ягнячью овчинку проглядывался кусочек беспокойного осеннего неба... Потрясение было выше всяких сил, Илья потерялся, опустошился: он мог лишь молиться и плакать.

— Господи, покарай меня! Накажи меня, господи!..

Может быть, он не вернулся бы к жизни, тут бы и угас потихонечку от оцепеняющего страха, искреннего раскаяния, если бы Орентий не подал слабого голоса.

— Не бойся,— послышалось еле-еле.— За меня ни перед богом, ни перед добрыми людьми отвечать не придется. Надоел я всем. Да и мне давно жить надоело. Ты вот что...

Пораженный Илья не видел Орентия, а голос его из темноты был неземным, нереальным.

— Ты меня не кидай в лесу. Найдут — спросы, распросы... Ты вот что... Неси меня до реки... Она смоет — и делу конец. Да и попью я, смерть как пить захотелось...

Илья не верил ни себе, что слышит, ни голосу Орентия: продолжал молиться.

— Уходи, — послышалось вновь.

На следующий день было воскресенье. Когда колокола заблаговестили к заутрене, Илья, всю ночь бродивший по избе в подштанниках и нижней рубашке, как привидение, кинулся к чуть-чуть светившемуся окну:

— Слава тебе, господи! Жив, вернулся!..

Но звонил не Орентий...

Орентий заставил обезволенного Илью сходить по воду со своей ветхой шапчонкой и, когда тот принес ее лишь сырую и тяжелую и изъявил желание остаться с ним до утра или отвезти на село, повторил:

— Уходи. Ты мне надоел.

Потом, когда остался один, лежал и выжимал из шапки капельки себе в рот, сосал ее, прикладывал к горячему лбу, чувствуя, как прибывают силы, радуясь тому, что сможет исполнить задуманное...

На исходе длинной осенней ночи, продрогнув до костей, он решил, что пора... Поднялся со словами: «Надо же, как измолотил, озорник!» Подошел к старой ели — какой-то человечески теплой на холоду и хорошо пахнувшей смолой — потихоньку полез на нее. Один сучок руками нащупает, другой — ногою... Охнет — поднимется или постоит: «Куда торопиться? Вон и не брезжит еще!» Понравится местечко,— посидит на сучке, обнимая дерево, подумает или поцелует шершавую кору ели и скажет, как человеку: «Прощай, родная!»

Елка, елка... дремучее русское дерево! Кто срезал тебя острой пилою, очистил скобелем и до костевой желтизны просушил на жарком солнышке, чьи стропила держала ты на себе?.. А может, и поныне стоишь на том месте, шушукаешь, ворожишь в ночи?.. Может, бабы ходили по ягоды и, разомлевшие, отдыхали в твоей тени, ковырялись друг у дружки в головах деревянным гребнем?.. Может, костерок разводил кто подле? Сидел в задумчивости и палочкой шевелил алые угольки, попыхивал трубочкой, слушая лесную сказку...

Ау... Ау!.. Отзовись, елочка!.. Отзовись песней купца проезжего, звоном бубенчика, удалым посвистом грабителя... Ау, ау...

На елке, поближе к вершине, было большое гнездо — должно быть, старое и покинутое не до весны, не до первых проталин на парах, а навсегда. Оно полно было сухого игольника и остро пахло погребной пустотой. Орентий посидел около него, грустно поулыбался. «А мое-то где?» Попробовал вспомнить себя малень-

ким, но память ничего не воскресила, кроме жаркого летнего полдня... Собиралась гроза... Шли проселком, мимо цветущих гречих, в сонном сопении кузнечиков. Он держался за подол тяжелой рядной юбки и глядел на растоптанные пятки побирушки Фимки.

— Мамк, а мамк. Где отец наш?

Фимка боязливо озиралась на небо, где чернело и время от времени глухо гремело, торопилась.

— Отец-то? А у нас с тобой нетути никого. Я тебя на кочке нашла, сыночек...

Раз Фимка легла отдохнуть при дороге и так уснула, что мальчик никак не мог ее разбудить. И соломинку в нос совал, и по щекам шлепал — хоть бы что! Дрыхнет... Проезжал мужик в скрипучей телеге, остановился:

— Пошто скулишь-то?

— Мамка спит.

— Пьяна?

— Литуру жрала.

— Литуру, говоришь?..

Мужик потолкал, покатал с боку на бок Фимку и, глядя ей в открытый рот с зелеными мухами, задумался.

— Угу... литуру... Выходит, померла шлюха, царствие ей небесное...

Пробовал поднять Фимку и положить на телегу — не осилил. С матюгами, с чертями, снял одно из задних колес, накренил телегу и тогда кое-как справился.

На ухабистом большаке трясло, вскидывало. Голова покойницы крепко стукалась о доски, мальчик жалел, а мужик доказывал, что «она ничего не чует, так как душа из нее улетела»...

Пить Орентия научил тоже звонарь. Он как бы отдал Орентию всего самого себя: и похожесть, и запои, и мастерство колокольной благовести, и должность после своей смерти.

— Политура-то, — говорил он, — она хороша, если через холстинку процедишь. Мать-то твоя не знала, чай, этого...

Мать... А может, не Фимка-побирушка родила Орентия, может, на этом вот старом гнезде высидела его ворона?..

Светало, когда он залез на самую макушку ели и

очутился выше остального леса. День обещал быть сухим и морозным. В воздухе летали редкие снежинки Дышалось легко.

Там, наверху, Орентий не торопясь привязал над головой поясочек, сделал петлю, расстегнув ворот рубашки, накинул петлю на шею и перед тем, как повиснуть, еще раз глянул в сторону леса, посмеялся:

— Живите... майтесь... черт с вами!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первой пороши ждали, как праздника. Из-за плохой погоды Вера Степановна просидела за книгами и фортепьяно всю осеннюю охоту. Всего один раз выезжала по «чернотропу» и то неудачно — лошадь сломала ногу.

Она капризничала, словно маленькая, надоедала отцу.

— Я не могу! Я с ума сойду!..

А погода тянула, медлила. После слякоти до звону подморозило землю, небо обложили неподвижные пустые тучи — ни снежинки из них, ни обещания близкой зимы.

В детстве Вера Степановна имела нежную душу, любила одиночество в самом запущенном уголке сада. Часами могла наблюдать за работой муравьев, умиленно разговаривать с божьими коровками или кормить голубей. Умела делать одно лишь добро всему живому и неживому, которое, в тогдашнем ее понятии, понимало, чувствовало, желало. В юности мечтала быть матерью большой семьи, придумывала имена своим будущим дочерям и сыновьям, влюблялась во всех мужчин, которые бывали тогда в доме. Потом выбрала одного, именно графа Жеронского — тогда залихватски веселого, гурмана и ценителя женских достоинств. Себя называла графиней и болезненно ревновала Жеронского к жене.

Чтобы опекать отца после смерти матери, отказывала многим женихам, гордилась своим монашеством, пока не поняла, что совершила непоправимую ошибку... Было богатство, было и общество. Случалось, не хватало времени на ответные визиты, на приглашения. Бедность и одинокость подкрались как-то незаметно и

вдруг. Вере Степановне приходила мысль: «А если бы не было лошадей и собак, не было ружей и охоты?...» В горькие минуты сознания бесцельности жизни она даже завидовала сельским девушкам, которые ото всего ближе — от любви и от греха, как ни маются, как ни горька женская доля, но умеют находить в себе силы жить и даже смеются и поют песни. Вере Степановне показали в свое время жизнь, как милую игрушку, раздразнили и спрятали навсегда... Недолго она была спокойна после того, как переболела невинной любовью. Скоро пришло новое и не менее властное, оно мучало и старило, злило... Зеркало отражало всего лишь знакомое лицо с холодным взглядом, с плотно сжатыми губами, вытянувшееся, без осыпи кудрей на белом высоком лбу. «Жердеет!» — стали говорить о ней сельские и тихонько сомневались в ее принадлежности к женскому роду... Недолго молилась Вера Степановна, недолго лечила сельских от болезней, благотворительствовала. Все надоело скоро, опостылело... Часто заставляла Нифонта бесцельно и длительно возить себя по дальним полям, по старым лесным дорогам. То ласково, то презрительно поглядывала на его лопатки, шевелившиеся под зипуном, думала, решалась... И не решилась...

Только однажды человек божий — слепец Аркадий, переночевавший у Луниных, сидел на бугре за селом и улыбался про себя, шевеля лохматыми бровями над бельмами, удивлялся такому реальному явлению к нему девы непорочной среди глубокой ночи... После того он еще захаживал в надежде, но явление не повторилось...

Между Ильей и Верой Степановной с первых дней наладились дружеские отношения. Она обращалась к нему по всякому поводу, как к равному по положению.

— Илья, голубчик! Скажи хоть ты определенно: когда же снег выпадет?..

Она даже секретничала с ним, что ей не нравится Франц Францевич, что отец излишне подозрителен к ней, что ей «ужасно хочется убежать куда-нибудь из этого захолустья».

— Может, в монастырь? — спрашивала она, качая перед собой беличьей муфточкой, спрашивала кротко, а серые глаза улыбались... —Ах, какая тоска!..

«Мужика бы тебе хорошего! — соображал Илья. — Монастырь не вылечит от этого дьявола!»

Как-то поздно вечером, когда в доме угомонились, она разыскала Илью на фермах, чтобы спросить, какое выпить лекарство, если сильно болит голова. Илья выразил готовность добежать до села и посоветоваться с тестем. Но Вера Степановна пошла с ним. Там заходила к нему в избу, была внимательна с Феодосией, советовала, что женщине в положении следует больше отдыхать и не поднимать тяжестей, как это делает Феодосия.

На обратном пути, ссылаясь на плохое зрение от книг, опиралась на руку Ильи, говорила шепотом. Илья думал: «Кабы не должность!..»

Теперь охота не выходила у нее из ума.

— Илья, голубчик! Скоро ли пороша?..

Своим приметам Илья не доверял, спрашивал у тестя.

— Так вот видишь, — отвечал тот, — сороки еще не заговорили, вороны не расхворались. А заяц давно поспел. Лиса, того и гляди, кусты подожжет!

Дементий облизывал языком большой палец, поднимал его вверх и некоторое время держал над головой.— Так видишь, как оно... Знобит и сохнет не вдруг. Надо ждать послезавтра порошу.

— А не обнадежу я барина?

— Пошто? Смело загадывай. Утри с полдня оттепель будет. К вечеру поморосит. А в ночь заснежит. Смело загадывай!..

И на этот раз Илья оказался пророком, так удивил Веру Степановну, что она немедленно одарила его старыми карманными часами. Снег пошел в сумерках, и валил вплоть до того, как засобирались. Это был рассвет необычайно нового чистого дня. Такой день неповторим, и, чтобы его понять, надо увидеть нежную синеву снега под легким розовеющим небом, вдохнуть тишину и почувствовать, как она зажигает кровь, проясняет сердце и разум. На крышах изб, на причудливых белых деревьях, на вчера еще грязных телегах, на бочках и водовозках, на всем, на всем таится какая-то улыбчивая молодость. Все отдыхает, все радуется... Будто стоит перед тобой молодая зима, как невеста, убранная под венец, и спрашивает: «Хороша ли?» А ты глядишь на нее, онемевший от счастья, глядишь и молчишь...

— Скорее! Скорее же! — торопила Вера Степанов-

на отца, неловко влезавшего в седло. Красивая вороная кобыла под ней ядрено всхрапывала, боченилась и нетерпеливо скребла пушистый снег.

Подошел ночной сторож — старик весь в снегу, как из сказки, — сказал: «Мяса кадушку, перьев подушку»— и крепко пыхнул из трубочки. Расторопная Иринушка крутилась между горячих лошадей, увещевая барина:

— Батюшка, не простынь. Горлышко укутай!..

Собаки рвались из рук Нифонта, и ему — ловчему и егерю — завидовал Илья. С детства он не пристрастился к охоте и часто повторял Ермилову поговорку: «Кто зайцев бьет да рыбу удит, у того век ничего не будет». Выходит, зря не постиг эту премудрость!

Верховые ускакали. Подвода с самоваром и продуктами тянулась не спеша в условленное место, на опушку большого леса, верстах в пяти от поместья, где ближе всего к нему подходит крутым берегом речка, где барин любит посидеть у огонька, поговорить о прошедшей охоте, поглядеть на заречные дали.

Впереди было много времени: часы, подаренные Верой Степановной, показывали, по словам повара, седьмой час, а привал назначался на полдень, так что торопиться было явно ни к чему. Но Илья проявлял нетерпение, и не потому, что боялся не исполнить барскую волю — «чтоб к без четверти скворчало на сковородке жаркое и пыхтел самовар»,— а потому, что в нагрудном кармане непривычно и радостно, как второе сердце, стучали часы.

Часы на тяжелой цепочке, с розовым брелоком, господи! Это же конь невиданный на аркане, которого держи да держи, чтоб не вырвался... Часы на цепочке!..

Вынув их и зажав в кулаке, Илья поминутно совал руку под нос дремавшему повару.

— Сколь?

— Столь же! — недовольно отвечал ветхий старик.— Ведь глядел только что! Или ты не умеешь самто?

Илья хмурился на циферблат:

— Знать-то, похоже, не по-нашему писаны.

— По-римски.

— А в какую сторону?

— По солнышку. Начинай сверху. Это двенадцать будет. Полдень, стало быть...

Часы на цепочке, может, даже серебряные, сделан-

ные в какой-то неведомой стране Швейцарии, отстукивают минуты и секунды. Собственность Ильи Макарова... Боже мой, да как их лелеять-то, хранить надо!..

Всеми силами Илья старался забыть Орентия, но в лесу, у молодой елочки без макушки, срезанной Орентием, почти явственно услышал голос: «Ить самую малость не задавил!» Вспомнились похороны удавленника, как выкопали под деревом яму, потом кто-то залез на елку и перерезал петлю, как упал вниз Орентий и прямехонько угодил в свою стоячую могилу... Илью несколько успокаивало то, что Орентий умер не от побоев, а добровольно повесился, но прежняя душевная твердость пока не наступила, как-то даже самого себя побаивался Илья, содрогался от того буйства, которое пришло тогда и не подчинилось воле. «Упаси и помилуй! Оно ведь и другой раз может»...

Глядя на елочку без макушки, он набожно перекрестился, имея в виду Орентия и живо рисуя его образ:

— Прости, господи, душу грешную. Прими ее в царствие небесное!..

Теперь уже совсем рассветало. Тихая белизна и синь наполняли лес. Упруго поскрипывали полозья саней, оставляя за собой широкие глянцевые полосы. Лошадь шла и сорила навозом, пахнущим особенно тепло и резко в этом хоромно чистом убранстве. А позади на навоз садились веселые птички—проворные, хлопотливые.

К месту привала Илья наносил дров. Пошел к речке по воду, проломил ведром звонкий ледок, зачерпнул холодную голубизну, постоял, послушал тишину, которую часто-часто, как кролик сочный стебелек молочая, жевали часы-луковка... «Не обманула... Ишь, раздобрилась!»..

У повара Трифона все дымило и парило. Сам же он, задом к огню, вытянув шею, прислушивался:

— Кажись, Грохотушка ведет!..

В лесу то ясно, то отдаленно на гону лаяли собаки, и оттого лес казался обжитым, домашним.

— Скорее всего по волку аль по лисе,—сказал Трифон, поворачиваясь на расставленных полусогнутых ногах к самовару, чтобы налить воды. — Круги большие делают...

Илья углубился в лес. Пошел в ту сторону, откуда

ближе всего доносился лай. Вышел на поляну со стожком сена посредине, общипанном лосями, подумал: «Забыли. Хорошо бы к себе в сарай увезти!» Пощупал, понюхал: сено высушенное впору, душистое. По колу залез наверх, смел снег, прилег, подремал... А уж больно хорошо вытянуться до хруста в костях, ощущая молодую силу... Эх, Вера Степановна, Вера Степановна!.. Жаль, что родился Илья под соломенной крышей, учен плохо, французского не знает... Уж он бы взял быка за рога!..

В барской жизни ему не нравилось главное — беспечность. Вот то охотятся, то другими пустяками занимаются, дни переводят. А спроси, что, мол, на завтра главное,—руками разведут!.. Плетется времечко ни шатко ни валко, везет кривая, куда вздумает. Дал бог день — даст и пищу... Кто же думать-то станет за вас, господа?.. Уж если кругом догляду-досмотра нет, то чего же ждать!..

Эх, вы... месе-сюсе! Жрете без аппетита, бессонницей страдаете... Да разве вам по-французски растолкать мужика!..

Вере Степановне было легко найти Илью по одинокому свежему следу. Ее лошадь с разбегу грудью толкнула стожок, вывела Илью из забытья.

— А-а, нашелся, пропащий! — голос Веры Степановны был звонок и чист. Лицо помолодело, порозовело. По-детски торопливо она рассказала, что отец и Нифонт гоняются за подраненной лисой, что у Трифона все готово к обеду, что ей чертовски радостно и у нее словно выросли крылья... Болтая, высвободила из стремян ноги, встала на седло и со словами: «Хочу посидеть на сене», — прыгнула к Илье...

Красивая вороная кобылица сочно жевала сено, бодая стожок белой звездочкой. Торопились, бежали часы-луковка. А Вера Степановна и Илья непонятно глядели друг на друга...

— Я сейчас, — наконец завозился Илья, примеряясь съехать со стожка.

— Нет! нет! — остановила его Вера Степановна. — Дай руку. Я не отдохнула. Хочу посидеть так... Глядеть туда... Тебе нравится?..

— Да ведь... как оно...—одну руку, онемевшую, тяжелую, держала в своей Вера Степановна, другой Илья,

пригнувшись, ковырялся в сене, понимая и не понимая ничего.

— Туда смотри! — дернула его Вера Степановна. — Видишь...

Там, куда указывала она, среди елей стоял дубок, весь в желто-красных листьях, такой веселый, насмешливый, словно хотел похвастать, что сумел обмануть зиму — остался одетым, да в таком ярком, как лиса, как зорька!.. Между берез и осинника сквозила лиловость, резких теней не было, краски менялись нежно и неуловимо.

— Нравится?..

— Лес-то?..

— Нет, не все. Вот так... обрамить если...

— Подходяще...

Никогда так не хотелось любить Вере Степановне, как в эту минуту. Любить дубок, лунные искорки на снегу, то, что где-то стежится звериный след в капельках крови и мчатся по нему, рушат его яростные собаки с длинными красными языками. Любить запах растревоженного сена, звездочку на лбу лошади и эти чуть раскосые и емкие ее глаза. Любить тихо и огненно, а потом умереть покорно и счастливо на виду у этого первого зимнего дня. Но умереть не так, как уснуть, а распахнуться, расстегнуть грудь и охотничьим ножом ударить в сердце, чтобы кровь брызнула на зеленый стожок сена, на белую поляну вокруг.

— Илья, ты о чем думал сейчас?

— О жизни.

— А я о смерти...

— На вашем-то месте?..

— Ничего ты не понимаешь...

«Не понимаю! А чего тут не понимать?... Бесишься с жиру и вся недолга!.. Шашни сотворить — раз плюнуть, только неизвестно, куда повернет потом. Ты отряхнулась и по-прежнему барыня. Меня же, дурака, барин прогонит. А из-за бабы, какая бы она ни была, должность терять не годится. Уж если так, втихомолку да без обману — куда ни шло...»

Рука-то уж вспотела, огнем горит, а Вера Степановна гладит ее.

— Илья, голубчик, будь моим другом! — она говорит искренне, проглотив слезы.

Илья, не понимая, робеет:

— Это, как же.. барышня?

— Чтобы понимать... Делиться... Чтобы одно сердце— другое чувствовало...

Илья пытается улыбнуться, но судорога сводит челюсти, голос чужой:

— Мы не годимся, это самое... Мужик я, барышня... Если бы ровня... Не женат был...

— Да, ты мужик.— Вера Степановна откинула его руку, задумалась с грустной улыбкой.— Где же люди-то?..

Лошадь повернулась к лесу, насторожилась. От леса, прямо к стогу ковыляла рыжая лиса. Скоро на опушке показались собаки, стремительные, хрипло дышащие. Туда-сюда покидались, потыкали мордами в снег, огляделись и увидели изнемогающего зверя. Лес огласился радостным визгом и лаем. Собаки пошли прямиком.

— Ату! Ату! — завопил Илья, соскакивая наземь.

Вера Степановна с безразличным лицом подняла ружье и, когда лиса уже легла на спину, приготовясь к последней схватке, выстрелила...

В июле Феодосия родила близнецов. Того, который покрупнее, назвали Максимом. Похилее — Андреем. Ребятишки удались горластыми. Лежа в лубяной зыбке головами в разные стороны, они кричали то порознь, то вместе, в два одинаковых голоса. Один вроде задремлет, забудется, глядишь, другой разбудил его. Горбясь над зыбкой, как ястреб над гнездом, Ермил жевал ржаной хлеб, выплевывал жеваное в холщовую тяпочку и такую соску совал в разинутые рты внучат.

— Мух-то отгоняй! — мимоходом взглянув на сыновей, просила Феодосия. Брови ее скорбно ломались, в ушах гудело от недосыпания. Грудь полнилась непроходимой тоской. На все не хватало рук, ноги подкашивала усталость. Набрав в ведра воды, она стекленеющими глазами глядела в черноту колодезя, где далеко-далеко поблескивало отраженное небо, спрашивала себя: «Может, кинуться вниз головой?..» До тошноты не хотелось возвращаться в избу к горшкам, ухватам, к реву ребятишек, к бесконечной перебранке между свекровью и Ермилом... «Господи, хоть бы всемирный потоп случился!»

Грязные от ржаных сосок рты ребятишек точили жирные мухи, и Феодосию тошнило.

— Батюшка, отгони мух-то!

— Ишь ты, прорва! — Ермил брал тряпье и махал им над лицами внуков. — Закройте кадыки-то, мухами подавитесь!

С печки подавала голос Степанида:

— Не пугай их, разбойник, заикаться станут!

— Поговори. Я вот возьму валеный сапог да запущу в тебя, чтобы замолчала!..

— Перестаньте, что вы грызетесь постоянно? — устало просила Феодосия. — Илье пожалуюсь.

— Ступай, жалуйся! — трясся от злости Ермил. — Я на твоего Илью, знаешь... как собака на забор...

Приходила коза, ставила передние ноги на ступеньку крыльца, таращилась в прохладные сени и голосила, словно звала Феодосию домой. И Феодосия выходила к ней, чтобы поплакать немножко, пожаловаться на долюшку злую.

— Никаких сил нет, белянушка! — шептала она, обхватив тонкую шею козы. — От Ильи нет помощи. Придет, переночует и снова умчится чем свет. А то и вовсе не приходит...

Феодосия как-то сказала:

— Народ говорит, ты с барыней...

Илья не растерялся:

— Знаю!

— Как же?..

— Так же! Молчи, дура, к богатству идем!..

— А соли нет.

— Поменьше жрите!..

От козы пахло простором полей, дикостью. Это больно тревожило, напоминало о вольной жизни, и исхоженных лугах, лесных тропинках. Обнимая и гладя животное, Феодосия спрашивала:

— Расскажи, белянушка, ты где побывала?

А у самой перед глазами тут же возникал какой-нибудь перелесок с густым ивняком, переплетенным ежевикой, и эти сине-черные ягоды — близко-близко, у самого лица...

Степаниду схоронили перед масленицей. В последние дни своей жизни Степанида прояснилась умом, сделалась надоедливой, болтливой. Оставшись наедине с Ермилом, она старалась завести разговор о покойной его жене Лукерье, о своем муже Степане — непременно хотела узнать тайну, которая постоянно ее мучила: «Чьим же сыном Степан был?»

Чтобы не слышать ее, Ермил во всю глотку баюкал правнуков и так при этом раскачивал зыбку, что она днищем стукалась в пол, а концом очепа — в потолок. Андрей с Максимом подскакивали выше краев, в животах у них екало.

— Старый леший, уронишь! — говорила Степанида с печки, пытаясь повернуться на бок. — Чего ты бухаешь?

— Не надоедай, не стану!

— Скажи, и я перестану.

— Чего тебе, ведьма? Ты что, как березовый лист после парки?

— Ты не серчай, а скажи только: когда у вас с матушкой дело было?.. Посчитаю и рассудим, твой ли Степан-то...

— Да замолчишь ли ты, прокаженная?! — трясся Ермил всем телом. — Язык отрежу!

— Разбойник! Может, ты ребятишек сгубить собираешься, как не кровные они для тебя!..

Ермил поднимался с табуретки и торопился на месте к топору, что торчал у двери в косяке:

— Постой, постой, анафема, дай до топора дойти! Дойду и башка твоя с плеч...

Но размахивал лишь руками, ноги же не двигались. Он только пугал, только вскрикивал:

— Зарублю! Истинный господь, зарублю!..

Потом Степанида стала кашлять и жаловаться на жар в груди, часто просила пить. Феодосия давала ей горячего молока, а Ермил, улучив момент, потчевал холодной водой.

— Всякий жар холодом гасят. Глони, глони, Степанидушка, — и думал: «Ужо с ледяшками напою!»

И он сделал это, когда снохи не было дома. Больная замолчала и вскорости умерла неслышно.

На масленицу Ермил стал выходить на улицу, чтобы поглядеть, как вершатся побоища, поволноваться всласть, ведь после такого зрелища, как после парки, легко становится в груди и мягко в суставах.

Драки обычно начинали ребятишки-заречные против польских. Их разделяла речка Моталка, закованная льдом и припорошенная снегом. Стоя на ее берегах, партия против партии, дети некоторое время вели перебранку, придумывали друг для друга обидные прозвища, сочиняли частушки.

У заречных вшивы куры,
Петухи хрипатые.
У заречных бабы дуры,
Мужики горбатые.

Заречные отвечали:

А польские дураки,
У них рваные портки.
Они кошек дерут
И кошатину жрут.

Своих, польских, Ермил поощрял и всячески поддерживал. Выходил наперед, грозил палкой:

— Вшоняты! Выблядки! Всех вас в крапиве подобрали. Наступайте, не то мы пойдем стеной!

В него летели комья снега, мороженые шарики конского навоза. Порой влепляли так, что слетала с головы шапка и темнело в глазах. Он подставлял спину, прикрываясь варежками, командовал:

— Польские, с богом! Не робей, соколики!..

Когда начиналась драка, он отходил в сторонку и дрожал, и притоптывал от озноба и от возбуждения:

— Наддай, наддай, робятушки!..

Домой приходил посиневший, но довольный и решительный. Кое-как с трудом вешал на гвоздик шубу, говорил:

— Нет, завтра непременно попробую. Без меня не горазды польские, вожака у них нет! — сожалел, что Илья не в него пошел по части кулачных драк, барина из себя корчит.

Илья действительно сильно изменился с тех пор, как стал служить в имении Лунина. Хотя и пустой чай, но без конца помешивал ложечкой, брал кусок хлеба двумя пальцами, оттопыривая мизинец. Часто болел непонятной болезнью мигрень, за которую обвинял Феодосию, потому что она заставила когда-то лезть в холодную воду за этим «дурацким заветным камнем», перевязанным малиновым поясочком.

— Простуда в меня вселилась с тех пор,— хмурился он.— Вот к докторам надо теперь...

Над причудами Ермила, над его советами принять участие в кулачных боях презрительно посмеивался.

— Мужицкое дело нехитрое!

— Ишь ты! Барин уж?

— И не вахлак.

— Боишься. Кишка тонка! — поддразнивал Ермил.— А я утресь перед ними встану, поглядишь, как валить буду. У меня, как снопы, полетят, оттаскивай поспевай! Самого Василия Косого подставляй, не отступлю!..

Его подняли на смех и в лавке, куда он заглянул в ожидании настоящего боя, где сельские мужики брали косушку на троих или клянчили в долг «на суставчик». Но все с надеждой поглядывали на зеленые бутылки, ежились и чесались, кряхтели. Братья Кобылины, у которых нечего было пропивать, затеяли спор о том, кто здоровее и выносливей. Старший брался поднять бочку с селедками зубами за край. Мужики подтрунивали над ним.

— А в роте полтора зуба!

— Это Фотинья ему выбила, после того как репы наелась!

— Один зуб и тот мягкий, как пуп!

Младший брался выпить водку пополам с керосином.

— Ни в жисть!

— Выпью!

— А не выпьешь?

— Портки снимем да в снег посадим!

— Выпью! — настаивал Кобылин-младший.

Предвкушая потеху, мужики зашумели громче, стали уговаривать лавочника:

— Не жалей для такого, Демид Устиныч!

— Уважь, ить сдохнет — не выпьет!

Хозяин лавки с улыбочкой мялся:

— Добро испортит. То и правда окочурится. Кто в ответе?

— Мы! На себя берем! — ярились мужики.— Наливай, пока на гужи не наклал!

Демид Устиныч брал в руки бутылку, встряхивал ее и ставил на место.

— Не сожрет, говорю, куда потом?

— Не сожру — остричь дамся овечьими ножницами, перед всем миром заявляю!

Старший Кобылин расталкивал мужиков, сгрудившихся у прилавка, пер грудью с расстегнутым воротом, ворочал белками припухших глаз:

— Наливай, разэк твою! Не он — так я не дрогну!

Наконец, смесь приготовили в глиняном горшке. Кобылин взял его чумазыми дрожащими руками, вдох-

нул, выдохнул и еще помедлил, глядя в горшок и видя там свое отражение. Он немного робел, но надеялся, что ничего не случится: ведь керосин, говорили, пьют от дурной болезни и вылечиваются.

— Рожу-то перекрести! — крикнул кто-то,— отойдешь без знамени — к черту угодишь!

И Кобылин осенил себя трижды, коротко и торопливо:

— Да будет воля твоя,— припал вытянутыми синими губами к краю горшка.

Первые глотки процедил сквозь зубы, вдавил их в желудок, икнул звонко, словно галка вскрикнула, передохнул и продолжал. Внутри жгло и саднило, оттуда, из желудка к горлу, будто совали суковатую палку. Глаза ширились и наливались кровью. Кобылин ворочал ими, как бык над ножом. Широко расставленные ноги дрожали в коленях.

Примолкнувшие мужики стали гадать: осилит или не осилит?

Старший Кобылин встал поближе к младшему:

— Не торопись, братуха!

Ему, так же страдающему с похмелья, немного было обидно, что не подвезло самому и стало казаться, что брат не оставит допить, как тот вдруг дрыгнулся всем телом и выронил горшок. Потом гыкнул протяжно и, шатаясь, пошел вон. Там он повис животом на перила — зеленый, истекающий рвотой.

Мужики высыпали следом, стали смеяться.

— А если спичку поднести?

— Спереду ай сзаду?

— Давай сзаду, чтоб из глотки огонь летел!

— Зачем? Не тронь! Баба фитиль вставит да место лампы повесит, чем лучину жечь!

Кобылин-младший надрывался, из его утробы шел сплошной рев. Язык болтался, как у собаки в жару, глаза выкатывались. На перилах он висел тряпкой. Кто-то все же посоветовал дать ему молока. Принесли желтого молозива, стали поить.

— Слабоват, братуха,— сочувственно говорил старший, придерживая валившуюся голову младшего.— Как бы надо-то?.. Ты бы не сверху хватал, а пониже рот запускал, не тронь верхнее-то, по подбородку мимо стекает!.. Керосин-то выжрал, а добро-то на дне осталось, понял? Выходит, дурак ты неразумный!

Их оставили вдвоем. И тут под горячую руку подвернулся воинственный Ермил. Его немедленно подпоили и принялись стравливать с Василием Косым.

— Да ну тя! — сидя на бочке, отмахивался тот от наступающего деда Ермила.— Слышишь, ну тя, говорю!

Ермил сучил кулаками у его доброго широкого лица с молодой кудрявой рыжей бородкой, с большим небесным глазом. Во хмелю-то, может, и забыл даже, кто перед ним, петушился:

— Выходи, мать твою в затылок! Померяемся!

Сзади Ермила подталкивали, напирали. Его, словно котенка, швыряли на сильную, но умную собаку и наглели, что ничего не получается.

Василий сердился, но не столь на Ермилу, сколь на мужиков.

— Мотрите, не уськайте, осерчаю — добра не будет.

— Струсил!

— Столетнего испугался!

— Сунь ему в рыло, дедушка Ермил, чтоб Макаровых помнил!

— Уйти от греха,— усмехнулся Василий и поднялся.

— Пропустите, оглашенные!

Но ему не давали ходу.

— Бежать собрался!

— Штаны вытряхать пошел!

Уж кто-то умышленно стукнул Ермилу под локоть, и тот нечаянно влепил Василию в переносицу. Василий провел ладонью под носом, поглядел — кровь.

— Ну, что я вам сказывал! — потряс он головой.— На кого пенять-то прикажете?

И в следующий миг раскинул в стороны могучие руки, загреб в охапку сколько смог мужиков вместе с Ермилом и без особого труда кинул от себя на прилавок. Потом хватал еще по одному, по два как попало — кого за грудь, кого за загривок — и швырял туда же в кучу, где вокруг барахтающихся мужиков валилось все с полок, билась посуда, где неистово вопил Демид Устиныч.

Когда никого не осталось поблизости, а остальные разбежались, Василий поднял над собой бочку с селедкой и в наступившей тишине ужаса пустил ее в простенок. Лавка, казалось, дрогнула от основания до крыши. Простенок вынесло вместе с двумя боковыми окошками. В суматохе вылилась на пол посудина с керосином, и он вспыхнул от топившейся печки.

Все выскочили, оставили лишь ушибленного и помятого Ермилу. Демид Устиныч схватился за голову:

— Тушите! Воды давайте!

— Дед Ермил горит! — спохватился Кобылин-старший.— Там он! Чего стоите?

Оглядевшись и не найдя старика, Василий, прикрывая лицо, прыгнул в огонь. Из двери и через выбитый простенок и окна повалил черный дым и пламя. Мужики толкались, шумели, посылали друг друга за водой, а пожар разгорался.

Демид Устиныч кинулся к Василию, выходящему из лавки с Ермилом под мышкой:

— Помогай, Христа ради, озолочу!

— Погодь, отдышусь.

— Поздно будет!

— А что дашь?

— Чего желаешь!

— Ведро водки.

— Два! — набавил Демид.

— Обманешь,— не торопился Василий.

— Истинный крест! Перед богом и народом. Скорее давай!

Василий надвинул шапку на лоб, погрозил Демиду большим кулаком:

— Смотри, я ить сначала подожгу, если что!..

Там, в лавке, он схватил кусок грубого сукна и, разматывая его, стал застилать пламя. Уняв пожар на полу, он другим размотанным куском принялся хлестать направо и налево, по стенам, по потолку, до тех пор, пока нигде не осталось красных язычков.

Вышел чумазый, дымящийся:

— Готово! — и утерся шапкой.— Отец дьякон, водку на кон!

Демид Устиныч сразу к кассе, выхватил ящик,— «целехонько»! А ведь он полагал, что Василий в дыму-то прежде выгребет кассу. Нет, по-честному поступил человек,— придется раскошеливаться! Но ворчал, отсчитывая бутылки:

— Тебя за такое в холодную бы, а я жалую!

— В холодную? — Василий внимательно следил за лавочником, щепоткой пощипывая бородку, говорил спокойно.— В холодную-то тебя, Демид Устиныч, потому как Кобылина чуть не погубил.

— Сам набился! Кто заставлял-неволил?

— Жисть заставляла.

Закуску и водку он выставил на сугроб, сел — ножки кренделем и начал бражничать. Угостил Кобылина-младшего, и тому стало легче. Поднес Кобылину-старшему, а с собой посадил одного лишь деда Ермила.

— Валяй от пуза, старик! Это нам бог послал.

Сбежались и столпились вокруг него и польские и заречные.

Василий пил и пел, с усмешечкой посматривая на зевак.

Ой, вы, белы лебеди,
Поднимите меня в небо ясное,
Покажите мне, лебеди,
Мать-сыру землю...

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Знать, еще гроб заказывать надо,— говорил Илья, подсовывая под голову деда Ермила подушку.

— Мне-то? — подавал слабый голос старик.— Нет, я погожу, внучек.

— Нужно ли?

— Нужно. Не все сделал на этом свете.

— Не всех блох накормил, ай что?

— Крынкина не отблагодарил. Твоему барину не поклонился.

— Мне откажи.

— Не сделаешь, что я задумал. Ты, внучек, купленный...

Старик не поднимался. Чтобы выйти из дома, Феодосия полотенцами под мышки привязывала ребятишек к спинкам деревянной кровати, друг против друга. Случалось, они и засыпали так подвешенными. Ермил грустно умилялся на них, жалел, а слезть с печки не мог.

— Что ты! — сквозь слезы скажет.— Ровно исусов распяли, родимых!..

К весне Феодосия окончательно выбилась из сил. Понимая ее, Ермил упрекал Илью:

— Мать родных детей губишь, кровопивец. Помоги ты ей чем-нибудь!

— Чем? — огрызался Илья.— Должность бросить?

Он стал приходить все реже и ненадолго: тяготился

домом, да и хлопот по барскому хозяйству хватало.

Приходил грустный Дементий, и Феодосия жаловалась ему:

— Жизни не рада, папаша! Хоть руки накладывай на себя!

— Помереть успеешь,— рассуждал Дементий.— Когда ни помирать — день терять. Ты вот что: в поле, в лес сходи. Я посижу с внучатами, а ты сходи. Да не торопясь. Попробуй позабыть все, потеряться. Знаешь, как обновишься! Тебе ведь не жизнь надоела, а маята тебя извела. Ступай пораньше, на целый день. Теперь уж сморчки на полянках, кузовок возьми.

Неторопливый, ласковый, он умел хорошо говорить. Ему всегда верилось, располагалось к нему. Начнет рассказывать, как ходил на порубку за «сердечным корнем», и уведет за собой, околдует тем, что сам видел. А виделось ему только радостное, забавное.

— Послушай, ты что бежишь вылупя глаза? — спрашиваю зайца.

— Лиса гонится.

— А пошто?

— Морковку я украл у нее.

Другой раз волк навстречу:

— Здорово, Дементий!

— Здравствуй, разбойник. Почем знаешь, что я Дементий?

— Все говорят: Дементий да Дементий.

— Так чего тебе?

— В гости зову.

— Что в щи-то клал?

— Твою козу...

— Али вот жил мужик. И горе жило с ним в избе. Ребятишек у мужика много и все мал мала меньше. А горе большое, прожорливое. Ребятишкам мужик хлебушка добудет, а горе возьмет да и слопает. Что делать?.. Как горе из избы выгнать?.. Он его и по чести просил, мол, иди поживи у богатого. Он и бранил его. Потом придумал... Берет ребятишек, берет жену и уходит. А избу на замок. А калитку с воротами колом подпер. Подошел к окошку да и кричит с улицы:

— Ведь мы совсем ушли! Пропадешь без нас!

А горе ему:

— Вернетесь. Все равно вам деваться некуда!

— Ну, держись тогда! — рассердился мужик. Да и давай круг избы огонь разводить. Понятно, один вид делает, что поджигает. А горе поверило, просит:

— Выпусти!

— Не выпущу!

— Сгорю я!

— Гори на здоровье!

А изба-то уже не на шутку загорается. Мужик скорее окно раскрыл:

— Вылезай!

— Не пролезу!

Мужик двери настежь:

— Выходи!

А оно в дверь не протиснется... Пришлось мужику затоптать огонь. Вернулся он в избу, залез на печь и давай плакать: «Что придумать, чтобы от горя избавиться?»...

После такого сказа Дементий обязательно посмотрит на собеседника со вниманием:

— Чего же тут плохо и чего хорошо?.. Плохо, конечно, что мужик от горя не избавился. А плохо ли, что думать стал?.. Мужик-то, он хитер, непременно придумает!..

Не вдруг собралась Феодосия в лес — назначала и откладывала, одолевали домашние дела. Но ей уже стало легче от одной мысли, что она может не сегодня-завтра отдохнуть, забыться.

Собралась лишь на второй неделе после пасхи, по раннему солнышку, по светлой росе на молодой травке.

Коза словно догадалась, что Феодосия в лес идти надумала: ждала в проулке, увидела — обрадовалась, ткнулась рогами в подол. Пошли тем же путем, каким ходили раньше. Как только миновали огороды — открылось поле до самого леса. Тут было много солнца и жаворонков, тут были их песни и теплая тишина. С собачьей радостью коза мыкалась вокруг Феодосии, то далеко убегала вперед, то возвращалась с ошалелыми глазами, с репьем в бороде — смешная и милая.

«Ты не молчи, ты разговаривай с природой-то!» — вспомнила Феодосия совет отца и поглядела на легкое весеннее небо:

— Здравствуйте, жаворонки! Здравствуй, свет божий!..

Велик мир, просторен и светел. Почему же люди отгораживают в нем для себя четырьмя стенами темный уголок? Неужели им лучше без солнышка, в дыму печей, в вислом пару помоев?..

Феодосия присела перед желтыми цветочками, что во множестве росли по обочине полевой дороги, погладила их:

— Здравствуйте!..

Прилетела пчела, проворная, озабоченная, стала копошиться в цветах, и Феодосия поговорила с ней:

— Бог в помощь, труженица!

— Спасибо,— будто ответила пчела.

— Много ли цветов расцвело?

— Все луга пестрят.

— Кланяйся им.

— Каждому поклонюсь.

Потом пчела будто сказала:

— Прощай, шибко тороплюсь, Феодосьюшка! — и улетела, оставив после себя запах хлебинки и меда.

Пролетели над головой журавли, рассказали о том, что спешат они на болота вить гнезда, что были они за синь-морем в чужой стране, где умирает в темнице прекрасная царевна.

— Что видите? — спросила их Феодосия.

— Горы, горы! — ответили журавли.

— Кто идет там?

— Добро, добро!

— Чего несет оно?

— Радость, радость!..

Дальше всех вышли из леса, чтобы встретить Феодосию, две молодые елочки — одна тоненькая, с редкими сучьями, другая — кубышкой, кудрявая. Стали елочки при дороге, держась за руки и кланяясь чуть-чуть:

— Добро пожаловать, Феодосьюшка!

— Здравствуйте, милые!

— Давненько не виделись. С чем наведалась?

— С горюшком.

— На селе-то что? ,

— По-старому: люди слезы пьют да ругаются.

— То-то, грешные, неразумные! Ну, иди, иди, отдохни у нас...

С болотца, что прилегало к опушке, взлетели чибисы, закричали, словно ребятишки:

— Феня идет! Феня идет!

— Ух, ты! Ух, ты — удивились горленки.

— К нам! К нам! — прокричала ворона.

И лес встретил Феодосию как родную. Деревья окружили ее, глядят приветливо. Черемухи тут же надушили, березы увешали сережками. Птицы — песни петь для нее, старые ели — сказки рассказывать. Дубы вдохнули в нее свою силушку, ольхи нарумянили, сосны смолой напоили. Хорошо стало, помолодела женщина.

От дерева к дереву, от полянки к полянке ходила Феодосия, как из гостей в гости. Отдыхала, присев на пенек или на упавшее дерево, и снова шла в радушие, в желанность умного лесного царства.

У земляного холмика, в тени деревьев, с нераспустившимися на нем ландышами, Феодосия вспомнила Орентия, вспомнила, как живого: со слезящимися глазами на бледном лице, синим носом, хилого, как поганый грибок на навозе. Подумала-поговорила с ним:

— Хорошо ли на небе тебе, Орентий, душе твоей?

— Не принял бог ее, Федосьюшка. Ведь я сам себя порешил, грех непростительный...

— Где же бродит душа твоя грешная?

— Днем под кустиком прячется, ночью по лесу гуляет.

— Может, помолиться за нее?

— А ей и так хорошо. Она отрешенная, вольная.

— Не страшно ли ей, одинокой?

— Страх — только в жизни царь. Мертвые не знают земного...

Ни листочек, ни травинка, ни букашка лесная — ничто не прятало от Феодосии правды. Вот лишь старая заброшенная дорога не хотела показаться ей: виляла, петляла по лесу, в чащугу убегала, в мох зарывалась, лишь бы не увидела ее Феодосия, не догадалась, что за следочки на этой старой дороге.

А следочки-то от колес, от копыт были...

Набрела на них женщина и остановилась в раздумье: «Никак мой Илья проехал! Куда же он в глушь покатил?».

Следы свежие: еще травка на них не распрямилась и вода не посветлела в ямочках от лошадиных копыт... У мужицких телег колеса широкие, обода железные, тут желобком колея: шины дутые... «Куда же он?»...

И упало сердечко: «Один ли?..».

Застыдилась дорога, поникли деревья, отвернулись.

«Хор-хор»,— прокричал в тишине ворон. «Беда, беда»,— поняла его Феодосия и заторопилась навстречу беде...

Вот и заброшенная сторожка, вот и лошадь, впряженная в тарантас, у нее... Вот и дверь, которую открывает Феодосия... А вот и позор...

Чужой Илья повернулся и сказал чужим голосом:

— Чего тебе?..

Вышли они с барыней и уехали. Остался лес, а в лесу сторожка, а в сторожке Феодосия да коза, только и остались они на всем белом свете...

Сердце у Феодосии в груди сжалось и долго-долго не хотело биться. В это время Феодосия была травинкой, на которую пристально глядела коза смешными поперечными зрачками и, должно быть, собиралась съесть ее. Феодосии было страшно от малости своей, беззащитности перед жадными козьими глазами.

Потом пришло другое — то, Феодосьино, девичье, непокорное и решительное. Она останется в этой сторожке навсегда, сделается настоящей ведьмой: будет нарочно пугать людей, посылать мор на скотину, навевать пожары. Мстить!.. Она овладеет силой ветров и гроз, пошлет на село такое бедствие, что не только сметет крыши и раскатает бревенчатые избы, но и землю на пол-аршина выдует на том месте, где стояло село. Если бог не помог, то пускай поможет ей нечистая сила.

Потом вдруг Феодосией овладели ужас великого греха и ненависть к людям: распахнула дверь и стала исступленно плакать, стоя на порожке, держась руками за косяки...

В молодом весеннем лесу собирался зеленый вечер. Красные солнечные лучи текли по самым макушкам деревьев, они горели скорбными тихими свечами над мшелыми пнями, а они корячились, как живые старики, от боли и причудливо умирали — криво, изломанно, страшно... До земли свисали рыжие бороды прошлогоднего хмеля, и от них остро несло угарной горечью. Не было сил у Феодосии видеть серые гробы вместо стволов упавших осин и черных монахов между елей и не было сил оторваться от косяков, переступить порожек сторожки...

Но вот тревожное эхо метнулось по лесу, ушло и вернулось в окаменевшее Феодосьино сердце, пронзило его острой болью.

— Феодосия-а-а!..

И, шатаясь, она пошла на зов, постепенно освобождаясь от забытья, постепенно радуясь живому голосу Ильи.

— Феодосия-а-а!.,

Наверно, ничего нет печальней эха в ночи. Оно тоскливо и горемычно, оно сопутствует бедам, оно боязливо и обреченно. Не зря о нем и загадки плохие: человек скажет, а черт схватит и по лесу покатит; о душе тужит, с богом не дружит, кому оно служит?..

— Феодосия-а-а...

— Илья-а-а...

Два голоса ищут друг друга и не могут найти, как двое слепых в церкви: эхо сбивает с толку, водит неведомыми путями, навевая суеверие и страх...

Оставив лошадь, Илья сошел с дороги и тут же заблудился. Голос жены ему слышался то справа, то слева, то сзади, а он, казалось, все время шел на него. В одном месте Илья прокричал и стал вслушиваться, затаив дыхание. Жутко было ему, но не очень, пока зачем-то не поднял лица к небу и не увидел кусочка неба с ягнячью овчинку. В тот миг ему не только вспомнился Орентий,— он почти ясно услышал его голос:

— Уйди... Ты мне надоел...

Илья попятился, но его что-то придержало в спину, не пустило. Каменея и врастая в землю, он еле-еле поднес к холодному и мокрому лбу строенные пальцы правой руки, чтобы перекреститься:

— С нами кресная сила!..

А когда произвольно опускался на колени, страху добавила коза, отбившаяся от Феодосии: очертание ее головы появилось в тусклом свете между деревьев — с высокими рожками, с ушами в стороны. «Черт!»...

Именно такой черт, какого рисуют в святых книжках, какого видел Илья на картинках.

— Феодосия! — прокричал он с дрожью в голосе и, закрыв лицо ладонями, ткнулся головой в холодный мох. Крайность страха перешла в безразличие: «Пусть будет что будет»!.

Принимая козу за черта, Илья слышал, как она подошла к нему, фыркнула и тепло засопела под самым ухом.

— Господи, крест животворящий, отведи вражескую силу! — шептал он.

Вскоре послышались другие шаги, и над Ильей склонилась Феодосия...

Потом они нашли лошадь, оставленную Ильей, поехали домой. Его знобило. Руки плохо держали вожжи. Феодосия каменно глядела на звезды, жить ей не хотелось...

Ночь давно наступила. Андрейка и Максимка спали. В потемках, без лучины и лампадки, разговаривали Ермил и Дементий. Поглядывая в сторону, вниз, Дементий виновато улыбался. Ему было больно за дочь и стыдно за зятя, потому что с таким столкнулся первый раз в жизни так близко. Овдовев, Дементий мог бы жениться. Находились порядочные женщины — то вдовы, то старые девы, но бранил он назойливых свах: «Ну вас к нелегкому с вашими женами! У меня законная есть». «Так померла же она!». «Мало ли чего! Может, она там ждет меня? Один доживу как-нибудь!».

Доподлинно зная об измене Ильи, может быть, больше всех остальных, он до нынешнего дня носил горечь в душе, молчал и виду не подавал.

— Молва, что ком снежный: катится и пухнет. Пригреет солнышко — растает, водой убежит. На том месте и сыроты не останется, травка молодая вырастет,— говорил он еще в сумерках, качая зыбку и умиляясь на засыпавших внучат.

Под старость да и к смерти поближе Ермил становился все более зол и прям. О чем Дементий говорил с юношеским смущением, Ермил резал цинично, без стеснения, как мужик с мужиком:

— Не мыло, не убудет! — кричал он с печки.— Барыня-то ему часы пожаловала. Глядишь, еще что Илюха выслужит. А это все в дом, а не из дому. Не какая-нибудь сарафанница, а барыня подвертывает. Знать, неплох мужик! Любой бы на селе не отказался ни от должности, ни от барской подушки, плохо ли!

— А Феодосия, ей-то каково?

— Ее дело молчать в тряпочку. Богатство не наживешь честь по чести.

— Наживаете! Даже лошаденку продали...

— Тоже расчет! — горячился Ермил. — Продали,

чтобы расходов не было. А для себя поработать и на барской можно. Мало чего продал, да деньги не пропил!

— Там, где расчеты, бывают и просчеты,— спокойно рассуждал Дементий.

Ермил понимающе хихикал:

— А ты думал? Так тебе — и вот оно, шлепнулось с неба! Догадываюсь, Илюха вот как замахнулся верно! Кабы Феодосия не мешала...

— На барыне бы женился?

— Как пить! — Ермил не столько верил в собственные слова, как был доволен, что клюет Дементия, отводит душу, срывая накопившееся зло.

— Непонятные вы, — вздыхает Дементий. — Богу молитесь, а добра в вас нет...

Как только вернулись из леса Илья с Феодосией, Дементий ушел домой. Там он посидел одиноко на лавке у светлеющего окна, погоревал, посердился на людей по-своему, беззлобно и недолго, как родители сердятся на своих детей: «Для чего живут, к чему стремятся?».

С куском круто посоленного хлеба в кармане, с пустой корзинкой, зашел на кладбище, постоял над могилой жены, поулыбался... Вспомнилось такое же раннее утро в пору молодости и любви... Она ехала на мокрой белой лошади после большого дождя с громом, с ясными молниями. Сидела на молодой ядовито-зеленой вике, на ее розово-синих цветах, и платье ее сливалось с ними — тоже цветистое. И вся она, Дарьюшка, была под стать утренней свежести... солнышку... радуге, искристым ручейкам...

— Здравствуй, Дарьюшка!

— Здравствуй, Дема,— натянула подол на коленку, засмеялась.— Бррры! Нитки сухой не осталось! — подобрала вожжи, остановила лошадь.— Уж такой припустил, уж такой спорый!..

У него долго слезились глаза, и шел он с кладбища не зная куда. Только уж больно солнечно было! В своей руке Дементий чувствовал руку жены — маленькую, теплую, даже чуть-чуть влажную. Он даже вспомнил, о чем говорили, когда вот так же, давно, возвращались из лугов с сенокоса.

— Устала, Дарьюшка?

— Нет.

— Поесть хочешь?

— Поела бы.

И достал из кармана надкусанный пряник, который приберегал для жены, но чуть было, забывшись, не съел на сенокосе.

— На.

— Твой ведь!..

— А у меня два было,— соврал Дементий.

Поглядели вправо, поглядели влево, да и ну целоваться, стоя на дороге!..

Любил Дементий ее песенные глаза — какие-то полные вешних цветов и теплоты бабьего лета. Какие-то просторные, что, казалось порой, в них можно войти, как в осенний лес погожего дня и заблудиться там охотно, махнув рукой на все житейские невзгоды. И покой, и свежесть, и синюю теплынь, и трепет желтизны и багрянца носила в своих глазах Дарьюшка для него. Там, в ее глазах, ему чудилась и туманная даль, и убранное солнечное поле, и стынувшая речка, будто кусок упавшего неба, и сентябрьское раздумье о весне.

Дарьюшка...

Вот и Феодосия похожа на нее, да кто заметит в ней этот дар!.. Отцветает, а и расцвесть-то как следует не успела: уж горбится и плечи остры, а грудь ввалилась. Муж — тело, а жена душа его. Как же жить им порознь?

Эх, доченька, доченька, чем помочь тебе в горюшке?.. Вон как сказал Ермил-то: мужу мешаешь темные дела делать! Марают они душу твою чистую...

Недолго мучала совесть Илью, недолго он старался уходить из дому пораньше и попозднее возвращаться. К тому же захлестнули полевые работы. Положение его в имении упрочилось. Франц Францевич занедужил, не выходил из своей каморки: то лежал и читал, то думал о чем-то, то закрывшись, пересчитывал золотые монетки. Барин, Степан Владимирович, в самую жаркую пору пашни и сева укатил на похороны своего старого друга графа Жеронского и надолго остался там погостить. Так что на плечи Ильи легло все барское хозяйство, некогда ему было ни каяться в грехах, ни раздумывать над тем, что с ним случилось. Вера Степановна требовала внимания, караулила его в таких местах, где бы никого не было, кроме них, чтобы назначить час встречи или изменить назначенный по каким-либо причинам. Илья уже побывал в ее покоях, подивился,

глядя на себя в большое зеркало, похмурился, поухмылялся. Особенно нелепо выглядел он, когда поднимался с кружевной постели и подходил к зеркалу прямо в грубом крестьянском белье: рубашка нараспашку, подштанники на одной пуговице, с большим окошечком — смех и грех!

Феодосия действительно ему мешала. Частенько приходила мысль: овдоветь бы! Теперь, казалось, только жена стояла на его пути к богатству, поэтому он и не очень считался с ее переживаниями, тяготами. На ее совет уйти из именья он так ответил:

— Мокрица! Жизни не понимаешь. Я хоть для сыновей стараюсь, а ты для навозу живешь!..

Детей он любил. Находил время поиграть с ними, иногда сладким побалует. С Феодосией стал разговаривать по необходимости. Над Ермилом недобро подшучивал:

— Жив еще?

— Пелехаю, внучек.

— Провонял ты весь, к печке не подойдешь!

— Мараюсь часто, а Феодосья вон портки не меняет.

— Ешь поменьше.

— И то уж картошка с квасом...

Феодосия мучалась так, словно сама изменяла мужу: робела в его присутствии, терялась. Когда он ночевал, она на постели жалась в комочек, отодвигалась ближе к стенке, чтобы ничем не дотронуться до него. Подруг у нее не было, а с отцом поговорить стеснялась. Решила в конце концов сходить в церковь помолиться, исповедаться у отца Сергея. Рассказала ему все, что знала про Илью, о том, что ей очень тяжело жить на свете. Отец Сергей слушал ее, хмурился, утирал мокрое лицо Феодосии своим красным носовым платком, от которого дивно пахло ладаном и нюхательным табаком.

— Слезы — бабье лекарство, — говорил он. — Поплачь, поплачь, лапушка. А с него я спрошу ужо!..

— Рассердится, батюшка, не надо,— всхлипывала Феодосия,— не сказывай, что у тебя была.

— Я ему! Он у меня! — горячился отец Сергей, вскидывал седые брови, надувал розовые щеки.— Твой Илья грех непростительный совершил, каяться должен!

— Не надо, батюшка! — Феодосия поднимала на попа такие чистые голубые глаза, что и слезы-то, бежав-

шие по лицу, казались голубыми. «Святая! — умилялся на нее поп.— Хоть икону пиши с тебя». Он был человеком доброй грубоватой натуры, религию близко к сердцу не принимал, но считал ее единственно надежной силой, которая сдерживает людей от злодеяний. Чего бы стал человек делать в беде и горести, как не молиться? То, что результата не будет, отец Сергей хорошо знал: молись, хоть лоб разбей, а уснешь в бедности и проснешься в ней. Но главное — вера, надежда. Вставая перед иконой, чтобы помолиться для себя, он рассуждал: «Господи! Я посредник твой, знаю каждого в своем приходе. Много ли среди них верующих, как подобает, и честных до конца? Мало! Я не прошу тебя за малые грехи наказывать, ты хоть отъявленных карай. Иначе верить перестанут!.. Ведь так-то, если ты не откликнешься, страшно подумать, до чего можно докатиться!».

Выпивши, отец Сергей глумился над богом.

— Нет, не верю в тебя! — грозил он пальцем на глазастого спасителя — старинную иконку греческого письма.— Не бог создал человека, а человек тебя создал по образу и подобию своему! Ты где пребываешь-то?... На небе, думаешь?.. В душе моей, вот где!..

Черствел отец Сергей, когда неделями враждовал с богом. Но надоедало ему это состояние и постепенно возвращался к послушанию. «Все-таки без бога нельзя жить!» — говорил он самому себе.— Нагрешить можно...».

Как же без бога?.. Ведь даже сейчас, если бы он совсем отрекся от него, то, несомненно, дал бы волю похоти, которая тревожит его от близости молодой женщины, плачущей голубыми слезами. Поцеловать хочется отцу Сергею эту женщину, пощекотать бородой тонкую шею, а бог-то не велит!..

Осуждая Илью, отец Сергей понимал в то же время его трудное положение. Кто бы на месте Ильи, служа в имении, мог обойти греховодницу Веру Степановну?.. Да, но что же посоветовать Феодосии? Всякое против Ильи обернется, против молодой барыни, а с барским домом ссориться не резон... Горше и горше становилось отцу Сергею от святых Феодосьиных слез, от ее искренности и чистоты. Другая бы подралась с мужем, пошумела, да и забыла. А эта нет. Видишь ли, хочет жить чистой, или умереть!

— Что же сказать тебе, лапушка? — с виноватой нежностью спросил он и громко высморкался в красный платок, сырой от Феодосьиных слез, и увлажнившиеся глаза свои потер им. В носу у него, в широком и мягком, зудело: давно хотелось втянуть в него добрую понюшку душистого нюхательного табаку, присутствие Феодосии мешало.

— Молись, голубушка, бог терпение пошлет,— продолжал он, щупая в кармане желтый рожок — табакерку.— Да вот что, Илья пускай попарится, а когда воды попросит, чтобы окатиться, ты в ту воду кинь три уголька березовых со словами: угольки-уголья, нечисть в подполье...

И улыбнулся грустно, и Феодосия улыбнулась...

«Святая, истанный господь, святая!» — Теплоту в сердце, которую вселила Феодосия, он нес до самого дома, пока тропинку к крыльцу не перебежала безносая Харитина. Перебежала воровато, пряча что-то под фартуком.

Остановил, поглядел на спрятанные руки.

— Перекрестись!

— Я, батюшка...

— Перекрестись!

— Батюшка, живот схватило,— согнулась Харитина.— По нужде бегу, но попыталась высвободить правую руку и обронила гусиное яйцо.

— О-о! — превелико удивился отец Сергей.— Ты у меня несешься, да и крупно как! Так вот почему гусыня-то отдыхает!..

Обедал и придумывал наказание Харитине за страшный грех — воровство. Придумал:

— После трапезы пойду святить часовенку на могиле Степана. Пойдешь со мной, грешница. И там на кладбище, у часовенки, останешься молиться на всю ночь, до солнышка...

И, не видя смятения на лице Харитинии, продолжал не без умысла:

— Видения могут казаться страшные, а ты молись. Упаси бог оглянуться при этом... Обмануть — не обманешь, следить стану. От церкви отлучу, если что!..

Часовенка ему понравилась, но к Крынкину придирался: колупал ногтем известь и приказывал на завтра побелить еще. Ксенофонт был зелен от злости, однако согласно кивал:

— Исполню, батюшка...

В эту ночь отец Сергей не уснул, как ребенок: ворочался, охал. «Господи! Где же твое участие в этой проклятой жизни?!»... С первыми петухами решил наведать молящуюся Харитину. Небо сияло звездами, а на земле — ад кромешный! На память кое-как выбрал направление, пошел, натыкаясь на холмики и кресты. Было желание подкрасться, понаблюдать, да сбился, знать, с направления. Пришлось в конце концов окликнуть Харитинию.

— Где ты тут, нечистая сила? Шиповником искололся!.. Отзовись!..

В ответ услышал мычание и лязганье зубов: перепуганная им Харитина лежала у часовенки, и ее било, как в лихорадке. Стало жалко.

— Что с тобой?

— Смерть моя... Видение было.

— Врешь ведь, дура!..

Повел ее с кладбища, брезгливо воротил нос: «Знать, правда напугалась!».

И успокоил себя: «Ну хоть в черта-то веришь, не совсем пропащая!».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ермил умирал страшно...

Одну ночь он ползал на печке, искал клад и рассказывал, что виделось ему при этом, рассказывал с той сладкой жутью в голосе, от которой у Феодосии холодело сердце. Просыпались и голосили Андрей и Максим, пугались. В другую ночь он душил старосту Крынкина, громко наслаждался его муками — мстил за сына. Угомонится малость и что-нибудь новое:

— Феодосия, смотри, Илья-то убить тебя собирается. На барыне женится, ты не просли!..

Или засмеется вдруг молодо, с удовольствием:

— А я обманул вас! Я чужой вам. Слышь, что покойник Степан говорит... Видишь, он у порога прячется!..

Ругал жену, Лукерью, и пел:

Эх, зачем меня женили, коней пару маяли,
Для чего такую брали, чтобы люди хаяли...

В день кончины пришли ему на больной ум камни, что привез он с реки и утвердил под окнами.

— Отвезите назад их, а то пути в жизни не будет, они заколдованы мной, слышите!..

Умер Ермил с руками, вцепившимися в волосы, да так и закостенел, потому что Феодосия забыла про него между домашних забот, потом, обрадовавшись наступившей тишине, крепко уснула вместе с ребятишками. Лицо у покойника было изумленно-злым, словно в самую последнюю минуту понял он и оценил свою многотрудную жизнь, увидел всю ее несправедливость и ужаснулся.

Его место в доме Макаровых занял теперь Дементий, который принес с собой тихую ровную жизнь, полную нежного раздумья, задушевных бесед. Даже Максим с Андрейкой сделались спокойней. А когда оба стали на ноги, Феодосия совсем избавилась от них: возьмет ребятишек Дементий и уведет куда-то чуть ли не на полный день. Зимой вернутся после такой прогулки — морозом пахнут, розовощеки. Летом придут — с цветами, в малине или земляянике попачканные и рассказывают и рассказывают матери наперебой, отталкивая друг друга, где были да что видели. Другой раз с ног валятся от усталости, но довольные, радостные. Первое время Максимка вовсе не выговаривал «р», а Андрейка «л». Говоруны же были большие. Так начнут торопиться, что сама мать не поймет их, а отец и подавно, потому что виделся с ними редко.

Если Дементий разговаривал с ними, то как с равными, не окорачивал, не стеснял. Да у него с ними получалось как-то так, что не приходилось ни повышать голоса, ни выговаривать — сплошной мир и лад. От отца случалось плакать и огорчаться ребятишкам. При отце за столом нужно было сидеть смирно, ложку со щами поддерживать кусочком хлеба и не держать ее без толку в руке, а класть на стол справа от себя. Не облокачиваться, не ерзать по лавке, и многое-многое требовал Илья от сыновей.

— До завтра у меня чтоб «Отче наш» выучить и «Рождество твое»! — скажет и уйдет, озаботив всех в доме. Но Дементий и эту трудную задачу решал по-своему, на свежем воздухе: бродит с внуками по лужкам, по полевым дорожкам и тянет в нос, как песню, а Андрейка с Максимом помогают ему:

Отче наш, иже еси...
на небеси...
Да святится имя твое...
Да будет воля твоя...
Да придет царствие твое...

Часто, не понимая слов и их смысла, ребятишки просили растолковать. Дементий начинал и сбивался сам.

— Эх, голубочки мои сизые! Да вы как-нибудь запомнили и ладно. Этих молитв, должно быть, отец Сергей не разумеет. Мне эта «Отче наш» так запомнилась:

Хлеб наш насущный...
Дашь нам днесь...
И остави нам долги наши...
Яко же и мы оставляем должникам нашим...

И, подумав, приставив указательный палец ко лбу, виновато усмехался:

— Вот понимаю, а сказать, что к чему, не могу. Давайте так решим: не пытайте меня, а учите, выучите — гнездо покажу с птенцами, поняли?...

Дети охотно соглашались. У Андрея отчет отцу проходил почти без запинки. Максиму же не раз приходилось лихо.

— Вождество твое, хвысте боже наш,— начинал он, и отец махал нетерпеливо рукой:

— Это же богохульство! Разве святые слова так произносить положено?.. Андрейка, научи его!..

— Рождество. Христос,— говорил Андрей, услужливо выделял «р».

— Слышал?! — строжился Илья Степанович.— Повторяй!

— Да нешто у него получится! — заступалась Феодосия.

— Не суйся! — коротко обрывал Илья Степанович.— Должно. В одном чреве зародились!

Дементий вмешивался редко, а уж если вмешивался, то Илья уступал.

— Будет, — спокойно скажет Дементий и притянет за руку Максима к себе. Зажмет его между колен и гладит по голове.— Научимся до поры. Не сорока, в одно перо не угадаешь. А ты, Андрейка, не радуйся чужому горю. Давеча вон ты бычишки испугался, а Максимушка не побежал, а хворостинку взял: за тебя заступился, так-то!..

Мирил, дружил неустанно Дементий внучат. Рано

начал учить их своей самоучной грамоте и тому, что знал о природе.

Пособирают по полянкам чернику и рассядутся на пеньки отдохнуть. Хлебушка пожуют с картошкой, с соленым огурцом, воды попьют из кувшина, и так-то сладко после этого сделается, так-то радостно! Дементий от внучат глаз не отведет, они — от него. Глядят друг на дружку любовно и доверчиво, а вокруг ели разлапистые солнечное небо поддерживают, и кажется тогда Дементию, что внучата и он сам родились здесь от земли-матушки среди зелени и цветов, и нет им никакого дела до того, что на селе звонят в колокола, что где-то далеко ругаются бабы и мужики из-за покоса. Здесь все без бога и царя, без зависти и зла. К привету и ответу открыты души Андрейки и Максима, и Дементий ласково обращается к ним:

— Грибочки-опеночки! Аз и буки я помню, а далее... Запамятовал!

И разведет руками, следя за внуками одним глазком, а другой хитро сощурит. И Максим с Андреем переглянутся улыбчиво и с хитринкой, дескать, мы тебя понимаем, дедушка, как ты «запамятовал»! Но, поерзав на пеньках, чтобы усесться вроде поудобнее, начинают в два голоса:

— Аз... Буки... Веди... Глаголь... Добро...

Рассказывают и смеются над тем, как радостно удивляется их дед Дементий. А у того действительно горло сжимается и слеза точит: «Ну, до чего ж понятливы, до чего смышлены!»

Или нарочно перепутает Дементий свои целебные травы, опечалится.

— Да как же сослепу разберусь теперь?! — бранить начнет себя.— Мухомор я и есть мухомор. Нестриженый, нечесаный, забывчивый, беспамятный...

А внуки уже около корзинки, быстрехонько снуют руками туда-сюда, туда-сюда и приговаривают:

— От поясницы, от ломоты в костях, от лошадиной чесотки, от кашлю-чахотки... Готово!

И целует и целует их в макушки Дементий, а они так и рвутся что-нибудь еще сделать для дедушки.

— Феодосьюшка! — позовет Дементий и скажет тихо, чтобы внучата не услышали: — Плюнь, что Илья такой, на ребятишек радуйся: разумнее у господ не бывает!

Сядут рядышком отец с дочерью, любуются на то, как Андрей с Максимом скамейку чинить возьмутся. Феодосия подсказать бы что — Дементий остановит:

— Не тронь — что своим умом добывается, то не забывается. Радуйся и все.

— Радуюсь, папаша... Ждет-то чего их? Илья вон говорит — запрягать сыновей пора, к крестьянству приучать. Возьмет еще к себе на барщину и начнет муштровать... Сломает он их, папаша...

Дементий сокрушенно сожалел:

— Эх, найти бы Савелия, матери твоей, покойницы, брата меньшого!.. Слышал я, что он в каком-то городе, чуть ли не в самом Питере. Во-о... Мастеровой! К нему бы наших соколиков...

Но об этом Феодосия даже не хотела слушать.

— Господи! Уж не с ума ли ты сходишь, папаша? Чего ты пугаешь меня? — и захватывала руками обоих сыновей сразу, прижимала к себе. — Умру, дня не проживу без них!..

Не только мысль что-нибудь узнать о брате жены беспокоила Дементия, хотелось побывать в тех краях, поглядеть, что стало с небольшой деревенькой Огарково, живы ли люди, которых знал. И все это все-таки связывал он со своей Дарьюшкой. Словно для нее собирался сделать приятное. Да и думал так:

«Наведаюсь, людей послушаю. Приду — на могилку схожу и покойнице передам».

Кстати, случилось так, что Илье вдруг понадобилось поехать в ту сторону, даже дальше, чем стояло Огарково. Попросился с ним. Поехали...

Была уже глубокая осень в поре ледостава. На санях — нельзя, на колесах — тряско, к тому же, «а если оттепель, да снег, как выбираться?» Решили в дрожках, на паре, так что катили с ветерком. Дементий еле успевал деревни и села отсчитывать. Издали их можно было принять за мужика и ребенка и, конечно, за ребенка — Дементия. Непоседливость его была действительно детской, и восторгался виденным он по-детски. Заставлял Илью обращать внимание то на одно, то на другое.

— И-и... Глянь-ка, не собака — теленок! А может, волк?.. Постой, постой, что же это там чернеет?..

Илья, усмехался, как старший над наивностью младшего:

— Надо-ть, всю спину протолкал! Да что тебе не сидится? Мало ли всего рыжеет — чернеет. Наверно, голову отвертел!

Осенние дороги долги и пустынны. Текут и текут навстречу серые ухабистые колеи мимо голых полей с грязным жнивьем, с разбросанной как попало картофельной ботвой, опаленной заморозками, с ядреными и еще нежно-зелеными капустными листьями и кочерыжками. Порадуют глаз озимые, напоминая о прошедшем тепле, и снова холодные однообразные краски: белочерные березняки, почти сливающиеся с блеклым небом осинники, зябкие кусты ивняка над безжизненно рыжей осокой. Все переходит из сини в мутную мглу и из мглы в плесневелую синь. Наверно, поделом бы назвать людям эту пору осинью — не сенью, кровом и тишиной богат конец ноября, а вот этой безрадостной осинью цвета!..

Сидеть спокойно и молчать Дементию невмоготу. Он стал придумывать разговор, который бы заинтересовал зятя.

— Коли лед на реке становится грудами, будет и хлеба груды, — сказал он.— Снега надует — хлеба прибудет. Снега нет — урожая не жди...

Илья сосредоточенно гнал лошадей, не проявляя никакого интереса ни к тестю, ни к подводе, которую обогнал — с веселым мужиком и по-зимнему закутанной бабой. А Дементий успел и поздороваться, и спросить:

— Далече ль, милый человек?

— А в Карпово, — показал мужик кнутовищем. — К свояку в гости.

— Что празднуют?

— Введение во храм...

— Введение... — потом рассуждал Дементий. — Выходит, ломает леденье... Гусь на лед, так еще поплывет...

И тут действительно увидел гусей у застывшего пруда.

— Богато живет кто-то!

— Придет пора — у нас будут, — наконец отозвался Илья, и Дементий живо повернулся к нему.

— Гусь — он, как говорится, сала кадушка, пера подушка! Скажи, отчего гусь не тонет?

— От воды, — в шутку сказал Илья.

— Не знаешь. Говорят же: как с гуся вода. Стало быть, она не пристает к нему. По той причине, что они, перьи-то, жирные. А жир берется из-под хвоста. Это, братец мой, наши Андрейка с Максимом уразумели.

— Тут и загвоздка, что уразумели не то! — мрачно сказал Илья.

Дементий его понял, но спросил:

— Ты про что?

— Про Ерему! Сам привык баклуши бить, теперь внучат за собой ведешь... Сидел бы да валенки подшивал внучатам, а то вот куда ветер подует, туда и ты...

— Моя наука не помешает, — присмирев, промолвил Дементий. — Для них же, опять, поехал...

И стал мечтать вслух о том, что хорошо бы добиться весточки о Савелии, потом письмо написать, так и так, мол, свои должны помогать своим... Хвалил и поднимал Савелия, пока не вмешивался Илья.

— Врешь, поди?

— Может, ошибаюсь, но слышал, что он наверху где-то, что ему даже прошения подают.

— Это твой шурин-то до того дошел? — не верил Илья. — Быть не может!

— Спорить не могу, — скромно заметил Дементий.— Только и царь-то, гляди, из человека сделан...

Илья явно заинтересовался Савелием, но в Огаркове не заехал. Сослался на недосуг и ссадил тестя на повороте, когда в низинке показались соломенные крыши под корявыми старыми ветлами. Пообещал завернуть на обратном пути не раньше и не позднее следующего утра.

Дементий проводил его добрым взглядом и стал спускаться к деревне, припоминая далекое... В сознании промелькнул длиннорукий, тяжелый на ногу, отец, с которым в Огаркове клали глиняные русские печи...

Потом колодезь с колесом, настынувшее ведро на срубе, вода в ведре отражает солнце и колышется, солнечные зайчики прыгают по лицу с опущенными глазами... Она терпеливо ждет, пока напьется чужой парень...

Сложили печь у соседей, перешли к ним, отцы нет-нет да пошутят: «Породнимся, может?..»

Были вечера с деревенской глухой тишиной на за-

дах, за погребом, где несколько яблонь с крупными зелеными яблоками...

— Срывать — тятенька бранится. Которые упали, ищи...

И ползают они на коленях среди росной травы и крапивы, стукаются в потемках лбами...

И все-таки ярче всего встает день после грозы: она мокрая на сине-розовых цветах только что скошенной вики... Приближалась пора уходить домой, расставаться...

— Посылать сватов-то?

— Не знаю.

— Пошлю.

— Как хочешь.

— А любишь?

— Вот еще! — и задергала вожжи, заторопила белую лошадь...

Если бы можно было сейчас увидеть ее, заглянуть в дивные глаза! Отдал бы жизнь за это Дементий! Да что жизнь!.. Если бы и больше что было — отдал!..

Дойдя до первых нежилых строений, Дементий спрятался в каком-то закуте и хорошо поплакал. Поплакал не о себе, не о своей одинокой доле, а о той хрупкой девушке, которая когда-то жила на свете, тропила своими быстрыми босыми ногами поля и лужки... «Следочек бы отыскать, приметочку!..»

Плакали о Дарьюшке старые ивы, слезились подслеповатые окна изб, может, то же колесо печально скрипело над тем же колодезем, только поила теперь другая бойкая, нетерпеливая девка.

— Что ты, припал?! — окрикнула она забывшегося над ведром Дементия. — Ай все опростать собрался?..

На вопрос, не знает ли она Сочневых, девка сделала вид, что будто остолбенела от удивления, вылупила серые глаза:

— Ну-ка, хватился, милый! Чай, когда примерли все!

— Кого он? — подошла глухая старуха, делая корытцем костлявую ладонь и поднося ее к уху.— Кого?..

— Сочневых!

— Сочневых?.. Постой, постой...— и подняла на Дементия рябое лицо. — Чей будешь-то?..

Но Дементий уже узнал в ней молодую голосистую женщину, гулявшую у него на свадьбе, поклонился:

— Здравствуй, Матрена! Может, помнишь, свадьбу Дарьи Сочневой?

Старуха склонила голову на грудь и тут же подняла вновь.

— Дементий какой-то!

— Так это я буду, я Дементий!

Девка уже не торопилась домой с ведрами: стояла, открыв красный рот, и хлопала серыми глазами. Старуха присмотрелась к Дементию, запричитала:

— Батюшки! Пресвятая икона! Дементий, родимый мой! — и, вцепившись в рукав, потянула его через дорогу к убогому домику. — Я-ка кого тебе покажу. Нипочем не узнать! Человек-то какой!..

Но Дементий, носивший в своем сердце образ Дарьюшки, не мог не узнать ладного, не по-деревенски одетого мужчину, только растерялся до слез.

— Ну пошто? Ладно, ладно — обнимал его Савелий и сам плакал.

Потом не раз за вечер, сидя в потемках возле топившейся печки, у которой хлопотала бабка Матрена, они всплакнули еще, вспоминая родных.

— А я к вам собираюсь, да подводы никак не найду: полторы лошади на все Огарково! — говорил Савелий. — Занесла нелегкая. Думал, что уцелело после родителей... Ты знаешь, я не хоронил их?.. Это-то знаешь. А почему — нет? Я ведь в тюрьме сидел. За что? Пока не спрашивай. Плохого ничего не сделал, ни перед богом, ни перед добрыми людьми не согрешил... Урядника потискал...

В его присутствии Дементий робел, старался слушать и ни о чем не спрашивать. Он любовался Савелием: похож на Дарью и голосом — тоже. А в сердце росла и росла надежда на какое-то необычайное радостное свершение, будто возьмет вдруг и скажет Савелий: «Ты Даньку спрашивал? Иди, она там, во дворе».

Спать ни тому ни другому не хотелось. Ночью пошли к развалинам родного гнезда Сочневых. Савелий мрачный сидел на выкатившемся гнилом бревне. Дементий, сняв шапку, скорбно постоял у калитки, которую уже нельзя было открыть и переступить порог в сумрачные сени, где когда-то хорошо пахло укропом, где когда-то в свежей темени держал у губ и грел

Дарьюшкины холодные пальцы... Сходил на зады, протиснулся сквозь высокий репей и крапиву. Яблони давно одичали. На месте погребка безжизненно светились гнилушки светом далеких, недосягаемых звезд. Дементий трогал их и видел черные кости суставов своих рук. Дух Дарьи здесь так ощутимо и явственно витал вокруг, что казалось, будто дышит она ему прямо в лицо, будто уже касается лба своими волосами, пахнущими полынью. Но Дементий не испугался этой невероятной встречи с покойницей и боялся открыть глаза не потому, что вдруг увидит ее,— боялся спугнуть живое видение...

Святое видение...

Остаток ночи слушали чахоточный кашель бабки Матрены, тихонько разговаривали, лежа на горячей печи, смахивали с себя клопов и тараканов. Ночь показалась с год. Когда уже зачастили петухи, Савелий сказал:

— Давай собираться.

— Хоть бы место продать кому, — погоревал Дементий, что не нашлось покупателей на то, что когда-то было домом Сочневых.

— А знаешь, — оживился Савелий. — Тоже так думал. Вчера думал, а нынче не могу, ни за какие деньги! Память хочу оставить. Может, случится — вернусь... Оно хоть и пустырь, но родное наследство.

— Родное, милый, родное! — живо подхватил Дементий, вспомнив о своих внуках и думая, как бы высказать просьбу пристроить со временем Максима с Андреем к месту, чтобы они не пропали в сельской нужде. — А у тебя, поглядишь, племянники какие! Я уж им про дядю сказывал. У-у, один лучше другого, и заметь, в вашу родню с Федосьюшкой, а она — что мать, то и она, одинаковые!..

Савелий был расположен, и почти договорились и поняли оба необходимость вывести ребятишек в люди, но тут подкатил Илья и крикнул, не слезая с дрожек:

— Папаша, выходи!

Пока проходили сени, Дементий шепнул Савелию:

— Он хороший! Только ты с ним о всем-то не надо. Слышь, у барина служит, башковитый, в помещики нацелился. А с червячком вот!.. И не конку, мол, в Пи-

тере гоняешь, а... я уж не знаю как... Упаси бог про тюрьму...

Савелий дружески потрепал Дементия по плечу:

— Светлый ты человек, погляжу на тебя! Не печалься, все хорошо будет... Хоть я и недолюбливаю предержащие-то...

При встрече с родственником Илья показал откровенную радость и покровительственно-заботливо отнесся к усадьбе Сочневых.

— Бросать нельзя, вовсе растащут. Какие ни на есть деньги — не мусор, деньги, — высказал горячее желание посмотреть, посоветовать, и там ходил, пинал худые решета, рассохшиеся бочки, сожалел, что никакого досмотру за избой не было.

— Народ нынче — вон какой! У меня чуть колесы не сняли, пока чай пил.

Нашел ржавое кольцо с пробоем — сунул в карман. Поковырялся бы в куче мусора, да что-то удержало. В развалюху войти побоялся: «Придавит чего доброго!»

— Бросаешь? — вновь спросил под конец, стряхивая пыль с ладоней и с пол дубленой шубы, и, стараясь казаться сильно занятым своим делом, продолжал: — Далеко, да и с деньжонками у меня...

— Возьми за так, ради бога! — подхватил Савелий. — Только действительно: за морем телушка-полушка, да перевоз дорог!..

Илья при этом не выказал удовольствия, ни согласия не высказал: промолчал безразлично, но подозвал подвернувшегося мужика-вахлака, сунул ему два пятака и грубовато-небрежно пошлепал его по спине:

— Пригляни. За усердие еще получишь!

Мужик от этой щедрости чуть в ноги не бухнулся:

— Не изволь беспокоиться, кормилец, синь-пороха не пропадет!..

Стало теплеть и снежить. Илья, чтобы показать гостю — вот мы какие, на паре, и чтобы доехать по неослабевшей дороге, вел лошадей на крупной рыси, то и дело стращал кнутом пристяжную. В дрожках было тесно. Дементий почти сидел у Савелия на коленях и до дома не видел его. Начинал какой-нибудь разговор, но не слышал из-за встречного ветра, досадовал, однако, но не сильно, потому что на душе теплилось: при-

едет — гостем удивит, «то-то Феодосьюшка обрадуется».

Илья крутил шеей, оглядывал низкое небо: «Никак, по утру на охоту!» Барыня непременно будет звать его. Теперь она зовет и просит. Илья научился не всегда удовлетворять ее капризы, ухватил какую-то важную вожжу и при желании круто поворачивает по-своему: «Пусть хоть царица, а в каждой обыкновенная баба сидит!» Иной раз даже недовольно ответит:

— Дела, дела, барыня! Хозяйство одолело...

Теперь Франц Францевич всего-навсего значился управляющим, и если бы не расположение к нему барина, то Илья освободился бы от него в два счета. «Кормить — поить, — куда ни шло. А жалованье платить не за что!»

Барскую копейку Илья хранил как свою собственную. Строил планы на случай смерти Степана Владимировича: не прозевать. Наследство должно было перейти к Вере Степановне, и если к тому времени изменятся их отношения в худшую сторону, то следует хапнуть и уйти, потому что у нее объявились какие-то племянники-наследники. Если же... Но надеяться на то, что умрет Феодосия—это ждать грома из ясного неба.

Не питая никакого чувства к Вере Степановне, тяготясь навязчивостью, Илье приходилось порой разыгрывать влюбленного: «Как никак — огонек, хоть не сердце — пусть руки греет»...

Оставались они на ночь в ее покоях. Илья был по-мужски нежен и груб. Вера Степановна становилась моложе и красивей. Обстановка напоминала беспечность молодоженов, довольных друг другом, счастливых. Но стоило Илье вздохнуть обреченно или уставиться в рюмку с вином, подперев кулаком щеки, как меркла и Вера Степановна.

— О чем, друг мой?

— О том же все, уважаемая. О том...

— Не надо о деле сегодня. Забудься.

— Рад бы. А оно гложет... Дела-то в руках у меня и, как видишь, цветут — расцветают... Другое заело... Жить хочу по закону, любовь не прятать свою...

Вера Степановна подходила к нему сзади, клала худые руки на его плечи, острым подбородком упиралась в макушку и с робкой нежностью глядела вдаль.

— Ты любишь меня... Илья Степанович?..

— Места не нахожу, Вера Степановна!..

— Но бываешь и безразличным... А я всегда... с открытой душой... Думаю, даже на картах гадаю...

— Понимаю, не так бы надо... Понимаю...— Илья играл лопатками, стараясь показать свою внутреннюю борьбу, брал и сжимал ее руки, пуще клонился. — Понимаю...

— Мне больно, Илья...

— А мне?..

В село въехали в белой кутерьме, и все было заснеженным, белым-новым и свеже пахучим. Дома Илью уже ждал Нифонт.

— Барыня просили.

— Чай, видишь, что только-только! — огрызнулся Илья, но даже не зайдя в избу, лишь крикнув Феодосии: «Принимай гостей!»— уехал в имение.

— Горит, что ли? — опять недовольно спросил он Нифонта.

— Загоралось.

— Не болтай!

— Омет у конюшни загорался,— спокойно продолжал кучер. — Я потушил.

— Чай, сам и поджег?! — Илья круто и зло повернулся. — У-у, собака!..

Нифонт промолчал, только на широких скулах его крупно заиграли желваки...

Со дня на день больше ненавидел его Илья и боялся, как подгнившего переклада над головой — прозевать подпорку поставить или заменить — придавит!...

Несмотря на явно разбойничье лицо, на грубые замашки, Нифонта в имении уважали. Его слово подхватывалось, жило. Сказал однажды на Илью — «дикий барин, только задница в навозе», — так и пошло: барин, да барин, или хуже — «навозная задница». Над господами он грубо смеялся, но до них это не доходило, доносчиков не было, и для самого Лунина и для Веры Степановны он оставался положительным. С ними был кроток и уважителен, а отвернется — обязательно что-нибудь сморозит.

— Наш барин, чай, морковкой подавился? Ишь, как нараскоряку пошел!.. Ему бы брюкву вставить...

Дело бросали все, куда бы он ни подходил: «Нифонт сейчас посмешит!»

— Случилось одной барыне ночевать у старухи, — начнёт он не спеша, — а у старухи всего добра — курица да петух. Барыня приказывает сварить ей курицу. Старуха давай ее жалобить: «Матушка, чем же я разговеюсь на пасху, коль яичка не будет?» «Давай петуха!» «А кто меня будить-то станет?» «А вот кто...» И повесила барыня с этими словами арапник на гвоздок... Ну, петуха съела, чем свет уехала. Лежит старуха и горюет, на арапник поглядывает: «Чего не поешь?» Тут он ей человечьим голосом и говорит: «Я не пою, я жару поддаю». Старухе понравилось: «Попарюсь-ка, думает, а то в костях ломота», и наказывает: «Ты вот что, арапник, я разденусь и в печку полезу, а ты мне жару поддай». «Не извольте беспокоиться, — отвечает арапник, — постараюсь». И только эта старуха разделась догола — арапник цик с гвоздочка и давай, и давай старуху обхаживать... А с барыней другое приключилось... Но про то другой раз...

Остальную часть своей сказки по пути в другом месте расскажет:

— Барыня молчит, значит, ничего. Откроет рот — петух оттуда высунется, «кукареку» кричит. Ну, барыня и показывает кучеру, знаками. Ты-де топор возьми да и тяпни, когда петух-то высунется. Ну, кучер-то изготовился... Барыня-то пасть отворила... Петух-то высунулся да как кукарекнет пуще прежнего... Лошади-то испугались, как дернут... Кучер-то как тяпнет... Ее-то, барынина-то, голова — напрочь, а петуху хоть бы что: запел да к старухе полетел... А тот арапник старуха бережет. Как заедет другой барин, она ему попариться с устатку предлагает... С той поры разбогатела старуха.

— В честь чего же? — спросят Нифонта.

— Потому, что из бабкиной парной каждый голышом убегает. А арапник его гонит до тех пор, пока тот обратно дорогу не позабудет. А сам, арапник-то, вертается и цик на гвоздок до следующего гостя...

Временами Нифонт мрачнел и делался непохожим на самого себя. Что ни попадало в руки, брал цепко, со злостью. А уж если нес топор, — прямо как убивать собрался кого-нибудь. Видывал его таким Илья и брезгливо коробился. Нужно было как-то теленка зако-

лоть. Напросился Нифонт. Ножи точил — слюну схлебывал и радостно мутнились его глаза. Теленка из стада за хвост выволок. Сел на него, вцепился в мокрое рыльце, запрокинул его лопоухую голову и, прежде чем перерезать горло, нехорошо засмеялся в закатившиеся глаза животного:

— Попался, голубчик!..

Сегодня точно в таком же душевном состоянии Нифонт поджег омет. Кончилось бы большим пожаром, если бы не подоспела Улька Шумова:

— Рожу скоро, а ты на каторгу просишься!.

Вместе погасили, вместе сходили к барину, чтобы пожаловал чем-нибудь на свадьбу. Лунин отметил их усердие и был щедр. И как Илья ни толковал ему, что вместо этого Нифонта надо прогнать,— не хотел слушать:

— Илья Степанович, Нифонт мне верой и правдой служит!..

— Не добрым пахнет, Степан Владимирович, — настаивал Илья. — Сердцем чую. Помянете меня!..

Ночью он о том же говорил Вере Степановне и остался ночевать в имении, несмотря на близкого гостя в своем доме, не потому, что она была ласкова и расположена к задуманному им важному разговору, а потому что сердце вещало беду...

Утром Франц Францевич явился в кабинет барина торжественно-важным. Редкие рыжие волосы были гладко причесаны на пробор, костюм тщательно отутюжен. Степану Владимировичу сказал: «бонжур», Илье — «здравствуйте». Много говорил об удовольствии, которое он «имел честь» получить, управляя имением, о барской щедрости, покровительстве и внимании к нему — одинокому человеку с трудной судьбой. И, конечно, Степан Владимирович не ожидал, чем закончит управляющий.

— Отставку прошу, милейший. Кости мои просят покоя.

Франц Францевич встал в почетной позе. Степан Владимирович пошел к нему, выставив вперед дрожащие руки:

— Нет, нет, помилуй бог. Я не желаю, любезный мой Франц Францевич!..

Они обнялись, трижды прижимаясь щека к щеке.

— Помилуй бог, — вновь было начал Лунин, но Франц Францевич отпустил его и отступил на шаг.

— С вашего позволения, я заказал лошадей. Через полчаса уезжаю на станцию.

— Куда же надумал? — безнадежно спросил Степан Владимирович, держа сжатые руки у подбородка.

— В столицу, а оттуда в Баварию.

Когда, точно через полчаса, пролетка с Францем Францевичем и Нифонтом стала отъезжать, Лунин перекрестил ее, сам перекрестился:

— Час добрый! — и повернулся к Илье. — Жулик был, а жалко... Теперь, братец мой, Илья Степанович, везде твой глаз будет. Жалованье прибавлю, не поскуплюсь...

За ночь потеплело, рыхлый снег подтаял, раздрызг. Илья шел к службам по грязному следу, оставленному пролеткой, увозившей его предшественника, и почему-то опять ясно вспоминал свой приход к барину с «бабушкиным завещанием». Думал ли он тогда, что настанет такой день, как вот этот — серый, знобкий, ничем не приметный, который даст в руки Ильи полную власть над барским хозяйством?.. Власть?.. Нет — он прежде всего хозяин. Он не знает пока, каким образом будет узаконено это, но он уже сделал главное: завладел сердцем Веры Степановны, родственным отношением к себе со стороны Степана Владимировича. Не они его, а он их поит и кормит, теперь и хозяйство без него не может идти чередом, потому что в него он вложил свою душу, на всем печать его нелегких забот.

Барский стол обеспечить не велика хитрость. Надо, чтобы доход был: одно яблочко — господам на съедение, два — на продажу... Копеечку — на расход, а две в копилку. От новой до новой только мужики-вахлаки перебиваются...

Был Илья непоколебимо уверен, честен, расчетлив и смел в ведении барских дел. Но жил в этом Илье и другой Илья — маленький, хитренький, который подзуживал, когда рука клала монету не в свой кошель: «Просчитаешься! На барыне тебе не жениться, Феодосия такая стала, что ее и чума не возьмет! Потом, мало ли куда жизнь повернет... Вдруг не Феодосия — сама Вера Степановна долго жить прикажет или за какого-

нибудь вдовца замуж соберется, а? Локоток-то близко, да не укусишь!..»

Но и на такой худой случай Илья приберег хорошие козыри: как-нибудь он намекнет Лунину, а он под старость становится еще доверчивей, намекнет, напомнит о «чудном мгновении», а потом в слезах упадет в ноги и «тайну» о своей причастности к Лунинскому роду откроет до конца. Ведь он не без цели иногда говорит Вере Степановне:

— Степана Владимировича я не просто уважаю, привязанность какую-то чую, словно родной он мне...

Обгорелая солома, где вчера начинался пожар, тяжело пахла сырой гарью, пахла Нифонтом...

«Прогоню! — решил Илья. — Аль так зажму, что сам убежишь куда глаза глядят!»

Подвернулась Ульяна. Она была теперь непомерно толста, с животом, напоминающим кормовую корзину. Стеснительно отворачивалась, но с прежней насмешкой на лице:

— Ну, загорелось и загорелось... Иду, вижу горит... Позвала Нифонта... Погасили... Чего тебе?.

— Не тебе, а вам.

— Ну, вам... Илья Степанович... Чего?..

— Дура, вот чего!.. Пузо нагуляла, а ума нет!

— Ну?..

— Тпру!

— А может, твой, ваш, то есть?.. Чай, было время... прикладывался...

— Ты что, по семь годов таскаешь?.. Или язык прикусишь или я?..

— Ну?..

И было в ней что-то от Нифонта — угрюмо вещающее беду. В том, как стояла вполоборота, усмехалась с чуть склоненной набок головой, была собачья готовность к прыжку на грудь, чтобы одним махом перекусить горло.

«Говорят: бог связывает ремень да лыко, — рассуждал Илья, направляясь к прудам. — А это два ремня подобрались, керосин с огнем!»

Но Нифонт вернулся, знать, в настроении: тут же вымыл пролетку, тщательно почистил лошадей, честь по чести собрал сбрую.

— Давно бы так! — бросил Илья, проходя мимо.

В ответ Нифонт весело сказал:

— Будем стараться, Илья Степанович! — и на этот раз у него получилось уважительно, без задней мысли, что Илья остановился:

— Как доехали?

— Отменно, Илья Степанович! Франц Францевич кланяться приказали!..

— Когда свадьба-то?

— Как прикажете...

Одним словом, Нифонт всем своим видом и мягкой покорностью настолько успокоил Илью, что он немедленно вспомнил про дом, про то, что там гость и что пора поспешить туда...

Но Нифонту сказал так:

— Ты посмотри тут без меня. Я скоро...

Этим он как бы и доверие выразил, и предупредил, что на ночь глаз его не будет.

Вот уж несколько дней, как в доме Макаровых царит веселое «авось». «Авось, выспимся!» — и проговорят целую ночь напролет. «Авось с голоду не умрем!» — печка затапливалась в полдень. «Авось, пол не проломят!» — и Андрейка с Максимом бесились, как им хотелось. Мало того, что дядя Савелий привез связку баранок, он сводил ребятишек в лавку, где себе купил водки, а им — розовых пряников. Брал на руки, тискал, целовал. Не в пример отцу и дедушке Дементию, как маленький, строил такие рожи, что Максим с Андрейкой закатывались в смехе. На подволоке разыскал какую-то книжку про житие святых и делал из нее летучих голубей. Андрейке с Максимом казалось, что дядя Савелий все может, но уж не такое, чтобы научить стоять на задних лапах Дружка — рыжую собачонку с клочкастой шерстью. Дружок после этого стал лучшей собакой из всех известных собак на селе. Чтобы посмотреть на него, со всех концов бежали ребятишки и несли кто кусок хлеба, кто вареную картошку. Рассказы Максима и Андрея о сверхъестественных способностях дяди Савелия через ребятишек немедленно доходили до взрослых, и они шли к Макаровым то в долг попросить чего-нибудь, то узнать, то посоветоваться. Но шли только в том случае, если Ильи не было дома. Осмелившихся он встречал на пороге:

— Вот еще гость, как в пятке гвозды! Чего тебе?

Это были самые любопытные старухи или отчаянные девки. Вроде матери братьев Кобылиных, послушницы отца Сергея — Харитинии и засидевшейся в девках Груни-солдата.

— Может, дров поколоть, хлев почистить? — спрашивала Груня, уставившись на Савелия, как будто в избе кроме него никого не было. — Мне б что потяжелее, я крепкая.

— Нешто корову, разве, из хлева в хлев перенесешь? — язвил Илья.— Аль на тебе по солому съездить?.. Ступай-ка, запрягайся!..

И Груня уходила таким решительным шагом, словно и впрямь запрягаться.

Старуха Кобылина слезила и жаловалась на сыновей:

— Замордовали, мочи нет, ироды!

— А ты не иродов, хороших родила бы!

— Кто их знал. Маленьки-ти справны были.

— К становому ступай, я им не указчик!..

И лишь Харитинии разрешалось посидеть на лежанке, погундосить, посплетничать. Мог ли Илья не заинтересоваться видением, которое было Харитинии у часовенки на могиле, как называла его Харитиния, «святого Степана»? Любил он жуткие вещи, хотел, чтобы и другие в его присутствии ужасались, слушая их.

Харитиния, проворно слизывая с губ слюну, которая постоянно ее мучала при разговоре, продолжала:

— А я молюсь, взад не поворачиваюсь, как отец Сергей велел. А они там, сзади-то, ладонь о ладонь бьют, люлюкают. Который овцой блеет, который ржет по-лошадиному. До самых первых петухов, до полуночи так-то... Молюсь. Осеняю себя крестным знаменем. И вот он — Степан — подходит и руку кладет мне на голову... А ручка-то легонькая, а голосок-то ласковый, а пахнет-то ладаном...

Лицо ее вдруг из кисло-сладкого на миг делалось зверским, ожесточенным.

— И говорит он, пресвятой Степанушка, ровно голубь воркует: «Иди домой, Харитинушка, я сам за тебя перед господом помолюсь»...

У Савелия от внутреннего смеха дрожали плечи. Он прятал глаза от завороженного Ильи. Дементий, как обычно при явной ереси, которую нес человек, глядел в сторону, в пол, не желая ни слушать, ни перечить. Фео-

досия, чтобы не рассмеяться и не быть обруганной за это мужем, что-нибудь тихо начинала делать. Только Максим и Андрей неотрывно глядели в мокрый рот Харитинии...

Зато когда вновь оставались одни, без Ильи, вдоволь тешились Харитининими небылицами. Тогда и ребятишки с радостью вырывались из жуткого оцепенения.

— Неужели он искренне верит? — спрашивал про Илью Савелий.

— Его не поймешь,— отвечала Феодосия.

Дементий усмехался:

— У нашего Ильи, должно быть, две или три души, и то порознь он их показывает, то вместе. Вместе-то и непонятен... Напугать его можно до смерти. Сам, надо, десятерых напугает. То заплачет от пустяка, то слезу не вышибешь. Вся забота его: путем не путем богатым сделаться. Тут уж он и богу соврет, и лешего обманет, нипочем, что боится того и другого. Так и живет в душе с ними. И никого не признает, кроме них да себя...

— Это верно, — потом говорил Савелий, после того, как прогостил у Макаровых полторы недели. — Наш Илья Степанович в трех ликах пребывает: ложь, бог и черт в нем, а устремление — разбогатеть... Человек тяжелый!..

В Феодосии Савелий действительно видел милые черты любимой сестры своей Даньки, которая нянчила его в детстве, натруженно несла его на своих тонких руках и сажала в тени под яблонями на старенькое одеяло... От нее он полюбил цветы, жучков, букашек, тихую вечернюю воду пруда с горластыми лягушками... Возвращение стада на закате, когда идет, топает и пыхтит разношерстный вал спин, рогов и голов, когда сладко пахнет парным молоком... Бегут, поскакивают окосевшие овцы, вскидывают зады, визжат лошади, и мать испуганно кричит:

— Данюшка! Сколько раз тебе говорить? Спрячьтесь на завалинку!..

Подойдет отец, что-то мастеривший быстрым топором, махнет рукавом по мокрому лбу:

— Данька, дакось подержать! — и возьмет под мышки жесткими, крепкими руками, а у самого свистит и скрипит в груди от какой-то неизвестной болезни...

К Дементию у Савелия осталась еще та привязан-

ность, которая началась между ними с Дементьевой и Дарьиной свадьбы. Сейчас ему казалось, что Дементий не изменился, а лишь просветлел и приобрел какую-то особенную милую тихость предосеннего вечера, когда все в человеке ровно, спокойно, когда с ним даже молчать хорошо. Одежонка на Дементии была не ахти какая: полинялая, выгоревшая, но свежая. Заплатки класть он не доверял Феодосии, а уж если починит портки или рубашку, то любо-мило глядеть! Не озлился он в сельской жизни, не заскоруз. Только разве спокойной мудростью для Савелия он отличался от своих внуков, проникновенным видением жизни. Особенно растрогало гостя это дементьевское «оно».

— Откуда ты взял его? — спрашивал Савелий.

— Само пришло в голову.

— А что это, бог опять же или другая сила?

— Сила-то сила, но сравнивать нельзя, — объяснял Дементий. — Бога-то я знать не знаю, а с этим «оно» живу. Куда ни пойду — все рука об руку. Бог-то подати собирает да наказывает, а благодать-то после твоей смерти обещает.

— Хорошо. Где же все-таки живет «оно»?

— Везде, куда я ни гляну.

— Видишь?

— Э, нет! Чую.

— Могу ли я почуять его? — добивался Савелий.

— Думаю, можешь.

— Стало быть, вот и сейчас в избе есть?

— Полно!..

— А показать сумеешь?

— Попробую. Пойдем!..

И они одевались. Дементий вел его на зады села на закате дня молодой зимы, торопился по мелкому чистому снегу, приговаривая:

— Пойдем, пойдем!.. А, право, покажу!..

За ними не отставали Максим и Андрейка.

— А вы куда? — смеялась Феодосия...

— Дедушка диво будет показывать!..

С первых своих дней зима не пугает людей морозами и крутыми ветрами. Она желанна и как-то необходима после черной слякоти и знобкой сырости. Особенно хороши бывают в эту пору медленные утра со снегирями на красных рябинах, с тихим дымком над крышами изб, с острым запахом ржаных лепешек, ко-

торые хозяйки пекут на чугунных сковородках, с пением заспавшихся петухов, и еще вечера... Да, вечера!.. Не заметишь, был или не был день: рассвело и уже начинает темнеть. Постоит, пощурится низкое солнышко и пойдет к розовеющему горизонту, опаляя снега холодным румянцем. Каждый вечер с какой-то своей судьбой, с загадкой, с раздумьем, значением... Ты не обойдешься без него, хорошо ли тебе или плохо. Ты обязательно свяжешь себя с ним, возьмешь в участники, именно в участники, а не в свидетели самого себя, соединишься с ним или он с тобой. И тогда почувствуешь ту великую полноту жизни и неумирающую красоту ее. Именно там, где нужно, загорится зеленоватая звездочка рядом с серпиком месяца. И нужно — послышится и замрет отголосок человеческой речи, и скрип закрывающихся на ночь ворот, и пусть даже протрусит поодаль, взрывая пушистый снежок, торопливая лошаденка, впряженная в скрипучие дровни с мужиком, стоящим на коленях и дергающим веревочные вожжи. Придет и сядет за выгоном волк и голодно, страшно будет глядеть на темнеющие дворы, где хрумкают лошади, грустно вздыхают коровы, частят-жуют серку сбившиеся в уголок косоглазые овцы. Но ты понимаешь и волка, и как стынет на холодном и мокром пятачке его носа теплый запах овчины, и как сладка на заячьих спорых зубах кочерыжка, и какой острый и горький запах идет от нее по опустевшему капустному полю. Поймешь и заячью робость, когда вильнет или только покажется, что вильнет жаркий лисий хвост. Просто раскроется тайна надолго уснувшей яблоневой почки и сила родничка, который связывает ее с тем, что под землей, что шарит, ищет в беспросветности ее искорки жизни, чтобы, когда придет время, из черного сотворить зеленые листья и нежно-розовые цветы с редким, зовущим запахом яблоневой души, чтобы сотворить чудо, которое полюбилось бы солнцу и свету, чтобы они отдали ему свежесть рос и тихую алость зорь. Чтобы потом человек уже протянул свою руку к плоду и на своих губах ощутил всю силу любви и борения, жизнь...

Дементий мог сказать о себе: «Я день, я туча, я лес». Но не поняли бы его ни Савелий, ни внучата!

Тот зимний вечер был действительно хорош, чуток, ясен. Савелий увидел все, что Дементий: то, как струились краски заката, и туда, к этому призрачному свету, идущую лошаденку с мужиком в дровнях, холодную звезду и месяц в спокойном небе, почувствовал нерушимость покоя и свежесть холодка, и бодрость заморозка, но то большое, что способен был воспринимать Дементий, не явилось к нему. Он лишь смутно чему-то обрадовался, освободился от какой-то необременяющей, но и ненужной тяжести на душе.

В этом он и признался Дементию, когда возвращались домой. А Максим с Андреем восхищенно врали-несли ту милую детскую чушь, которую, может быть, и не надо называть враньем, может, это и есть та ребячья поэзия, рожденная в их умах сельским бытом... А может, настоящее-то «дивное-диво» и было понятно только им? Неспроста же лучились их глаза светом неведомой звезды, и тот же закат алел на щеках, и трепетно бились чем-то очарованные сердца.

— Ну правда, ну правда! Дедушка! Дядя Савелий! — трусили они по обеим сторонам тропинки, заглядывая в лица. — Правда видели!..

Им всем — двоим взрослым мужчинам и детям, в том числе и Феодосии, — было радостно от какого-то узнавания друг друга, от какой-то родной общности хорошего духа. Один лишь Илья, появляясь время от времени, остужал их.

— Собака воет, — поздоровавшись и снимая шубу, говорил он, хмурясь. — День пропадает где-то, а к ночи появляется. Голосит хуже волка...

Садился к краю стола, подпирал кулаком щеку и, не замечая еще никого, продолжал:

— Сбесится или беду накличет. Говорю: застрелить следует. Барин капризничает. Собака-то, видишь, любимая у него. Что делать?..

Молчал одиноко и только потом уж поднимал голову:

— Что делать?..

— Настоем собачьей травы попоить, — советовал Дементий.

— Попоить! — невесело усмехался Илья. — К людям не подходит. Куска хлеба словно камня боится. А ты травой попоить...

Выходил на крыльцо в одной рубашке и возвращался, зябко ежась:

— Воет. Здесь слышно, как воет!..

Илья приглашал, и все одевались, выходили за ним под звездное небо, топтались в кучке, слушали.

Собака начинала с лая, потом лай постепенно переходил в низкий вой. Вой застревал в горле, и за ним вырывался высокий звук, еще выше, и длинное-длинное скорбное «у» таяло в тишине. И так снова и снова с небольшими промежутками.

— К беде! — мрачно заключал Илья.

— Нет, — мягко возражал Дементий, — она кого-то оплакивает, жалеет. Может, проводили кого?

— Никого. Вот разве управляющий совсем уехал?..

— Может, и по нем...

Слушая вечерами рассказы Савелия о Питере, о жизни в нем трудового люда и богатстве и роскоши господ, Илья на какое-то время уходил от своих забот о барском хозяйстве, от предчувствий, постоянно мучавших его. Искренне удивлялся тому, что по улицам города проложены рельсы, по которым в каких-то больших каретах на лошадях возят всех, кто захочет, и что это веселое дело доверено его родному человеку — Савелию. То, что Савелий там нужный, возвышало, связывало Илью с чем-то значительным. Но не мещане и пролетарии — в его понятии подозрительный и скандальный народ — тревожили Илью, и не те, которые вокруг царского трона, а лавочники и лабазники, что стоят у раскрытых дверей своих заведений и любезно зазывают почтенную публику. Он представлял и понимал их судьбы, как свою собственную.

Но, слушая, вдруг встряхивался, словно просыпался от желанного сна, лицо приобретало болезненную озабоченность, жестом останавливал Савелия и всех остальных, прислушивался:

— Ишь, как несет... В такой ветер не дай бог пожар случится!.. Пойду выйду!..

Поспешно одевался и уходил, сказав — «ненадолго», но не появлялся порой и весь следующий день.

Больше всех на селе взволновал Илью какой-то дальний родственник Кобылиных, высланный под надзор полиции. С появлением этого худого глазастого че-

ловека по имени Терентий, по фамилии Баранов у Ильи усилилось предчувствие неясной беды.

— Хорош, знать, субчик! — нервно усмехался Илья. — Глазами, как ножницами, стрижет! — и спрашивал Савелия: — Зачем вот таких по белу свету пускают?

— Наверно, в тюрьме тесно, — шутил Савелий.

— А за чего, думаешь, в преступники-то угодил?

— Говорит, за царя-батюшку.

И это «говорит» коробило Илью:

— Сам говорит?

— Сам, со мной разговаривал.

— С тобой?.. — Илья глядел на Савелия так, как будто на нем что-то осталось от Баранова, что-то прилипло к нему, и он добавлял просяще: — Только не надо, к избе не приваживай...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Потолкавшись напоследок в кабаке и лавке, послушав мужиков, их вздохи и матюки о «жисти — в душу ее, распронатуды ее», Савелий уехал. Постепенно установился прежний порядок в семье. Потекли ровные, однообразные дни, но долго-долго как бы слышался в избе бодрый голос Савелия и даже шорох шагов: рассказывая что-нибудь, имел Савелий привычку ходить от окон к порогу. Долго спорили между собой Максим и Андрейка за право садиться к столу именно на то место, на которое сажали гостя.

Когда улегся слух, что весной, далеко от села, в лесу, найдены обгорелые человеческие кости и сделали свое бесполезное дело становые власти, барский кучер Нифонт попросил отставку и вместе с женой Ульяной куда-то исчез. У Ильи убавилось число ненавистных ему людей, но и теперь, проходя мимо заколоченных окон избы Нифонта, мимо серой пустоты вокруг нее, он настораживался, живо вспоминал лицо Нифонта, но почему-то не прежнее, а то, каким оно стало после борьбы с той бешеной барской собакой, которую пришлось пристрелить. От шрамов у Нифонта перекосилось лицо, безобразно вывернулись веки и глаза сумасшедше округлились. Эти глаза и мерещились Илье Степановичу в темноте между досок заколоченных окон. «Еще

бы тебя куда-нибудь унесли черти!» — думал он, встречая на улице Баранова. Отвернется Илья, чтобы не ожгли его эти темные большие глаза, чтобы не видеть быстрой походки и не слышать насмешливого голоса. А Терентий Баранов прямо столкнуться норовит:

— Здравия желаю, ваше благородие, Илья Степанович! — и картуз сняв, помахает им, словно обметет свои порыжевшие яловые сапоги. — Как барин, Степан Владимирович, здравствуют?

— Здорово, здорово, сковородие! Все мечешься, как бездомный пес? — Илья так и пройдет боком, будто и впрямь сторонится собаки.

— Да нет, я на цепочке теперь,— и уже вдогонку посылает Илье: — Хорошие-то псы хозяину верно служат, а от меня ни голосу, ни волосу!.. Феодосии Дементьевне кланяйтесь!..

Другой раз о здоровье Веры Степановны справится и тоже поклон пошлет.

— Послушай, — рассердится Илья,— ведь ты был и остался каторжником!..

После Демида Устиновича Илья мог душевно разговаривать лишь с отцом Сергеем, только ему и мог поведать свои печали. Поп встречал его добрым взглядом поверх старых круглых очков — в свободное время он читал библию и журналы, стараясь совместить древние предсказания с жизнью, через одно понять другое, — встречал, как старики встречают малых детей,— с тем светлым отражением души, которое обогревает и располагает.

Отец Сергей подавал Илье теплую волосатую руку, Илья целовал ее, крестился на иконы, и все это так нервно и поспешно, словно за ним только что гнались и здесь он находит спасение. Но отец Сергей знал Илью лучше, чем он знал себя. Понимал его двойственность, за неправдой слов умел видеть правду.

Харитина подавала настолько взъяренный самовар, что он свистел паром и чуть ли не подпрыгивал на медном подносе — так любил батюшка — и уходила за перегородку подслушивать: замирала, припав ухом к щели.

В тепле, в сыром запахе горячих углей, не торопясь мягко постукивали ходики. Перед образами золотым огоньком лучилась лампада, опаляя крылья неосторожных мух. В раскрытое окно, где под солнечной синью

зацветал старый вишневый сад, влетали и стукались о верхнее стекло бабочки и шмели. Там, за окном, в рыхлой и жирной земле рылись куры, с треском бил крыльями и голосил радужный петух, запрокидывая тяжелый кровавый гребень. Казалось Илье необъяснимо и поразительно схожим с отцом Сергеем все, что виделось и слышалось вокруг, будто от него все это, как от крепкого корня, родилось, и жило, и радовалось. Глядя на Илью, поп припоминал Феодосьины голубые слезы, святой ее образ, душевную и телесную чистоту... Было ли нужно молиться, если бы все люди уподобились женщине с голубыми глазами?.. Нет, не нужно!..

И вновь отец Сергей приходил к мысли, что бог живет в человеке...

— Молиться и грешить, Илья Степанович, это воду в решето наливать, — не осуждающе говорил он, сгребая в ладонь со стола крошки и швыряя их через окно курам,— это обманывать себя и бога. Прощенный грех незамолим, ибо бог веру теряет в человека.

Илья боязливо спрашивал:

— Ты про меня, батюшка?

— Нет, подожди,— поп наливал в стакан крутого кипятка и со словами — «замучали тараканы», плескал на перегородку, где была щель и угадывалось ухо Харитинии. Потом звал: — Сударушка Харитиния, прибавила бы нам вареньица!

Но если разговор принимал совсем откровенный характер, отец Сергей отсылал ее по неотложным делам куда-нибудь подальше. Чаще всего поп в своих поучениях старался быть отвлеченным или то, что находил порочного в Илье, принимался обличать в других, добиваясь сочувствия Ильи, но избирал для этого не рядовых, а таких, как Демид Устинович или Крынкин, тех, которые, по его мнению, должны были служить примером для остальных сельских жителей.

— Уж в неделю-то раз надо бывать на богослужении, а? — и добавлял.— Этому-то, Демиду-то Устиновичу, а? Илья Степанович?..

И в субботу Илья коротко предупреждал Феодосию:

— Утри к обедни, с ребятишками.

Шел степенно, торжественно, придерживаемый под руку сдержанно-радостной и от этого милой Феодосией. Максим с Андрейкой напряженно, как научил

отец, бок о бок вышагивали впереди. Люди глядели пристально, кланялись им улыбчиво, доброжелательно, а за спиной — сплетничали.

В церкви Илья чувствовал себя неспокойно, словно кто-то отовсюду глядел на него пристально и требовательно. Ведь как-никак его теперешнее положение полностью связано с тем, что когда-то, вот в этой церкви, темной ночью бродил его отец, которого растерзали потом. Сначала была нужна мученическая эта смерть, потом жизнь с тяжелым камнем на сердце бабушки Лукерьи, жизнь в видениях, страхах матери, жизнь дедушки Ермила, проклятая им на склоне дней... Четыре жизни... Четыре суровых судьбы... А Орентий — удавленник?.. А Феодосия, от которой ничего-ничего не желает Илья, кроме смерти ее?

Под вечер, неделю спустя, он, проходя мимо паперти, вдруг ощутил потребность заглянуть в церковь. Там в глухой и прохладной тишине бродил староста церковный — белый старичок, напоминающий собой образ Николая-угодника, ходил, смахивал с образов волосяной кисточкой пыль. Илья перекрестился на распятие — на сизо-восковое тело Исуса Христа с уроненной на грудь головой с закрытыми глазами, с повязкой по узким бедрам и неожиданно подумал: «Как утопленник». И тут же испугался кощунственной мысли: «Господи, да что это я выдумал?!» По спине пробежал холодок, стало жутко, как в детстве, когда вечерами поил лошадь на реке и вспоминал Сашу-утопленницу. Медленно, с опаской Илья стал обводить взглядом изображения икон с ликами святых, будто ища, откуда ему грозит бог своим молчаливым величием, а то, что он грозил,— Илья чувствовал. Но за что?.. За отца?.. Напрасно Илья гнал от себя далекую ночь, в которую Степан задумал обокрасть церковь, она неуклонно обступала со всех сторон, и когда он повернулся, чтобы уйти, то вдруг понял, что полностью находится во власти непонятной силы, что не сможет сделать и одного шага, пока не состоится над ним суд божий.

Он начался... Путаницу мыслей сменила разительная ясность. Илье представилось, что никто другой, а он сам взломает сейчас церковную кассу, снимет с икон золотые ризы, не отец, а он задумал это черное дело... Вот уже он зажег спичку и увидел, как разбегаются черные тени, как задвигались на своих местах иконо-

стасы и... Ударил колокол... Сейчас. Сейчас свершится над ним страшная казнь...

Но на паперти показался отец Сергей — живой, солнечный, вошел, отирая красным платком потное лицо.

— А-а, Илья Степанович! Что ты тут?

Целуя руку попа похолодевшими губами, Илья признался:

— Тяжко мне, батюшка.

— Случилось что?

— Думы плохие.

— Во храме-то? Бог с тобой!

— Грешен, знать...

— Помолись. Свечу поставь.

Отец Сергей взял Илью под руку и повел к алтарю:

— Что у тебя? Сказывай.

— Сам не пойму, отец Сергей... Жизнь какая-то непонятная... Куда идет — не знаю...

Говоря это, Илья соображал: стоит ли возвращаться к прошлому? Что изменится, если он выскажет или не выскажет свои сомнения в подлинности безгрешных намерений родителя Степана Ермиловича? Ничего. Да и какие это сомнения, когда сам же придумал бабушкино завещание... «Подожду, помолюсь, а там видно будет», — решил Илья Степанович и продолжил о жизни вообще:

— Бывало, виделось будто больше. А нынче слепну день ото дня, отец Сергей...

В алтаре поп поговорил со старостой церковным о просвирах, о причастиях, и они, с Ильей Степановичем, вышли на паперть. Лучи низкого солнца пронизывали большое старое кладбище, четко ложились тени от крестов и густели между сиренью и акацией. Было не по-вечернему душно и тяжко.

— К ночи гроза соберется,— уверенно сказал отец Сергей и продолжал, медленно шагая рядом с Ильей по тропинке через кладбище: — Говоришь, слепнешь день ото дня... Слепнут люди дважды: когда из тьмы на свет выходят и когда со света в тень. Я ведь тоже не все зрю, Илья Степанович... А чтобы не заблудиться в жизни, нужно идти по стопам божьим...

— А как угадать-то их, отец Сергей? — живо спросил Илья.— Кабы они видны были...

— Душой своей, разумом угадывай их... — чуть не высказал, что бог — это прежде всего сам человек: са-

мому хотелось поспорить с кем-нибудь, что такое бог и как в него веровать! «Нагрешите и ко мне идете, а я то к кому, меня-то кто исповедает?»

Только на миг тихой грустью затуманился взгляд отца Сергея, проплыло над ним облачко и скрылось — он потеплел вновь и вокруг потеплело.

— Тебе ли не жить, тебе ли не радоваться, Илья Степанович! Сам бог тебе подает руку. Чего ты еще хочешь?

— Покоя, батюшка.

— Покой тут, под этими крестами. На земле нет его, не ищи.

— А зачем же живем мы? — Илья шел с опущенной головой, являя собой покорность и смирение. — Зачем?

— Добро творить людям...

В стороне, за кустами шиповника, послышались детские голоса и собачий визг.

— Мои! — догадался Илья Степанович, делаясь строгим и решительным. — Я их сейчас!

— Постой, — придержал его отец Сергей. — Послушай меня. Я знаю, детей ты наказываешь ни к чему строго. Вот я их сейчас позову, а ты попробуй сменить гнев на милость!

— Батюшка, дык с собакой на кладбище! — у Ильи Степановича прямо чесалась ладонь, чтобы влепить по подзатыльнику сыновьям.

— Допустим, ведомый или неведомый грех совершили они? Неведомый! Кого бог скорее простит: тебя, учинившего наказание, или их? Вестимо, их!

Отец Сергей заглянул из-за кустов, поманил Илью, предупредил:

— Не замай!

Максим и Андрейка бегали между могильных холмиков, за ними гонялся восторженный Дружок, яростно, но не больно хватал то одного, то другого за штаны, кувыркался. И было в этом столько детского забвения, необузданной радости, что отцу Сергею совсем не хотелось их тревожить. Но Илья уже стоял сзади него на виду и молча грозил пальцем, рассчитывая на то, что Максим и Андрейка увидят его. И вот, наконец, они увидели... Попа поразило, с какой быстротой потухли детские лица, какое холодное оцепенение охватило их. И не успел он сказать слова, как Максим и Андрейка вдруг кинулись бежать прочь с трагической поспешностью: их след простыл, пока отец Сергей поднимался с колен.

— Видишь, — сказал он, отряхивая полы, — как ангельские-то души перепугались нас, словно нечистая сила представилась им! А ведь ты родитель, а я поп... Прощай, бог с тобой...

Больше не сказав ничего, он поспешно пошел вглубь кладбища, оставив озадаченного Илью.

Туча поднималась с востока черным тяжелым валом. На церковном кресте золотисто-ярко догорало закатное солнышко. Молчали могилы, молчали березы, обрамляющие вечный упокой... Илью Степановича охватило тягостное одиночество: «Для чего живу, перед кем открываю душу?.. Один...» Он не заметил, как очутился потом на мосту через речку Моталку, над ее тихой и тяжелой водой. Стоял, навалясь грудью на перила, пока не подуло, не понесло через прибрежные кусты полынным теплом с полей.

В кабаке, куда забежал он от хлынувшего вдруг дождя, было полутемно и душно. Мужики, сбившись в угол, слушали Баранова.

— Доброго здоровья, Илья Степанович! — приподнимаясь с места, подчеркнуто вежливо поздоровался Терентий.— Просим милости к нашему столу.

— Я здесь, — буркнул Илья, садясь поодаль напротив хмельного и радостного Василия Косого.— Водки!..

— Батюшки! — послышались приглушенные голоса,— водки потребовал!

— Свят, свят!

И словно в ответ на это Илья зло выпил две стопки одну за другой.

— Ну что? — потом спросил он радостно изумившегося Василия Косого.— Что уставился?

— Диву даюсь. Не пьешь, говорили! — и потянулся, чтобы чокнуться.— Давай на здоровье!

— Давай.

Илья стал хмелеть и прислушиваться. За кабаком ровно шумел дождь, резко хлестали молнии по запотевшим окнам, ядрено погремливало. Баранов рассказывал про Сибирь, где «на сто верст не встретишь человека», где одни леса да сумасшедшие реки.

— А как ты попал туда? — спросил кто-то.

— Во сне! — весело ответил Баранов. — Как по-щучьему велению заснул в России, проснулся — в Сибири. Не веришь — сам попробуй! Только, когда ложиться будешь, одно место пробкой заткни.

— Понял? — выкрикнул Кобылин-старший под смех мужиков. — Как да куда — это не наше дело. Ты слушай да помалкивай.

Его одобрительно поддержали. Баранов продолжал:

— Там как? Плюнешь вверх, а на землю уж кусочком льда слюна падает. А зверья, а птицы... Что, к примеру, случилось, когда я с одним человеком в избушке у Спасского острожка жил? А вот что... Возвращаюсь раз в свою избушку к ночи — холодище... волосы на голове трещат! Думаю: не стану огня зажигать, погреюсь на печке, пока приятель не вернется. Прислушался... Нет, оказывается, приятель-то уж дома, опередил меня, на печке похрапывает. Вернулся, запер крылечко на засов, чтобы зверь какой не зашел ночью, потом сбросил шубенку, да юрк к приятелю под бочок. Сколько с тех пор прошло, не знаю, а уж дремать начал, как слышу — стучится кто-то... И-и-и, вставать неохота. «Кого несет, думаю, нелегкая?» Толкаю локтем приятеля в бок, проснись, мол, а он не просыпается, похрапывает себе. Делать нечего — иду.

— Кто там?

— Я! Чего не открываешь?

Снова спрашиваю:

— Кто ты? — а у самого уж волосы шевелятся со страху.

— Да я, не узнал, что ли?..

Узнать-то узнал, да разве бывает так-то: он же на печке спит, он же и с улицы стучится! Опять окликаю.

— Кто?

— Черт, вот кто! — отвечает приятель по ту сторону калитки.

Мать ты моя родная! Что делать?.. Я с перепугу — в избушку, дрожу, зуб, на зуб не попадает. А голос теперь под окошком слышится:

— Терентий, отвори, что ли, ведь заморозил насмерть!

— Сгинь, дьявольское наваждение! — кричу в ответ, что есть мочи.— Ты дома, на печке лежишь!

— Да погляди, полоумный, кто там у тебя на печи-то?

А я уж и того и другого боюсь: который из них настоящий-то? Зову того, который на печке,— молчит. Отвечает тот, который под окошком... Ну как быть-то?..

Баранов оглядел суеверно притихших мужиков, улыбнулся Илье:

— Как быть-то?..

— Чудак человек, — сказал Василий Косой,— ты бы перекреститься заставил того аль другого!

— Которого? Один спит не просыпается, другой — на улице топчется, кого?

— Который под окошком.

— Заставлял. А он меня подальше послал, потому как в бога не веровал. А?..

Несмотря на усиливающуюся грозу, которой побаивался Илья, сейчас он был добр и покоен. Весело поглядывал на изумленные лица мужиков, ждущих развязки в рассказе Терентия, понимая, что все должно кончиться какой-нибудь шуткой.

— Ну, а конец-то получился такой,— продолжал Баранов.— Тот, который на печке, позевал, крякнул и давай слезать на пол. Корячится по-стариковски задом, бормочет что-то... Батюшки! Гляжу — в шерсти весь!.. На выход направляется. А приятель тем временем уж дверь успел выломать, в сенях шастает. Один, значит, отсюда дверь в избу отворяет, другой оттуда, и прямо лоб в лоб столкнулись... на порожке...

Несколько секунд в окнах стояла такая ослепительно белая молния, что Терентий даже умолк.

— Держитесь! — сказал он, зажимая уши.

И действительно, грянуло так, что зашатались стены и закачалась лампа, подвешенная к потолку.

— Промахнулся! — вновь завозились на время притихшие мужики.

— Не иначе в нас метился.

— В грозу-то молиться надо, а мы про чертей завели.

— Досказывай, Терентий!

— Боязно, братцы! — отозвался Терентий, стараясь, чтобы его услышал Илья.— Из-за нас могут другие пострадать, безвинные!

Но Илья наслаждался опьянением, наступившим душевным покоем, ощущением полноты силы. Ему даже каким-то неправдоподобным казалось пережитое ныне в церкви.

— Досказывай! — крикнул он беззаботно. — Мы тоже не из робкого десятка!

— Правда, правда, Терентий! Дальше-то что? — подхватили мужики.

— Вот дальше-то было да-аа!..— начал Баранов.— Постойте, на чем же я кончил-то?

— А он и нечистая сила на пороге столкнулись! — подсказал кто-то.

— Правильно. Столкнулись и заорали оба благим матом. И шлепнулись оба замертво. Приятель мой через час все же в чувство пришел. А у нечистой силы разрыв сердца случился... И ели мы ее всю зиму, — закончил Баранов.— Она была в образе медведя.

Мужики сперва ухмылялись, недоумевая, потом радостно и долго смеялись.

Когда Илья на ослабевших ногах вышел из кабака, кругом было мокро, тихо и звездно. Сразу подумалось: «Куда?» Повернул от дома к поместью. Всю дорогу бездумно наслаждался свежестью воздуха, успокоением в душе. Очертания барского дома терялись на фоне каменно недвижной черноты парка, лишь из открытого окна Веры Степановны ярким снопом падал свет на высокие кусты жасмина, а они цвели...

С мужицкой грубой неосторожностью постоял Илья, облегчился около жасминов, потом сломил большой сучок и ловко кинул его в окно. А когда там появилась Вера Степановна, рукой поманил ее. Она ждала, поэтому вышла тотчас — теплая, робкая — и, увлекая Илью в темную аллею, спросила шепотом:

— Почему так мерзко от тебя пахнет?

— Полно тебе, милаха! — Илья крепко обнял ее и поцеловал в плотно сжатые губы.

— Ты пьян?

— Самую малость.

— Ужас! Что с тобой?

— Ничего. Водку пил в кабаке.

— С ума сойти!

— Не сойдешь!..

Аллея заканчивалась садом. Здесь пахло зеленью яблок и дымком из избушки сторожа. Илья огляделся, прислушался воровато и решительно взял Веру Степановну за запястье.

— Куда? — спросила она, упираясь, когда он потянул ее к темневшему вдалеке сараю.

— Молчи!

Там, в непроглядной темноте, в паутинной сырости, он был, как никогда, груб и нежен...

В этот вечер Максимка и Андрейка ждали выволочки. Они так переживали, что озаботили мать и деда Дементия.

— Да чего вы натворили-то? — Феодосия всегда мучалась, когда Илья наказывал детей.

Максимка, пожимая плечами, грустно улыбался, словно про себя раздумывал: «А чего мы, действительно, натворили?» Андрейку лихорадило, он не находил себе места, метался по избе — бледный, с холодным блеском в округлившихся глазах, то и дело указывал на Максимку дрожащей рукой:

— Он зазвал меня, я не хотел!

— Куда?

— На погост. Я сказал: «Не пойдем». А он: «Пойдем!»

— Чего там?

— Бегали.

— А еще?

— Потом убежали.

Дементий не всегда верил Андрейке, которому часто мешал страх разобраться в собственном проступке, спрашивал Максима:

— Так ли, Максимушка?

— Так.

— Ну вот, ничего и не случилось! Чего вы, как зайцы, переполошились? А к отцу Сергею я схожу сейчас...

И сходил. Вернулся перед самой грозой — веселый, ласковый. Усадил ребятишек с собой на лежанку:

— Правда говорится, что у страха глаза велики. Отец-то Сергей вон похвалил вас! Хорошие, говорит, только другой раз не надо на погосте играть, там должен покой быть. А ходить — ходите. Там будете или мимо пройдете, обязательно поклонитесь могилкам, потому что в них отдыхают люди, которые нам с вами жизнь свою отдали.

Если бы дома был отец, то он зажег бы лампаду и все бы молились, пока не пройдет гроза. Было бы тяжко и скучно. А тут сиди себе на лежанке у теплого бока дедушки, под его доброй рукой, и пусть громыхает, пусть хлещет дождь, не страшно!

Мало и того, что отец жесток был, его наказания были унизительны: прежде чем отстегать ремнем, он подолгу заставлял стоять на четвереньках со спущенными до

колен штанами, и хорошо если в это время не было никого из посторонних, чужих. Случался такой конфуз и при соседях. Любил он наказывать медленно. Скажет: «Нонче я вас прутом поманежу» — и начнет не торопясь точить нож. Потом оденется и пойдет срезать прут куда-нибудь подальше. И до чего же тоскливо глядеть в окошко и ждать, пока он вернется! А он попутно дело какое-нибудь сделает, поговорит не с одним встречным, играя прутом, как бы пробуя его. Иной раз и, вернувшись, не сразу начнет, невыносимо спокойно молвит: «Пожалуй, сперва пообедаем. Как тут сидеть за столом, жевать без охоты, поглядывать на розовый гибкий прут!..

И как тут не любить дедушку Дементия! Его руки никогда не причиняют боли, один голос его приводит в радостное волнение. А рассказы его, которых он знает великое множество... От кого бы узнали Максим с Андрейкой, что страх — это самый большой враг человека, что ничего не следует бояться, даже грозы, потому что никто ее не посылает нарочно, а все происходит от ветра. Поднимается сильный ветер — такой сильный, что заносит за облака большие камни. Эти камни так шибко стукаются там друг о друга, что высекают молнии и грохочут. А дождь, должно быть, оттого идет, что на небе — высоко-высоко — моря существуют: разбушуются, расплещутся и брызжут на землю...

...Не зря говорится: гроза, да к ночи! Гроза в ночи — сиди на печи! Ночной гром загоняет в дом. Боится ее мужик, бога вспоминает, в грехах кается. Он принимает ее как послание всевышнего ему одному, он думает, что самый свирепый вихрь проходит именно над его крышей и все грома рушатся на его избу. Он знает ночную грозу, но не видел ее. Закрывшись, запершись, закрестив окна, он искренне молится. В это время не крикнет на ребятишек, не выругается на жену, разве что пнет кошку — подружку дьявола, чтобы не была рядом с ним, не отпугивала от него святого духа. Он воплотится в кротость и благообразие... Гром не грянет — мужик не перекрестится!.. Гроза за порог — он снова строг...

А Дементий выйдет другой раз без картуза, босиком, в одной рубашке да в холщовых штанах и пойдет навстречу ночной туче, грудью на черный вал. Спину греет, а спереди холодит. Ветер такой плотный — его хоть пей, захлебывайся. А в нем каких только запахов нет!.. Он где-то задрал на сараях гнилые соломенные крыши,

встряхнул молодые еще красные шишки на елках, собрал желтую пыльцу с цветущих ржаных полей, вскуделил ленок-долгунок. То почудится вроде белая гречка, то луговой горошек, то горькая конопля... Идет, пригибается Дементий к сухой горячей земле и все норовит туда, где гуще, чернее. На душе у него не удаль, не вызов. В нем всего-навсего кроткая радость жизни, счастье полными глазами видеть без малейшего страха самое сильное, прекрасное и непонятное... Страх любит человека на коленях, с отчаяньем лица, со склоненной головой. Страх не любит человеческих глаз, он сам их боится. Он тешится над теми, у кого мрет сердце и дрожат руки. кто без оглядки бежит от него сломя голову. Дементий не знает его, так же как не знают малые дети, с радостной доверчивостью идущие на огонь, к пропасти...

Перед тем как грянуть, на минуту притихнет. Землю накроет мягкая непроглядная тишина, и только если прислушаться, затаив дыхание, то еле-еле уловишь шумок. Потом он все ближе и ближе, стремительней, яснее, Вот уж первые капли — они обычно крупные и холодные — редко и тяжело прошлепают там и тут, а за ними уже часто и торопливо, словно бегущее стадо овец, топот и гул. Сейчас, сейчас!.. Пока еще чуть-чуть различимо ворочаются над головой, громоздятся грозные облака, но сейчас, сейчас. ...Сейчас сверкнет молния, покажет на миг в неземном грустном свете неживое село вдалеке, картинно оцепеневший лес, словно над пропастью обрывающуюся бледную дорогу, какие-то бескровные и будто незнакомые поля окрест и ослепит. Ослепит и оглушит, окатит ливнем и охватит новым ветром, только с одним, неповторимо чистым, запахом неба...

В грозах Дементий любил все: и заход их неторопливый с рокотанием далеких раскатов, и начало со столбами пыли на мягких дорогах, с взвихренными листьями и соломой, с кутерьмой бабьих подолов, разбегающихся по домам, и самую сильную ярость, погибельно гнущую деревья, секущую землю огнем и ливнем, и уход грозы, когда только сверкает и устало погремливает в необычайной тихости и покое, когда кажется, что все-все, как и твоя жизнь, только-только начинается, обещает, сулит...

Сам не спит в грозовую ночь Дементий и внучат подымает чуть свет. Оглаживает их — разоспавшихся,

теплых — своими прохладными руками, шепчет ласково:

— Голубки-воробушки, просыпайтесь скорее, по грибки побежим!

Другой раз так осторожненько соберутся, что Феодосия проспит, не услышит их. Ну, а если услышит — промолчит радостно. Хорошо притворяться спящей и глядеть на них, заговорщиков! Одеваются торопливо, с хитрой усмешечкой, друг другу пальцами грозят, мол, мамку не потревожь! Поспешно суют за пазухи куски ржаного хлеба, в ясных глазах, которые у всех троих одинаковы, такой восторг, такая радость, что Феодосии не хочется оставаться дома. Сбросит с себя одеяло, как в юности, проворно сядет на краю кровати, быстро-быстро потирая припухшее ото сна лицо:

— Ай, что надумали! Да такую рань! Я вот вас!..

И застынут враз дед и внуки, робея понарошку, потому что голос выдает Феодосию: не бранить собирается, а шутит. И такие хорошие все, когда глядят друг на дружку, все светлее и светлее улыбаясь, пока Феодосия не скажет:

— Чего стоите? Ищите скорее мои сапожки, Андрей, Максим!

И Дементий тут заторопится, шлепая себя по бедрам:

— Да зачем тебе сапожки-то? Нешто тоже надумала?

— Надумала, папаша!

— Что ты? А мы-то боялись: ну-ка, заупрямится, ну-ка, не пустит нас! Ай, Феодосьюшка! Ай, голубушка! Уж как ловко надумала!

Мечутся по избе Андрей с Максимом, подпрыгивают с радости один перед другим, как молочные телята:

— И мамка с нами, и мамка с нами!

И по дороге в лес мчатся без устали впереди, не отставая от веселого Дружка. Фене в это время ненадолго вспоминается свое — какой-то далекий день, росный лужок, они с козой бегут по нему наперегонки... Да, был день.. Жила на свете подружка коза... День и коза ушли в вечность...

В утреннем лесу всегда светло и звонко, тем более после дождя. Празднично поют птицы — не в строй, не в лад, но не мешают одна другой, а кукушка поддакивает всем: «так-так, так-так», хотя и не очень так получается! В радужных блестках трава и деревья. У дымчатых кустов можжевельника далеко видится созвездие алых

ягодинок костяники. Греется, выбравшись на солнышко, земляничка — такая крупная и сочная, что не пройдешь мимо. Но грибников все-таки больше волнуют грибы. По краю елового леса — грузди, рыжики. Еще ближе к лесу — там, где он обрамлен ивняком и жимолостью — любит селиться белый гриб-коровик. Такие места выбирала Феодосия. Дементий предпочитал старые дороги по разнолесью. На них, по обочинам, всякий гриб найдешь. Максим с Андрейкой ничего не видят, пока не набегаются вдоволь, пока их Дружок не налается до хрипоты.

Но, несмотря на заливистый лай, на звонкие голоса детей, лес долго грезит в утренней свежей сырости. Долго лежит на траве тяжелая роса и туманится между стволов деревьев.

Поаукают, сойдутся все вместе, посидят, поудивляются находкам.

У Феодосии в корзинке грибы белые, крупные и мясистые. Они прятались в тени и траве, молодились. У Дементия — разные: боровички, подберезовики и коренастые коровяки с поджаристыми головками. У Андрея с Максимом катаются на донушке помятые гармошечные краснушки — только совсем слепой не увидит их, да и пропасть их в лесу нынче!

— Пробегали? А ваши-то грибы вон где! — шутит Дементий, указывая на заросшую тропинку, он предполагает про себя, что там место грибное.— По этой стороне — твои, Андрейка, а по этой твои, Максим. Я с ними разговаривал. Обижаются они на вас: долго ждать-то будем?..

Ребятишки уже на ногах, бежать собрались. Дементий останавливает их:

— Чур! Галдеть да яриться станете — ничего не найдете, грибы от вас спрячутся. Идите тихо, подкрадывайтесь, глядите зорко и не далее трех шагов вперед. Вот попробуйте! — и поворачивается к Феодосии. — А и правда найдут!

Феодосия кивает туда, где скрылись Максим и Андрейка:

— Растут!

— Справные! — соглашается Дементий. Ему радостно за внучат и грустно за дочь. Поставить бы где-нибудь в лесу избушку, собраться да и уйти с ними от Ильи, непутный он человек: жену губит, детей в страхе держит....

— Хорошо ли тебе, Феодосьюшка?

— Ой, папаша, домой не ушла бы!

— Верно! Лес-то — горе на добро меняет. Сколько ни принеси в него маяты — примет, а человека благодатью наполнит до краев. Ты вот здесь, а горюшко твое там, на порожке избы сидит, тебя ждет не дождется. Придем, а оно — вот уж! На шею хомут наденет, на руки — кандалы и не ключевой водой напоит, а полынью горькой...

— У меня одно горюшко, папаша... Илья сидит на порожке.

— Знаю. Вы все чего-то молчком да молчком. Ты бы попробовала, душу в нем поискала...

— Как же, если совсем не подпускает?

— Да-а, лих он, ничего не скажешь. Заплутаться в нем можно... Погибельный, как зыбкое болото, обойти его норовишь... Я вас так-то и не видел ни разу, как мы, бывало, с твоей матерью, чтоб в ладу, согласии...

Дементий видит, как тускнеет лицо дочери и спешит увести ее от неприятных мыслей:

— Мне тоже нелегко было, когда с тобой с маленькой один остался. Так я знаешь что? Посажу тебя на горбушку и хожу и хожу в лесу, в поле, в лугах... Мало-помалу друзей завел, а вернее сказать, со всем белым светом подружился. Его как начнешь понимать, так и светлей на душе становится. Теперь куда ни пойду — везде своих подружек думушек-кумушек встречу. Чудак, скажешь?..

Феодосия мотает головой:

— Нет. Я тебя понимаю, папаша. Я тоже так-то люблю.

— А как?

— С дорогой, с речкой разговаривать...

— Верно! А сколько, по-твоему, думушек-кумушек вот в этом лесу живет?

Феодосия уже совсем забыла про горюшко, которое сидит на порожке дома и ждет ее. Она уходит за отцом в сказку-мечту, где очень просторно и радостно.

— Сколько? — Феодосия щурится на макушки деревьев. — Наверно, одна...

Дементий хочет возразить, но соглашается:

— Так. А где она сейчас?

— Рядом со мной.

— А что надето на ней? Какая она из себя?

— Молодая, красивая. Глаза у нее... — Феодосия

сначала смотрит в небо, потом на лес. — Глаза у нее голубые. Волосы зеленые. Кофточка розовая, а юбка коричневая. В золотых руках она держит малиновую птичку...

Дементий удовлетворенно смеется:

— Хороша! Только у меня по другому получается. Для меня их тут целых пять думушек живет: «утрянница» — эта вроде твоей, ее можно назвать и «зорянушкой». Она в молодость уводит. Потом «денница-разумница» — эта построже, с ней житье-бытье обсуждать сподручно. Потом — «вечерня-печальница» — такая тихая, кроткая. А за ней — «ночница-сказочница»... А верховодит всеми «мать лесничиха» — эта всю мудрость в себя собрала...

За отцом Феодосия мысленно ходила по дорогам и слушала их неторопливые сказы о жизнях, оставивших на них след, о душах, растерянных на них по пылинке, по капельке. Земля — клубок, а дороги — ниточки, намотанные на нее. От села к селу, от жизни к жизни тянутся ниточки...

Но много ли доброго на русских дорогах?.. То свадебный поезд прозвенит бубенцами, то покойника-кормильца пронесут. То разбойник встретится, то каторжных проведут... Думаешь, что надежда там вдалеке показалась, а это оспа или чума бредет со смертной косой на кривом плече. Счастья ждешь, а пожалует лихо...

— Постой, постой! — возразит Дементий. — Не так, Феодосьюшка! Пошто мужику замерзать на дороге? Не тронь, он до деревни дойдет, в окно постучится к кому-нибудь, ночевать его пустят... И так можно: пошла женщина в черный омут топиться... Идет, плачет, мол, деточки милые, на кого вы останетесь! А на дороге, гляди, кошелек с деньгами, что проезжий купец обронил! Подняла его женщина и домой назад, в лавке гостинцев купила, ребятишкам принесла... Ты дорогу проси о хорошем рассказывать!.. Пройдет время, про нас вот «зорянушка» поведает кому-нибудь... Попробуй, подумай...

И Феодосия думает...

«Слушай, батюшка, слушай, родной мой! Зародил ты дочь на кручинушку. Плохо мужней быть да без мужа жить, ночи длинные коротать одной. Не мою постель греет суженый, не меня зовет лебедушкой. Он завел себе наложницу, а меня, младу, погубить решил. Ты послу-

шал бы, как честной народ моет косточки мои белые, как течет за мной река мутная! Где мне душеньку отогреть свою, ко чьему плечу приклониться мне? Если б не было тебя, батюшка, если б не было малых детушек, я бы с бел-светом распрощалася и ушла навек в мать-сыру землю. Но «зорянушка» пусть запомнит лишь утро росное с ярым солнышком, как поют в лесу птицы певчие, как аукают мои детушки, как сидим мы на пригорочке без печали, воздыхания...»

За это утро Феодосия благодарила судьбу...

Часть вторая

ДА БУДЕТ СВЕТ!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тот мир, который открывал перед Максимом и Андрейкой дедушка Дементий, до поры до времени омрачал один лишь отец. Но за порогом родительского дома их ожидали новые неприятности. На селе они узнали, что рождены на свет не так, как все прочие, а «двойней», что такое случается только у зверей и животных да у грешных людей. Услышали, что будто бы от их матери и от дедушки не бывает тени, потому что она колдунья, а он колдун. Что отец их — барский «пес» и по ночам «грешит» с барыней Верой Степановной.

От всех обидчиков Андрей и Максим отбивались вместе, были дружны. А вот одного поделить между собой не могли. Кто-то их надоумил, будто при двойнях один обязательно должен утонуть, будто это произойдет во время купания. Ни тому, ни другому тонуть не хотелось, поэтому на речке они постоянно спорили, кому первому лезть в воду.

Раздетыми подолгу сидели на берегу, мрачно глядели в воду.

— Трус!

— Сам трус!

Андрейка старался доказать, что Максим должен первый окупнуться.

— Почему? — горячился Максим.

— Потому что я бегаю быстрее. Будешь тонуть, я живо мамку или дедушку позову.

— Не успеешь!

— А вот успею!

— Нет, давай жребий тянуть!

Впрочем, и жребий не приводил к миру: если один

благополучно искупался, то другому наверняка на дно идти. Максим после Андрейки не лез в воду, потому что солнце зашло, не припекает. Андрейка возьмет да убежит без объяснений. Потом дерутся, а дедушка мирит.

— Эх, вы, сороки-вороны! Страху поддаетесь. Кто-то посмеялся над вами, а вы поверили. Пойдемте со мной!

Когда дедушка рядом, страхи забываются, и Андрей с Максимом не спорят. Они удовлетворенно отмечают на земле четкую его тень, — значит, болтают, будто он какой-то колдун. Купается дедушка, в самых глубоких местах, со дна достает такие ракушки, каких не найдешь у берега. А то возьмет в руки камень потяжелее и долго-долго пропадает под водой, чтобы потом рассказать, что видел, чтобы внучата знали, что нет там никаких водяных и русалок.

Сидя на берегу и обирая с себя зеленые водоросли, он наставляет внуков:

— А что про отца слышали — тоже из головы выкиньте. Люди завидуют ему, поэтому и несут про него околесицу. Жить надо в согласии, как пчелы или муравьи... Хотите расскажу историю?..

— Как лебедь, щука и рак телегу везли?

— Нет.

— Про медведя-отшельника?

— Нет, про двух пареньков. Одного Добрыней звали, другого Гордыней. Пошли они один раз по белу свету добро искать. Идут от леса до леса, от села до села, от реки до реки. Добрыня знай себе добро делает: то хлебное зернышко в землю посадит, то семечко яблони. В одном месте птицу с перебитым крылом подобрал, за пазухой нес, пока не выходил ее и не выпустил на волю-вольную — живи радуйся! А Гордыня смеется над ним: для кого зернышко посадил, для чего птицу выходил? Мы-де добро ищем, дорога у нас длинная, зачем время на пустяки тратить? Идут. Встретится колодезь — Гордыня напьется из него, а напоследок плюнет туда, лягушек набросает. Где ночуют, где попьют-поедят — Добрыня поклонится в пояс: «Мир вашему дому, здоровья вам доброго!» Гордыня — рукой махнет: «Мне больше не бывать тут». Ну, ходили-ходили, назад повернули. Не нашли добра, которое бы, как трава, само по себе росло. Гордыня опять смеется: глупый ты, Доб-

рыня. Дескать, нет добра на свете и быть не может! Ну, идут. Заплутались, а ночь наступает. Оба пить-есть захотели. Вдруг птица летит, а сама человечьим голосом говорит: «Здравствуй, Добрыня! Что пригорюнился?..» «Заплутались вот», — отвечает Добрыня. Тогда птица взлетела повыше и кричит оттуда: «На восход ступайте, недалеко вижу хлебное поле, яблоню с золотыми яблоками да колодезь со студеной водой. Ступайте, а я полечу, путь-дороженьку показывать стану». И полетела. Скорехонько наши путники вышли к хлебному полю, к яблоне с золотыми яблоками, к колодезю со студеной водой. Добрыня напился, наелся и золотых яблок нарвал, а у Гордыни ничего не выходит. Приблизился к колодезю, а в нем воды нет, одни лягушки. Он к яблоньке, а ветви до неба поднимутся вдруг. Он к хлебному полю, а оно в тумане скроется от него! Тогда Гордыня Добрыню спрашивает: «Отчего так, почему мне ничего не дается?» А Добрыня-то и отвечает: «Что посеешь, то и пожнешь!»..

А до чего же хорошо было с дедушкой и с матерью в поле картошку копать!

Сажали ее много, дня два уходило на уборку. Два ведренных осенних дня пройдут, как праздник. Запомнится негорячее солнышко, добрая тишина, ленивый дымок над костром и вкусный запах печеной картошки. Какая стая журавлей ни пролетит — обязательно попрощается. В ясном небе их просто не увидишь, а слышно хорошо:

— Добро, добро!..

— Это они спрашивают вас, ребятушки, чего делаете, — опираясь на черенок заступа, говорит Дементий — Ответьте им, мол, картошку копаем!

И Максим с Андрейкой, щурясь на голубоватый покой неба, кричат:

— Вы про что спрашиваете? Мы картошку копаем!..

— Хоть бы не врали! — смеется Феодосия. — Как ни погляжу — вы все по сторонам глазеете.

— Нет, мать, стараются. Ты напрасно. — Дементий разгибается, держась за поясницу. — А картошку копать и нельзя по-другому. Как почувствовал, что немного притомился — разогнись, оглянись кругом. Вон в роще-то сентябрь костры зажег. Это от них по полю марево стелется. А вон рябины у ометов виднеются — прямо

боязно, что вот-вот солома вспыхнет от них! Такую красоту пропустить, не заметить грешно. Да и труду помогает это.

Дементий скучивает разросшийся куст картошки, примеряется, куда бы воткнуть лопату, чтобы не порезать клубни. Прихваченные утренничком и припеченные солнышком, плети сухо шуршат.

— Держите! — говорит он Андрею с Максимом и бросает с лопаты большой ком земли. Земля сдобно рассыпается, из нее раскатываются крупные розовые картофелины.

Хороша!

Максим и Андрей быстро набирают ведро картошки, вдвоем несут ее к мешкам, торопятся обратно. Конечно, они устали и пора бы к костру, пока в нем не сгорела картошка, но виду не подают, ведь усталость, как говорит дедушка, можно прогнать радостью, которую надо собрать глазами со всего, что окружает тебя — немного от солнышка, она у него теплая и золотая; немного от неба, небесная радость синяя и прохладная; немного от опустевших полей, где над желтизной жнивы маленькие паучки ткут серебряную скатерть-самобранку; от зеленых кузнечиков, что скачут в порыжевших лугах и стрекочут своими нескладными ножками. Ведь нельзя не улыбнуться, если представить, будто эти кузнечики — маленькие человечки и не просто шумят, веселятся, а вслед за мужиками вышли докашивать сено. Да и ноги у них схожи с косами!..

Копает Дементий и ведет неторопливую речь, чтобы Максим с Андрейкой не устали, пока не кончится борозда:

— Жил-был один человек. У него было два сына и большой сад с яблонями. Пока тот человек в силе пребывал — яблони цвели, плодоносили. Занемог — и огород травой зарос. Вот помирать он стал, человек-то. Сыновья горюют: «Что же ты нам, батюшка, никакого наследства не оставляешь, как жить-то без тебя станем?» А он отвечает им: «Не печальтесь, сынки, я вам богатый клад оставляю. Я его в саду зарыл, а где, не запомнил». Сказал так и помер. Сыновья после его смерти — заступы в руки, клад искать. И что вы думаете? Весь сад перекопали, всю землю перетрясли. А клад? Клада никакого не-на-шли!.. «Обманул отец!»... А перекопанный сад как зацвел, как налился потом румяными яблоками, как

уродил всего, как сыновья разбогатели после этого!.. Так они клад нашли, а мы с вами, голубки-воробушки, бороздку докопали. Теперь — шабаш, есть будем!..

Какое удовольствие сидеть у костра и есть печеную картошку! Любую выкатывай из жару, постукай ее прутиком, возьми в руки, побросай с ладони на ладонь, разломи... Белая, искрящаяся, парок от нее пощипывает губы и кончик языка, щекочет в носу. Ничего не надо ребяткам, кроме этого медового осеннего дня, матери и дедушки. Для чего село, где всегда дерутся мужики и срамят друг друга бабы? Для чего им нужен отец с вечно хмурым лицом? Отец только и ладит: «Запрягать вас пора, хомут надевать!» Почему? Ведь Максимка с Андрейкой и дома, и в поле постоянно помогают дедушке и матери и ничего — не испытывают от этого горя. Почему же хочется отцу, чтобы они «тянули лямку», «наживали горбы» и знали «почем фунт лиха»?..

Но стоило посмотреть на мать, встретиться с небесным покоем ее глаз, с доброй улыбкой ее, потом налететь вдвоем на сидящего деда Дементия, повалить его на картофельную ботву, как сразу забывались все беды.

Под вечер ждали отца с барской лошадью, чтобы увести домой выкопанную картошку. Поглядывали на холодеющую дорогу и радовались, и нет. Кому из ребятишек не хочется погладить лошадь, подержать ее за узду, пока нагружают мешки, или, сидя рядом с отцом на возу, нанемного ощутить в руках ременные вожжи, поправить! Но с каким сердцем приедет он?.. Подзатыльник и доброе слово у него рядом живут!..

Андрейка с Максимом гадали:

— Если услышим — едет да посвистывает, — говорил Максим, — то близко не подходи, кнутом огреет. Если «Хаз булат» поет — тут не бойся.

— Сказал! — усмехался Андрейка. — Тот раз помнишь, снопы возили?.. «Поедем, красотка, кататься» — горланил. А подъехал — тебя первого за ухо, за то, что на снопах валялся.

— А нонче-то за что?

— За здорово живешь!

— Чего же?

— То же! Стой и жди, когда сам позовет.

И все же, положив руки друг другу на плечи, они выходят на дорогу, чтобы подальше от полосы встретить

отца. Перетертая колесами, синеватая к вечеру, пыль теплит босые ноги. Сверху обдает осенним холодком. Оба задумчивы. Потом Максим говорит:

— Нет, я как увижу, так подбегу к отцу. А если хлестанет — тоже не заплачу. А потом ему отплачу.

— Когда?

— Вот вырасту.

— Я тоже. Давай вместе?

— Давай!

От принятого решения становится веселей. Андрейка сдавленно смеется:

— Я ему, как он: «Живо, снимай штаны! И тоже так: верба бела, бей до тела, верба красна, бей до красна!»

— А он тебя драл вот так? — Максим легонько тянет у Андрейки с виска волосы вверх. Драл?

— Побольнее твово!

— Лют! — вздыхает Максим. — Себе бы попробовал!

Но дребезжат вдалеке колеса. Из-за пригорка показывается дуга, голова лошади.

— Отец!

Илья останавливается, весело глядит на разбежавшихся по обочинам дороги сыновей:

— Садитесь, пострелы!

Совестно Андрейке с Максимкой и как-то жалко отца оттого, что приняли решение поколотить его, когда вырастут большими. Может быть, и настал, наконец, тот день, с которого начнется их дружба с отцом? Может...

На ночь Илья остался дома. Долго вечеряли. Пили чай с баранками. Было празднично. Илья хвастал небывалым урожаем на барских полях, сетовал на недостаток рабочих рук, ругал сельских мужиков за леность.

— Ходи с палкой — шевелиться будут. Отвернись — лясы-балясы. А я ведь деньги плачу! К примеру сказать про этих дураков Кобылиных: ребятишки с голоду мрут, а они бездельничают!

— Чего у тебя с ними? — скромно спросила Феодосия.— Слышно, на селе говорят...

— Погорячился....

— Да шибко, сказывают...

— Как умею!..

— Грозят они будто?

— Догрозятся!..

На днях метали стога, сваживали снопы. Илья верхом гонял то в поле, то опять на гумно. Хлеба так выстоялись, что зерно сыпалось дождем от каждого неосторожного движения. А мужики вроде нарочно бросали снопы как попало. Потом стал собираться дождь, нужно было торопиться. Пробовал по-хорошему — не помогает.

— Ты чем лаяться, лучше бы водочки посулил! — заметил Кобылин-старший. — Сухая-то ложка рот дерет!

— Тебе штаны спустить да надрать пониже поясницы! — ответил Илья. — Заработай на водку-то!

— Ну дык... — пожал плечами Кобылин и, бросив вилы, подошел к курившим мужикам, которые слушали побасенки Терентия Баранова, смеялись. За вилы взялся меньшой Кобылин, да уж так-то не по-хозяйски начал работать, что у Ильи сердце заныло:

— Чертолом! Можешь поаккуратнее?!

— А чего? — усмехнулся Кобылин.

— Не руки, а крюки у тебя!

— Сам встань, свое умение покажи.

— Показать?

— Покаж!

Илья вырвал у Кобылина вилы и, не помня себя, огрел его черенком так, что у того помутилось в глазах. На помощь младшему кинулся старший, и тоже получил прямо по голове. Трудно сказать, чем бы кончилось это, если бы мужики, которые посмелее, не схватили Илью.

— Запорол бы он Кобылиных! — потом говорили они. — Как пить дать!..

Остынув, Илья рассудил, что без водки от неприятности не отделаться. Пришлось ставить мужикам по косушке, а Кобылиных угощать особо. Пока пили братья, во хмелю чуть не спасибо говорили Макарову за побои, но злобу, знать, затаили, хотя никуда и не пожаловались.

— Догрозятся! — повторил Илья. — Без порток останутся.

Угрозы Кобылиных он к сердцу не принимал: «Я их пою и кормлю, поэтому куда поверну — туда и пойдут, если жить хотят!» Другое дело Терентий Баранов! Вот бы кого обратать или из села вытурить. Этот все

мужиков табунит вокруг себя, неповиновению научает. Хоть бы урядник почаще навещал да попугивал его, пока народ с пути не свернул!

— Не бывает у нас этот, острожный-то? — спросил Илья, вспомнив Баранова.

Феодосия и Дементий переглянулись:

— Кто? — спросила Феодосия.

— Терентий.

— Нет. Только мимо пройдет поздоровается. А что?

— Вот этого бояться надо. А Кобылины что? Тля!..

Дементий, слушая зятя, молчал. А если что и не нравилось ему из речей Ильи, то кротко улыбался и возражал про себя. И в тот вечер он думал:

«Скоро ты, братец мой, барские повадки приобрел: тот не такой, другой не этакий. Кобылины такие же люди, и Баранов — человек не хуже тебя. А что не сносить тебе буйной головушки, то не сносить».

Думал, и вдруг вырвалось:

— Мое дело сторона. Только я вот что скажу, Илья: каким местом к народу повернешься, таким и он к тебе. Ведь ты поперек горла всем встал. А мужик — он до разу терпит.

Илья не ожидал такого от Дементия, насторожился.

— Ты, гляжу, вроде Баранова!

— Куда мне! Я решето порожнее против него.

— Ну и сиди со своими травками!

— Сижу. А энтой бы тебя попоить, она спесь убавляет.

Илья замахнулся было сказать: «Я убавлю! У меня язык-то прикусишь!» Но увидел доброе лицо Дементия, сдержался.

— Ладно! — сказал он, — спать давайте, нечего керосин попусту жечь!

Этого разговора Максим и Андрейка не слышали. Они, устав на картофельном поле, уснули вскоре после чая с баранками, счастливые и довольные. Ведь не каждый день так празднично в избе, не часто таким добрым бывает отец! Им снились косцы-кузнечики, серебряная скатерть-самобранка, которую ткут над жнивой маленькие паучки. Рябины поджигали соломенные ометы, и в безоблачном небе кричали журавушки: «Добро, добро!»

Только новый день им обещал нечто другое — то, что снилось Илье Степановичу. А ему снились два резвых стригунка-первопутка. Он их запрягал в расписной возок, в новую блестящую сбрую. Лошадки брыкались, стригли ушами, а он кричал на них: «Я вас! Я вам норов-то вышибу!»

Утро было свежее, чистое. Всходило чуть тепленькое солнышко. Максим и Андрейка вдоль села трусили за отцом, приноравливаясь к его широкому легкому шагу. Одетые во все старенькое, они были непривычными и сами себе и людям, которые встречались на пути. У того и у другого на сердце было неприятно, потому что дома из-за них произошел скандал, какого еще не приходилось слышать. Дедушка Дементий уж на что человек ровный, а тут вышел из себя, петухом налетал на отца, кровопивцем назвал его. Мать не плакала даже, когда отец ее так сильно толкнул, что она, падая навзничь, ударилась головой о косяк двери. Она только сделалась очень страшной и сказала:

— А судьба тебя покарает!..

Грозно прозвучали слова матери и больно, и непонятно кольнули в грудь, словно что-то обожглось от них и заныло. Она молча помогла одеться им как можно потеплее. Непривычно твердыми руками застегнула пуговицы и, поцеловав, осенила каждого широким крестом.

— Час добрый.

— Час добрый, — повторил за ней дедушка.

А отец только посвистывал про себя да ухмылялся.

— По опенки что ли направились? — прокричал Демид Устиныч, позванивая ключами от лавки. — Наверно, сошли уж!

— Отходили! — ответил Илья. — За дело пора!

— Все-таки?

— Хлеб молотить. На портки зарабатывать.

— Ай жалованье сбавили? — подвернулся Баранов со своими обычными подковырочками. И Илья погрозил ему кулаком:

— Договоришься!..

— Говорить — не кулаки сучить. Язык-то, как говорят, без костей, ему ничего не случится. Ты смотри, как бы руки тебе не окоротили!

Илья только шагу прибавил да глубже засунул в карман правую руку, сжатую в крепкий кулак.

В молотилке еще ничего не начинали. Сонные, неуклюже одетые женщины сидели в углу на мякине. Мужики молча курили вонючую махорку. Еще не впряженные в круг лошади лениво щипали траву. И люди, и животные как будто ждали прихода Максима и Андрея, чтобы встрепенуться и уставиться на них любопытными глазами. Лошади под конец всхрапнули, кто-то из женщин фыркнул, и они зашептались, задвигались.

А когда Илья, распорядившись начинать, отлучился, Андрей и Максим услышали много похабных слов, относящихся к отцу и к ним. О них самих говорили грубо и громко, будто они ничего не понимали или были глухи и немы.

— Волчата — ни дать ни взять!

— В самого кобеля пошли!

— Чай, подслушивать научил да подглядывать.

— Сунуть вон в барабан вместе со снопом...

Мальчикам казалось, что этим людям действительно ничего не стоит сделать с ними самое жестокое, и они чувствовали себя щенятами, оставшимися без защиты среди сильных и беспощадных зверей; жались друг к другу, робели. Одна пугала, что накроет подолом, чтобы Максим и Андрейка задохлись. Кто-то предлагал натолкать им в штаны колючек, чтобы «задали они отсюда хорошего стрекача». Кто-то из мужиков, стоящих сзади, все время то одному, то другому нахлобучивал на лицо фуражки.

К счастью, вернулся отец, и работа началась.

Сперва Максим с Андрейкой гоняли по кругу лошадей, которые на лямках тянули длинные привода и вращали большое колесо. У них получалось, пока не закружилась голова и не затошнило. Под конец лошади перестали ходить ровно, и барабан начал то взвывать от быстрого вращения, то давиться снопом, когда лошади приставали. Задавало кричал на ребят, ругался. На них, как на глухих, кричали все, кому не лень, но отец не сдавался:

— Пусть привыкают!

— Пусть-то пусть, а нам дело нужно! — возражали ему. — Ты бы еще грудных посадил!

— Грудные! Мои помоложе, да мужику не уступят. Скажи уж, что избалованы!

— Чай, в барчуки метят!

«За избалованность» Максим и Андрейка в конце концов получили от отца по увесистому подзатыльнику под единодушное одобрение молотильщиков и пошли подтаскивать снопы, а их заменили такие же мальчишки, но «срушные и доделистые», не какие-нибудь ротозеи!

Снопы подносить тоже не пустяком оказалось — тяжеловаты они, когда по два берешь. И кричали так же: то «пошевеливайтесь», то «не вертись под ногами».

Потом веяли зерно, и в пыли, в оглушающем шуме Максим с Андрейкой держали мешки...

Пошли дни за днями — однообразные, трудные. Максим и Андрейка убирали с поля брюкву, капусту, колотили лен. Отец заставлял их и пилить дрова, и раздавать корм скотине. Поздно приводил домой и рано поднимал по утрам. Зимой ребятишки возили лес и собирали сучья. Весной — на пахоте и севе. Ни лето, ни осень не приносили покоя.

— С чужих спрошу. Со своих — вдвое,— поговаривал Илья и посылал сыновей на все работы со взрослыми. — Что осилят — осилят, а не осилят — не надо. Все лучше, чем по селу слоняться.

— Пупы сорвут! — и смехом и не смехом говорили ему. — Как старики уж горбятся!

— Пупы и хребты я сам им делал, знаю, сколь выдержут!

Дементий и Феодосия посылали слезные письма в Питер дяде Савелию, просили приехать и помочь утихомирить Илью, пока не сгубил он Максима и Андрея. Но дядя Савелий не отзывался почему-то и не ехал. Облегчить жизнь сыновей Феодосия могла лишь советом:

— Родненькие, берегите себя! Делайте, пока отец видит. Не утруждайтесь! Отвернется он — вы и отдыхайте.

Дед Дементий изо всех сил старался, чтобы не озлобились, не очерствели души внучат:

— Всякое трудное дело можно на легкое повернуть. Куда бы ни послал отец — вы душу с собой берите, как делал один мужик! Мудрено? А вот слушайте! То-

го мужика ни жать, ни косить не обгоняли. Раньше всех управится и не устанет так, как другие. «Почему у тебя, Иван, так получается?» — спросят его. А он отвечает: «Потому, что я не один делаю, а вдвоем!» «Кто да кто?» «Я да Иван!» Сила, значит, его да душа его, вот и двое выходит! Взяли в толк?.. А вас уж и четверо станет!..

Чтобы учить внуков работать «вдвоем», Дементий надолго порой бросал сбор целебных трав и не разлучался с ними.

В начале марта выпадали ясные дни с легким морозцем, по накатанной сияющей под солнцем дороге он ехал с Андреем и Максимом по дрова какой-то хитро-радостный, изнутри подсвеченный чистым огоньком. Около него было тепло и весело. Тут уж и снегиря заметишь у кучки навоза на дороге, поразишься его красной грудке, заячий след разглядишь, песенку овсяночки послушаешь, и в тишине поглядишь, как, мерцая, сыплются с елок коричневые ракушечки, потому что там, где-то наверху, долбит шишку клест или шелушит ее белка.

— Догадываетесь, почему я смеюсь, голубки-воробушки? — поглядывая по сторонам, спросит внучат Дементий. — Я смеюсь потому, что мы с вами барина и вашего отца обманули. Они нас послали по дрова, а мы по солнышко поехали! Дрова им свалим, а себе возьмем овсяночкину песенку, искорки солнечные на снегу и дух лесной.

«Воровал» Дементий для внучков и целые дни, только в самой строжайшей тайне ото всех, принимая «грех» на одну свою душу. Не знали Максим с Андрейкой, почему иногда рвались гужи и колеса ломались... Случится такое обязательно там, где поблизости речка или место ягодное. Что делать? Старику надо за ремонт браться, а ребятишкам ждать. Но чего ждать попусту? Лучше сходить искупаться, малины пособирать на порубке!..

Вот уж полдня прошло, а Дементий канителится и канителится, а колесо-то все больше да больше разваливается!

— Дедушка, скоро?

— Побегайте еще. Когда сделаю — покричу.

Уж накупаются Максим с Андрейкой, рыбы наудят, ягод наедятся, а у дедушки не ладится.

— Скоро?

— Да нет, голубки-воробушки, знать, не сумею. струмента нет. В кузницу надо.

Сам с внуками напоследок побродит — искупается с устатку. Потом внучат на лошадь посадит и поведет ее не спеша в поводу к дому.

Догадывался или не догадывался Илья — неизвестно, но молчал хмуро. Дементий же перед ним на кого-то обижался, мол, время потрачено зря!..

Зима прошла без особых волнений. Обмолотили вовремя и намолотили — благодать. Кормов было вволю, скотина нисколько не сдала. Телилась ли корова, жеребилась матка и даже ягнилась овца — Илья с особым удовольствием записывал в книгу каждое новое пополнение, придумывая клички: Добрушка, Родинка, Соколик, Лунь... Если родит женщина и так мается, так кричит, что все село всполошится, Илья бросит лишь: «Не напасть! Поменьше таскать будет». Но к корове стельной или к жеребой лошади относился бережно. Бросал любое дело и бежал на фермы, если там мучалось какое-нибудь животное. На ходу сбросит одежду, засучит рукава — «где?» И кинется в стойло. Примет жеребенка, сам оботрет ему мокрое рыльце, глаза, и глядит, и глядит в них — растроганный до слез!

Да и назовет: «Потешненький».

С рождества начинал обдумывать весенние работы, чтобы не спеша, как следует. Конторский столик его, где в тайничке хранилось и понемножку копилось будущее счастье, был для Ильи самым излюбленным местом. Свое и барское он разделял не так уже резко и не так, чтобы путал вместе, или из одного в другое перекладывал, нет. По-прежнему надеялся он на какое-то свершение, которое отдаст ему все — и барское, и свое. Степан Владимирович, может, и года не протянет — слабеет умом и телом час от часа, может, и откажет какую-то толику... Ведь добр он к Илье Степановичу и ласков больше, чем к родной дочери. Если же, на худой конец, забудет Илью при смерти, то останется на его месте Вера Степановна, а с ней... Впрочем, там видно будет. Пока Вера Степановна покорна ему, как жена...

Чем ближе к весне — тем мужиков гуще. Не отобьешься! Подъедают свое — к барскому тянутся. Тот пу-

дик мучицы просит до новой, другой — хоть овсеца мерку. И такие покладистые, такие уважительные, когда голод проберет, что отказать трудно! Кому исполу даст Илья Степанович, кого отработать обяжет, а кому, прежде, чем дать, грешки припомнит: «Как же ты, сукин сын, решился ко мне явиться?!..» Потупит тогда мужик голову виновато и так дерет-ломает шапку в руках, что из нее клочья летят: «Прощенья прошу, христа ради, Илья Степанович!» Кобылины — те друг друга вперед пихали, чтобы не первому войти в контору. К весне они, как всегда, сильно тощали. Ввалятся, словно два леших, и переминаются, следят изжеванными лаптями, а в них, в лаптях-то, хлюпает мартовская студеная водица...

— Чего вам? — Илья задерживал их долго, разговаривал, как с дурачками.— Чего вам?

Кобылины что-то мычали, толкались локтями, что значило: «Ты начинай!» «Нет, ты начинай!» Друг на дружку озверело лупили отечные глаза и вдруг дурашливо расплывались в улыбке, когда Илья поднимал от стола голову.

— Чего вам, ржи, муки, овса?

— Ну хоть...

— Муки?

— Ну хоть...

— Сколько? Четверть, мешок, два?

— Не, нам хунтиков...

— Хунтиков! Вот погляжу, что должны, прежде, — и, листая книгу, спрашивал: — Который из вас грозил мне, поджечь собирался, еще чего-то подстроить?.. А-а?.. Честно признаетесь — дам этих «хунтиков». Соврете — пеняйте на себя... Ну?..

Тогда Кобылины бледнели и признавались:

— Был грех. Во хмелю, знать...

Илья ненавидел их и жалел, содрогался от их нагой бедности: «Господи! Как ты терпишь?»...

Весне безразлично — беден ты или богат. Она не обойдет скудные крестьянские поля, омоет их талой водой, пригреет веселым солнышком. Она посадит мать-и-мачеху и около пятистенного дома старосты Крынкина, и около гнилых развалин Кобылиных — даже побольше! В саду отца Сергея зацветут вишни, а у

Макаровых под окном — рябины и мальвы потом... Идя вдоль села по унавоженной за зиму дороге, трудолюбивая птица — грач каждому поклонится, каждого спросит: «Как?» Как, дескать, ты, человек-сеятель, наладил ли соху-борону, наполнил ли лукошко зерном?.. Весна поселится в каждое сердце, только бы оно хоть чуть-чуть билось... Весна обещает, лето вещает, осень дает... Чего бы отзываться весне братьям Кобылиным, когда все равно им не расплатиться с зимой?.. Но нет, и их растревожит что-то. Поднимутся с первой песней жаворонка, посидят на завалинке, поулыбаются на грачей, как те обламывают сучья с берез и гоношат из них свои нескладные гнезда... «А ведь их есть, поди, можно!» — думает младший. А старший завидует птице, ее вольной волюшке. Какое бы он гнездышко свил!..

Выходила Феодосия на залитое солнцем крыльцо, приглаживала руками волосы, гладила ладонями лицо, словно умывалась синей утренней свежестью. «Здравствуй, матушка! — это она обращалась к весне. — С чем пожаловала?» А весна стояла перед ней такая же, как перед давнишней Фенькой-козой, — с удивленными смелыми глазами, и только, знать, из поля, из лугов — с цветистым мокрым от росы подолом, с первыми травинками на мокрых босых ногах. Такая готовая, такая нетерпеливая любить и радоваться, зовущая... «Пойдем со мной, Феодосьюшка! Бери деток своих, бери отца, пойдемте скорее, пока спит зло... Пойдемте!»...

Шутил над собой Терентий Баранов, когда у Крынкина купил гнилушки от старой житницы и смастерил себе из них избенку на курьих ножках: мол, как птичка, хлопотливо гнезда не свиваю, внемлю гласу божьему, да песенки распеваю.

Сперва не один Илья Степанович — многие из сельских косились на него: все-таки под надзором! Но мало-помалу Баранов как-то стал нужен селу. Был он мастер на все руки, шил одежду и сапожничал, и замки с секретами делал, да и поговорить, посоветовать мастером был. В церковь мужику не всегда охота, в кабак — денег нет, а к Баранову — никаких преград. Набьются в его терем-теремок так, что пол трещит, стены ломятся. Весной же особенно тесно у Баранова.

«Муравейник развел!» — сердился Илья.

У кого за зиму лошадь пала, у кого корова, там — умер кто-то, в другом месте — замерз в метель, но весна все-таки несла какую-то радость...

У весны свои приметы, у зимы свои. В январе говорили: «Если переметет дорогу на Аксинью-полузимницу, то и корма подметет». В середине февраля: «Овчары, окликайте звезды, чтобы овцы ягнились». На Трифона: «Звездно — пахота поздняя». И в марте еще: «Сорок мучеников — сорок утренников».

А в апреле: «Стоги взопрели, не ломай печей, еще апрель у плечей».

Сбывались и не сбывались приметы, но люди верили в них. К лучшему сбывалось — забывалось, к худшему — запоминалось. Илья узнавал их от отца Сергея и даже в книжечку записывал, как молитвы учил. На святого Пуда выставил ульи, на Ирину-рассадницу — высеял капустную рассаду, на Кузьму — морковь и свеклу. А когда Яков пригрел всех, сказал:

— Пора начинать в поле...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Широкую, ладную телегу тянула добрая гнедая матка. На поводке справа от нее трусил веселый сивенький сосунок. В телеге, под одеялом, спали дети: побольше — Наталья, поменьше — Марина. Их головы с нечесаными, скатавшимися белыми волосами мягко покачивались на грязной красной подушке. Лошадью правила Ульяна. Нифонт шел сзади, похлопывая ременным кнутом по дороге.

По обе стороны простирались поля, волнующие весенней новизной, маревом над ними и тем особенным духом вспаханной земли, когда она, перевернутая к солнцу, исходит теплым парком и кожано блестит. Там и тут виднелись на бороздах и сгорбленные мужики за плугами. Жадно кормились грачи толстыми холодными червями и без умолку подгоняли пахарей: «Давай-давай, давай-давай!»

И Ульяне хотелось торопиться. Надоела ей цыганская жизнь в чужих краях: на извозях стряпала, на торфяных болотах мокла и по каким только наймам ее не таскал за собой непоседливый муж! Домой возвращаться с зимы задумали, теперь бы уже давно добра-

лись, если бы не колесил Нифонт. Кружит, как ястреб в небе...

— Куда сворачиваешь опять? Ить так-то прямее!

Нифонт лишь улыбнется своим страшным лицом, подмигнет глазом:

— Успеешь на тот свет, там кабаков-то нет!..

Не поймешь: то ли злой он, то ли веселый, и смеется — жутко глядеть на него, и про себя думает — невмоготу от него. Рубцы, оставшиеся после укусов собаки, будто все толще и толще становятся, щеки и кривятся, и дергаются.

— Погляди, как вспухла, родить скоро! Под кустом, что ли?

— Не на кусту же?

— А повивать-то кто станет?

— Ты начинай, повитухи найдутся.

— Непутный ты, Нифонт!..

— Найди путного...

Въехали в вечереющий лес, поразивший Ульяну чистой молодостью берез, с мелкими первыми листочками, голубизной елей, которые тихо стояли у дороги, как бабы в праздник под дорогими шалями, чтобы полюбопытствовать, кто едет, а потом посудачить между собой. Лес молчал, но молчал, как молчат живые. Его сдержанное дыхание пахло смолкой, травкой, прорезающейся сквозь прошлогодний мусор, сочностью ивовых кустиков, а главное родным — тем, что связано с прошлой сельской жизнью.

Чувствуя теплоту в сердце, оттого что лес так гостеприимен, оттого, что теперь уж недалеко и до дома, она отдала мужу вожжи, а сама на коленях подковыляла к детям и прикорнула рядом с ними. После жаркого дня, напалившего голову, от забот, которые ждут ее впереди, она устала, и если бы не трясло на колеях, то уснула бы. Но какой сон, когда успевай Наталью с Маринкой придерживать! И больше всего боялась: не растрясло бы на роды... «Безлюдье, да к ночи, девчонки испугаются». Лежала с закрытыми глазами, слушала, как плещется под колесами вода, как шаркает по веткам дуга, и думала... «Откуда у Нифонта столько денег?.. Конечно, жили бережно, копили. Да разве накопишь такие!..»

Время от времени, когда сильно чесалось под опояской, которую Нифонт носил на голом животе, приходилось снимать ее где-нибудь в укромном месте и бить вшей. Делал он это один на один, хоронясь даже и от Ульяны, а тут как-то днями не уберегся, увидела — ахнула:

— Твои?!

— Мои.

— Где ты... Господи Исуси...

— Хватит! — мрачно сказал муж и указал на топор. — Другой раз язык высунешь — отрублю... А может, и башку с ним вместе... Видела — не видела, слышала — не слышала. Поняла?..

У такого, как Нифонт, спросить второй раз — подумаешь, тем более на что он запрет наложил. Что обещал — получишь. Это Ульяна знает!..

А думать можно. И она думала... Тяжелые были ее думы... В одном месте, где нанимался Нифонт, сразу двоих осиной убило... На болоте артельщик утопился — его с деньгами ждали, а он пропал. Говорили, сбежал, и ругались на него, а Нифонт пуще всех убивался, в розыск подать требовал... Нашли артельщика через год — весь иструхлявел и ничего при нем... Да, думать есть о чем Ульяне, только страшно от этих дум!..

Чем ближе к дому, тем вороватей, опасливей Нифонт, что-то сильно тревожит его. С плохой лесной дороги свернул вдруг в сторону и начал вилять туда-сюда в потемках. На крохотной полянке выпряг лошадь, дал ей в торбе овса.

— Заночуем.

— Полно, мошкара девчонок съест! — возражала Ульяна. — И мне что-то не можется.

— Кому сказано! — почему-то тихо, но решительно сказал Нифонт и развел маленькую тепленку.

У огонька поели, покормили Наталью с Маринкой. Привыкшие ко всякой жизни и к строгости отца, девчонки росли тихими, нетребовательными. Лица их были по-монашески кроткими, они походили скорее на маленьких старушек, чем на детей. Дадут — возьмут, не дадут — так сидят, не попросят, не то чтобы капризничать или требовать. Жевали и кротко глядели в огонь.

А тем временем постепенно темнело, нехотя догорал румянец закатного неба, и оттуда, с запада, тянул и

усиливался свежий ветерок. На земле он почти не чувствовался, а нажимал на макушки деревьев. Да, знать, обманчив он был, потому что навстречу ему грудились облака и без грома сверкало.

— Ну-ка дождь? — озабоченно сказала Ульяна.

— Это хорошо, — с какой-то внутренней радостью отозвался Нифонт.— Если что — под телегу залезете.

— Нашел хорошего!

— Понимать надо! — Нифонт или заулыбался или сморщился от дыма головешек.— Дождик в путь аль из пути — легче идти...

Сказав: «Я тут буду»,— он снял пиджак, остался в одной рубашке, о колесо стащил пыльные и пахнувшие дегтем сапоги и пошел в лес.

— Куда ты? — окликнула его Ульяна.

— До ветру.

— Ногу сбедишь, что босиком-то?

— Тут буду,— в ответ повторил он.— Если что — под телегу.

Пройдя с полсотни шагов, Нифонт остановился подле трех старых берез. Они были так приметны своей причудливостью, что ошибиться было нельзя. Да это именно те березы, под которыми он закопал шкатулку Франца Францевича. Перебарывая цепкое желание достать ее, убедиться, цела ли, Нифонт всего лишь ощупал, огладил землю между корней, но чувство было такое, словно погрел холодные пальцы о красное полированное дерево, подержал в руках...

Другие гонят воспоминания, тем более если они неприятны, а Нифонт не противился им, потому что убийство Франца Францевича по-своему считал нужным и полезным делом. Это зря, ни за что ни про что не годится, а с выгодой — не все ли равно: что скотинку, что человека — одна цена!.. Да и какое это убийство? Старик дремал, а может, и спал. Не заметил, как свернули с дороги, не видел, как Нифонт взмахнул дубьем, да, наверно, спросонья не успел и удара почувствовать! Так, по совести говоря, разве это убийство? Тюк — и готово... Вот с тем артельщиком повозился!

Выйдя на дорогу, Нифонт заплевал окурок и рысцой побежал в сторону села. Шлепал босыми ногами по мягкой земле и обдумывал предстоящее дело... «Керосин, чай, по-прежнему хранится в старом погребке.

Прежде полью ходы-выходы из дому. На фермах изнутри полью. Поджигать потом начну с того, что под ветер. Последним — овин, а там и кусты рядом...»

Наступила ветреная темная ночь. Такие ночи бывают в начале пахоты под праздник в честь Бориса и Глеба, когда Глеб сеет хлеб, а Борис боронует... Тучи бежали над гнущимся лесом, кругом потрескивало, громко шлепались подгнившие деревья, словно кто-то старался выбраться из чащи на полянку, где от страху и боли дрожала на телеге Ульяна.

Она давно поняла, что мужа поблизости нет, а роды начинаются. Кое-как в темноте нашла какие-то тряпки, кое-как слезла с телеги и поползла в темноту леса, подальше, чтобы своим криком не испугать Наталью и Маринку. А крик уже рвался из груди, он распирал горло...

Ульяна сильно мучалась, когда рожала и Наталью, и Маринку, и все же не так, как теперь. Может быть, потому, что совсем одна в этом грозном ночном лесу, может быть, действительно растрясло в телеге, только на этот раз она почему-то не надеялась выжить. Схватки начались так часто одна за другой, и такие болезненные, что не было сил перевести дыхание. Крикнула она всего один раз, а потом лишь стонала. Стонала не громче, чем рябина, под которой очутилась Ульяна. Лес не откликался на муки Ульяны, он тоже стонал под тугими ударами ветра, было больно и сучьям ронять ветки, и корням рваться от натуги, и земле... Это были одни общие роды нового дня...

«Господи, опять не угодила, — горько подумала Ульяна, когда заворачивала ребенка и прятала его у себя на груди, не в силах подняться на ноги и дойти до телеги.— Эх, девки-девки, несчастный народ!»

Задремала в бессилии и старалась понять, отчего то алеет, то меркнет над ней небо. И там, в неровном мерцающем свете, в беспокойной облачности, чудилось ей всегда одинаково недобро-страшное лицо Нифонта, его короткая, язвительная усмешка: «Корова телок должна носить, а баба — мальчишек... Знать, только на мясо годна ты, Ульяна!»

Последнее время страх перед Нифонтом преследовал ее неотступно. Сегодня же она боялась его как никог-

да, потому что понимала: не на доброе дело отлучился он... Еще ничего, если удачно, что совершит, но не дай бог своего не добьется!.. А тут еще некстати девчонка родилась...

Много у Нифонта на душе грехов и на руках человеческой крови, и чем больше догадывалась Ульяна, тем сильнее охватывала ее жуть... К тому, что знала, вспомнился вдруг слепой старик, что повстречался на дороге осенним свежим деньком в желтом березовом перелеске — какой-то выветренный, белый, с белыми неподвижными глазами... Стоял с поднятой рукой — прямой и какой-то гордый, божественно властный.

— Постой! Кто едет? — мимо спросил он. И рассказал, что заблудился, не знает, в какую сторону к Покрову, а в какую к Успению. Потом шел сзади, щупал палкой телегу и разговаривал с Нифонтом тем особенно торжественным голосом, каким попы в пасху возвещают, что Христос воскрес из мертвых.

Он оказался дальним, направлялся в какие-то Ручейки к мастеру, чтобы починить свою старую скрипку, так как не мог это сделать сам из-за слепоты...

Отвечая Нифонту, почему и давно ли ослеп, этот человек поведал историю своей любви к дочери знатного и богатого вельможи, у которого был в казачках и придворным актером. Приказал тот вельможа однажды парню плеснуть в глаза горячим оловом, чтобы лишить его возможности видеть барышню.

Ульяна близко к сердцу приняла судьбу старика, пожалела его.

В вечер того же дня слепец остался с ними ночевать на опушке другого перелеска, но такого же осенне-яркого, сияющего на фоне синей прохлады небес, и, достав скрипку, что-то играл на ней неведомое, но это неведомое, несомненно, было про самое Ульяну, про ее жизнь... Эту жизнь, полную постоянной тоски, робости и ожидания горя, скрипка делала песней и посылала на все четыре сторонушки — иди, броди по бел-свету, рассказывай. И песня шла, не отрываясь от Ульяниного сердца, сплетая его со всем, что попадалось ей на пути... Сплетая крепко и больно...

Ночью слепец рассказывал о мастере, который сделал ему скрипку из особо певучего дерева. Будто найти певучее дерево тому мастеру помогла другая такая же скрипка. Будто зашел он в дремучий лес однажды

и стал играть на своей скрипке, тогда дерево и отозвалось той же песней. Засыпала Ульяна и слышала:

— Никаких денег не пожалею, найду мастера...

Утром слепого старика не оказалось. Нифонт сказал, что он ушел чем свет... Ушел ли?..

Слабость не проходила. Сквозь дрему Ульяна чувствовала жар во всем теле, понимала, что на земле ей лежать нельзя, стала звать Нифонта, но ей откликалась скрипка. Потом пришел слепой старик, стал отнимать ребенка. Звонили колокола, плакали Марина и Наташка...

Нифонт разыскал жену по слабому крику новорожденной дочери, когда уже почти рассвело, стих ветер и начал накрапывать дождь. Ульяна была мертва. Мокрую от крови, он деловито и не спеша уложил на середину телеги, руки на груди перевязал ленточкой, на помутневшие глаза натянул синие веки, глазницы прикрыл медными пятаками. Марину с Натальей посадил по бокам покойницы и велел придерживать пятаки, чтобы не упали. Твердой хваткой, по-хозяйски запряг лошадь и, перекрестясь, выехал на большак. Он еще не знал, кто в тряпках шевелится у него на коленях, попискивает, да и не было охоты узнать: все равно не жилец, как раз в один гроб с матерью угодит!..

Окостеневшие от горя и ужаса Маринка и Наталья глотали молчаливые слезы из остановившихся, немигающих глаз. Нифонт изредка оборачивался назад, чтобы убедиться, придерживают ли они пятаки, не уронили бы: ведь как-никак деньги!.. Вон ведь их сколько придется потратить на похороны, да и на новую женитьбу.. Псу под хвост выкинуть!.. Нетерпеливо косился на выплывающую из-за пригорка церковь, на макушки опаленного огнем барского парка — хорошо ли именье-то выгорело? — но не торопил лошадь, пусть поутихнет еще! Особенно не тревожился Нифонт, заметать следы ему нечего! Эту тайну, как и другие, Ульяна навеки унесла с собой, теперь правду-неправду скажи о себе — все в лад, все так будет. Да и кому бы на ум пришла нелепость в поджоге именья подозревать Нифонта? Взгляните, добрые люди, у самого-то какое горе!..

Но все же, подъезжая к тому месту, где вчера было именье у Лунина, он подумал: «Поторопился!» Кое-где еще дымились черные обгорелые столбы, средь пепла и головешек торчали кирпичные простенки служб, труба водогрейки, каменный сруб колодезя. На черно-сером просторе, окруженном вековыми, изуродованными пожаром липами, громоздились остатки барского дома. Сыро и едко пахло тлеющей ветошью, паленой шерстью и кровью...

Всюду бродили молчаливые сельчане, ковырялись в углях палками, пристально разглядывали остатки предметов, вещей: подцепят что-нибудь, отбросят в сторону, другое — за пазуху сунут, и все это без слова, не замечая друг друга.

У самой дороги лежали в ряд четыре обугливших трупа, и, склонясь над ними, пытались угадать старухи: который сторож, который Василий Косой, пытавшийся спасти сторожа, запертого в телятнике. Но тут еще кое-как догадывались: Василий все же крупнее был. А вот как отличить барыню Веру Степановну от экономки Иринушки?

Каменное сердце Нифонта чуть-чуть дрогнуло. Страшно!.. В эту ночь свершилось сверх того, что ожидалось. Много!.. Хоть и не признавал он раньше Иринушку за родню, не считал, но она была его матерью... Ненавидел ее за то, что в подоле принесла, но она вскормила его своей грудью...

Нифонт выронил вожжи, близко-близко поглядел на свои ладони, на скрюченные пальцы с крепкими желтыми ногтями и ткнулся лицом в эти давно немытые грешные руки. Тяжко!..

На миг показалось вдруг, что по какой-то ошибке он, Нифонт, всю жизнь жил в ком-то другом — страшном и беспощадном, и вот тот, другой, злодеенный, обманул его, оставил — беспомощного, страдающего, в крови по колено перед великим судом.

— Православные, пожалейте меня, горемычного!..

Нифонт не умел плакать, он лишь заскулил, затрясся, задергался всем телом, словно в припадке. Его потянуло в сон, как только ощутил он в ладонях первые теплые слезы — крупные, настоящие человеческие слезы...

— Православные, приютите...

Он стал вдруг часто и длинно позевывать, безобраз-

но, по-лошадиному, обнажая красный рот с прокуренными гнилыми зубами.

Накануне пожара Илья поздно вернулся с поля. Хорошо попарился в бане, хорошо потом выпили они с Верой Степановной и на полуслове о чем-то ласковом и по-пьяному откровенном уснули беззаботным сном. Илье помнится, вроде что-то жарко было и душно. Сквозь сон заставлял себя встать и открыть окно, но хмель путал сознание, а ветер, поднявшийся к ночи, убаюкивал. Снилась глубокая пахота, по которой трудно было идти, нещадно припекало солнце косматую голову. Нужно было пройти это поле, для того чтобы напиться настынувшего ядреного квасу прямо из глиняного кувшина. А там, куда спешил Илья Степанович, что-то жгли и весь дурман вместе с искрами валил ему прямо в лицо...

Сон и явь, когда Илья пробудился, уже были так близки и похожи, что он не вдруг различил их, не вдруг понял, где он и что происходит вокруг: в комнате от пола до потолка стоял густой дым, а за окнами бушевало пламя.

Вера Степановна с пронзительным криком кинулась к двери, ведущей вниз и раскрыв ее, тут же исчезла в розовом свете, а в комнату пахнуло нестерпимым жаром.

«Туда нельзя!» — промелькнуло в голове Ильи, и он с разбегу махнул через окошко в кусты жасмина.

Горело все, горело торопливо и жарко, так, что гасить пожар было невозможно, и люди, прибежавшие из села, стояли, прячась, за деревьями парка. Один Илья метался перед горящим домом, загораживаясь от огня пустым ветром. Несколько раз он пытался вбежать в конторку, и каждый раз на нем вспыхивала одежда. Его, как ошалевшую овцу, ловили мужики, оттаскивали подальше, но он вырывался, расталкивал мужиков с нечеловеческой силой, пока Василий Косой, вытащивший полуживого барина, не связал Илью веревкой и не положил к ногам Феодосии.

— Так-то лучше! — весело сказал он и, как добрый конь, помчался, шлепая босыми ногами, туда, откуда доносились крики о помощи.

Любил Василий удалое дело на миру, любил добрую силушку свою распоясать, да не как-нибудь в буйстве,

удали бесшабашной, а в горюшке общем, в беде людской. Эх, мать честная! Мужики, да что вы носы-то повесили? Чего затылки чешете? А?! Рукава засучи, ворот рвани так, чтобы пуговицы горохом посыпались! Оком сверкнет, ослепит белым зубом, выдохнет, вдохнет шумно, кашлянет для порядку: «Айда, за мной!» И тут уж его ничто не остановит. А управившись глядишь, стоит в сторонке, руки за спину, словно большущий сноп на солнышке. А в глазу — васильковая тихость...

Василий, Василий, душа твоя русская!.. Как же ты оплошал, сердешный?..

Да нет! Это не ты лежишь при дороге цвета морёного дуба, не по твоей обуглившейся щеке течет алая струйка из приоткрытого холодного рта... Нет! Тебя кто-то видел на петушином гребне пламени, под самыми облаками в буйстве искр и дыма, ты вознесен!.. Оттуда, из синь-неба, ты будешь светить и греть, опускаться урожайным дождем на скудные крестьянские поля, произрастать травой-муравой на цветистых лугах и ягодных полянках в лесу. Ты не иссякнешь...

Силы твои удвоит народ. Он возьмет тебя в песню и сказку, он свяжет с тобой были и небыли. По тебе будет мерить добро и тобою отпугивать зло, и все, что будет даровать благо, называть твоим именем!..

«Василий Косой, он ить как, бывало...»

...В два маха топора свалил дерево, подвел вагу под горящий угол. Молвил мужикам: держите покамест... А сам шмыгнул в щель, между бревен, прямо в огонь, чтобы сторожа вытащить... А ведь мужик — он и есть мужик — отскочили от ваги-то, отпрянули, как жарко стало. А щель-то и захлопнулась!.. Погибель Василию!..

Но будто бы не жаловался он перед смертью, а крикнул из пекла громовым голосом:

— Так чего же вы, растуды вашу мать, наделали!..

Да, опростоволосились мужики... Зато хоронили Василия не в пример прочим!..

О мертвых скорбят, о живых пекутся...

Мертвым — по три аршина земли, по горстке слез, понюшку дыму-ладану, и с богом в царствие небесное!

А с живыми как, с обездоленными, осиротевшими?.. Им и того нет! Посочувствуют, пообещают сгоряча, а потом: «Давай уж сам как-нибудь выкручивайся». У каждого своих забот полон рот. Не охочь мужик к общему делу: своя-то рубашка ближе к телу...

Многое в судьбах людей пожар зачеркнул красной кистью. Многим пришлось все начинать сначала. И первым начал Дементий. Он пришел к Нифонту, когда тот из старого ящика мастерил маленький гробик.

— Померла?

— Куда денется!

— Молочком бы ее...

— Не жрет, проклятая, замучился!

Дементий развернул тряпки, переменил пеленку:

— Помыть бы ее. Девчонка хорошая!

— Чудак! — усмехнулся Нифонт.— Чего хорошего? Щенок. Только и разницы, что того утопить можно, а энту нет, человеком называется!..

— Не жалко?

Нифонт опять усмехнулся:

— Ты, брат, как репей! Возьми, коль полюбилась!

— Взял бы...— немножко опешил Дементий, и не потому, что так по-отцовски говорил Нифонт, а от мысли, пришедшей на ум: «А что, если правда попросить да попробовать выходить девчонку?» — Взял бы,— продолжал он,— не отдашь, ведь, болтаешь!

— Я-то?.. Хошь, целковый в придачу на похороны? — твердо сказал Нифонт.— Мало?.. Полтора!.. Только назад не носить!..

— Ну тебя! — помрачнел Дементий.— Ты что, ягненка сулишь?!

— Видишь,— рассмеялся Нифонт,— и в кусты!.. Ты посуди, чудак, ведь мне все равно: что тебе, что в землю закопать. Бери, коль охота возиться!..

Потом они пили водку, и Дементий, не привыкший к ней смолоду, захмелел с маленького стаканчика.

— Нифонт, голубок-воробушек, не обидеть тебя хочу, человека жалею! Поставлю на ноги — отдам, не серчай на меня! Только ни рупь, ни полтора не возьму, три давай. Козу для нее покупать буду!

— Три — так три! — с пьяной добротой согласился Нифонт.— Только, брат, навовся! Понял? Мать твою переехал!

Дементий взял девчонку, осторожно сошел с крыльца, повернувшись, спросил:

— Звать-то, как?

— Как хошь!

Нифонт постоял на крыльце, посмеялся вслед Дементию.

— Говорят, колдун. Дурак ты, старик, не колдун!..

А Дементий, ослепленный солнышком и какой-то неосознанной радостью, рассуждал, торопясь домой: «Как же назвать-то тебя, синичка-невеличка? Калерией, к любви побуждающей? Лукиней светоносицей, Хионией снежной аль еще как? Ниной — не годится. — Она, значит, мученица, плачущая. Феодосия, хоть и богом данная, но есть у нас такая. Как же тебя наречем, соловушка?»..

В тот же день он переселился в свою избенку, потому что Илья ненормальным стал после пожара — сидел в углу и колотил себя кулаком по лбу, вкрикивал да ногами вдруг топал, ребенка перепугать мог. Да как никак свой угол, сам в нем хозяин. Феодосия помогла ему помыть ребенка. Максим с Андрейкой сбегали за прутьями для большой корзинки и весело принимались за работу — кто обруч гнуть, кто прутья очищать: нужна была такая колыбелька, чтобы взял ее и пошел куда хочешь, чтобы с боку сусечки были — лопотье положить, бутылочку с молоком поставить, чтобы она, когда понесешь, и сбоку, и со спины ладно приходилась.

Хорошо было сдирать зубами горько-сладкую ивовую кожицу, от которой пахло молодым леском, слушать радостного деда Дементия, смеяться над его выдумкой, будто не у Нифонта он выпросил маленькую девочку, а в лесу нашел. Складно — и ладно! Да оно и лучше, если девочка действительно на большом цветке уродилась, а не от Ульяны-покойницы! Будто стрекозы ее росой поили, а пчелы медом кормили, будто знает она все тайны леса и, когда вырастет, научится говорить, то расскажет Максиму с Андрейкой такое, какого они в жизнь не слышали!

— Правда, дедушка?!

— А вы как думаете?

— Может, и диво она знает?

— Еще бы!

— И с птицами говорить умеет?

— Надо полагать.

— Эх, дедушка! Вот кабы правда!..

Максим почти верил, Андрейка чуть-чуть сомневался, но и ему хотелось верить:

— Дедушка, а давай правда поверим! А?..

— Знаете... давайте Иволгой ее назовем! — предложил Максим. — Или Ранжей, они обе красивые! А?..

— А если...— Дементий замер на миг и вдруг Максим с Андреем услыхали нежную трель, точно такую же, какую слышали сегодня в кустах, когда срезали прутья.

— Соловушкой!..

— Правильно! — обрадовался Дементий. — Теперь ты, Андрейка, угадывай. Чей верх — тому и право на выбор! Слушай... ...Кто так поет?

— Жаворонок,— недовольно сказал Андрейка. — Только он пестрый, нехороший! Лучше соловушкой...

— Эх, голубки-воробушки!..— Дементий задумался, поухмылялся про себя.— Дело-то — оно, оказывается, вот в чем: не красна изба углами, красна пирогами. Соловей и жаворонок почти одного пера, одной стати. Выходит, не суди о девке, как одета, гляди, как она хоровод ведет! Давайте Соловушкой станем звать. Соловушкой — так Соловушкой... А как же с отцом Сергеем быть? Согласится ли он нашу Соловушку в церковную книгу записать?.. В миру другое имя нужно...

Андрейка с Максимом даже огорчились немного: те имена, которые они знали, были связаны с сельскими девчонками, а девчонки то сопливые, то лохматые — скорее вороны, чем соловушки! А эта, не как-нибудь — на алом цветке уродилась!.

И Дарья, подсказанная Дементием, им не понравилась.

— А как ее ласково-то если? — пренебрежительно спросил Максим.— Дарька?

И Дементий просиял:

— Я вашу бабушку, покойницу, Данюшкой величал!.. Данюшка... Дарьюшка... Она-то и дружила, голубки-воробушки, с дивным-дивом...

Дементий забылся с очищенным прутиком в руках, задубелых на солнце, воскрешая образ жены. В низенькую избенку с маленькими окошками вровень с землей вошла молодая женщина, вошла — осветила доб-

рой радостью, обогрела. И такой жизнью повеяло от нее, что Дементий увидел, как бьется жилка у нее на шее и чуть не сказал: «Данюшка! А ведь у тебя комар на щеке, ишь, как напился!»...

Она пришла в дивном-диве, в песнях соловьев и жаворонков из тех росистых лугов и околиц, просторных полей и лесных заповедных мест, которые исходили вместе с дедушкой Андрейка с Максимом, поэтому нельзя было не понять бабушку, не полюбить ее душу и простое русское имя ее. Бабка Дарья!..

Девочку назвали Дарьей-соловушкой, в пашках и под пазушками у нее пересыпали цветочной пыльцой, темечко помазали деревянным маслом. Потом Дементий поколдовал над целебными травами и добыл из них светлую капельку «живой воды». Даню-соловушку положили в новую корзинку, попоили из рожка молоком пополам с кипятком и дали эту капельку «живой воды».

До этого Даня-соловушка лежала с закрытыми глазами, плаксиво морщилась. А тут обновилась вдруг и, как в сказке, открыла большие непонятные темные глаза — не такие, как у Максима с Андрейкой, не такие, как у деда Дементия: в них чудилась та рассветная пора, которая бывает на исходе июньской ночи — тихая, но живая, обещающая.

— Не помрет! — торжественно объявил Дементий и запрыгал вокруг корзинки, словно маленький.— Эх, эх, голубки-воробушки, человек вырастет!..

В сумерках дед и внуки посидели на крылечке, поглядели на зеленое звездное небо, подумали всяк о своем. Было дремотно и чутко. За рекой били перепела, подальше огородов, где за коноплянниками начинаются заросли ивняка, пели соловушки. Пришла, посидела Феодосия, поулыбалась молча, потом сказала:

— Как хорошо с вами! Можно мне, папаша, на маленькую поглядеть?

— Можно, только не разбуди! — ревниво засуетился Дементий.— Она чуткая.

— Ну уж!

— Не скажи! Девчонка отменная!

Феодосья неслышно сходила в избу, вернулась довольная:

— Сопит, чай, выживет!

— Непременно! — утвердил Дементий.— Жить!.. Чего ей не жить...

Ночь для него прошла в душевных раздумьях, в ясных видениях прожитого. А уж как светло воображалось будущее!.. Хотелось наперекор обреченных судеб крестьянских женщин сделать так, чтобы Дарьюшка действительно выросла вольной соловушкой, понимала красоту земли и любовалась ею. Чтобы детство ее просияло майскими днями. А когда станет девушкой — нашелся бы ей под стать добрый молодец, не мужик замаранный, хмельной, нечесаный, а тот детинушка из молвы людской, из былинушки!..

И то виделось, как Дементий высаживал Данюшку из корзинки и она ползла по лужку, как шли с ней за ручку в чистое поле свежим утречком по ягоду, и то, как становилась Данюшка к печке и варила Дементию кислые щи да ловко так, уж так-то проворно — не налюбуешься!

— Кушайте, папаша, на доброе здоровие...

— Спасибо, сударушка!..

И все-то у нее получалось родно и знакомо давным-давно: что повернется, что скажет — прямо от Феодосии не отличишь!

— Наша!..

Но отец Сергей, выслушав Дементия, задумался:

— За радостью горе вижу. Поставишь на ноги, привыкнешь, а Нифонт вернуть потребует, как оно?

— Помилуй, батюшка! — испугался Дементий.— Разве можно?

— Видишь! Давай-ка за Нифонтом Харитину пошлем, пусть расписку напишет, мол, сим свидетельствую и прочее. Сейчас это я сочиню... Потом и крестить будем, и назовем, как хотим, и отчество какое надо проставим, уразумел?

Со словами: «Он хитер, а мы хитрее», отец Сергей принялся царапать пером толстый лист гербовой бумаги:

— Да простит меня бог!..

Бумага, которую должен был подписать Нифонт, гласила, что младенец женского пола является подкидышем неизвестных родителей, о чем и свидетельствуют нижеподписавшиеся...

Нифонт было заупрямился:

— К чему?

— А к тому, простофиля, — пояснил отец Сергей, — чтобы с тебя Дементий имущественную долю не потребовал!

— Давайте, давайте, — засмеялся Нифонт, — все одно помрет!

— Опять не твоя забота!

Смеясь, Нифонт подписал и прошение в церковь божию, чтобы разрешили ему захоронить на кладбище мертворожденного младенца. Прошение датировалось днем раньше, чем умерла Ульяна.

— А это для чего? — поинтересовался Нифонт.

— А для того, оболтус, — отец Сергей сделал вид, что сильно рассердился,— православные как поступают? Видят, ребенок на ладан дышит — окрестить торопятся, а ты прежде гроб начал ладить! Не такое дело — я задал бы тебе жару! Уразумел?..

Он проводил Нифонта тяжелым взглядом, а на растерявшегося Дементия глянул добро и ласково:

— Молчи, дружок, я это дело так запутаю, заканителю... У меня сам преподобный не разберется!.. А крестить приноси, как оклемается младенец, окрепнет.

— Неладно как-то получилось, батюшка, — волновался Дементий. — И схоронили, и живет...

— И пусть живет на доброе здоровье,— ответил отец Сергей. — Мы с тобой сотворили половину добра и половину греха. Коль то и другое сложим — ничего не получится! Уразумел? Зато отныне сам губернатор не отнимет у тебя детище. Ступай с богом. Это он тебя в родители избрал. Благодари его, и он тебя не забудет...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из дома Макаровых вместе с Дементием, казалось, ушла всякая жизнь. Максим с Андрейкой появлялись лишь к ночи, а то всюду за дедушкой — или около Данюшки, или с ним копались в огороде, садили, сеяли. К ним тянулась и Феодосия — тяжко ей было с одичавшим мужем, который продолжал находиться в каком-то зверино-дремучем забытье: сядет — сидит мертво, поднимется — стоит, уронив голову, а пойдет — непременно наткнется на что-нибудь и тут вроде очнется на миг, заплачет.

Царица небесная, наставь на путь!..

Уходил в лес на могилу Орентия, стучал концом палки в еле заметный холмик, разговаривал с ним:

— Вставай, что ли! Дело есть...

Подолгу слонялся по пепелищу с таким видом, будто ничего не случилось, будто по-прежнему все на месте. Не ел, а пил с лошадиной жадностью. Никого не замечал, кроме собаки Дружка. А тот рад был без конца лизать его обожженное лицо и руки, поэтому Дружка пришлось спрятать в сарае. «У собаки на языке и спасенье, и смерть!» — говорил Дементий и всеми силами старался изготовить свои лекарства «для души», поскольку она заболела у Ильи.

— Главнее ее ничего нет в человеке. Уйдет из него душа — считай человека погибшим...

Наконец Дементию удалось усыпить Илью почти на два дня. Пробуждение было таким, каким ожидал Дементий: первое, что сказал больной, обещало поправку — он попросил есть. Ему дали стакан молока, и он обиделся:

— Щей давайте.

— Не торопись. — Дементий подсел к нему, как заправский доктор, пощупал голову, пульс. — Давай потолкуем. Скажи, что с тобой было?

— Спал, — Илья, видимо, принял вопрос за шутку.

— Верно, спал. А до этого?

— В поле был.

— Потом?

— Потом спал, говорю!

— Стало быть, не помнишь, что случилось?

— Нет, а что?

— Ну, канитель там в хозяйстве...

— А-а, вспомнил... Пожар...

Полежав в забытьи, Илья поднялся и вышел на улицу. Там было солнечно и шумно от грачей, от скворцов, от горластых петухов, распевавших на разные голоса.

— Вспомнил... Должно быть, Кобылины подожгли...

— Подожди, подумай хорошенько, — посоветовал Дементий.

— Нечего думать, — твердо сказал Илья Степанович. — Больше некому... В волость надо...

У старосты Крынкина он застал Демида Устинови-

ча — тех, кто требовался. Степан Владимирович безжизненно лежал на широкой деревянной кровати, скрестив на груди дряхлые руки. Крынкин и Демид Устинович сидели около него. Они еще ничего не решили, не знали, что предпринять. Степан Владимирович отверг всякие подозрения, не хотел никого винить.

— Так богу угодно,— сказал он.— Судьба...

Демид Устинович с Крынкиным поначалу тоже сомневались в виновности Кобылиных, не годились они, по их мнению, на большой разбой, однако, чем черт не шутит! Тем более, грозились в свое время...

Тут же припомнили Терентия Баранова: этот смутьян с жалом на языке если не помогал, то без его советов не обошлось... Это он кому-то говорил на масленице:

— Друг дружку валтузите, дураки. А нет бы всем вместе — и польским, и заречным — повернуться в другую сторону...

В волость поехал Крынкин и увез с собой барина. С их отъездом на Илью с новой силой навалилось горе. Чтобы вновь не поддаться забытью, он запряг было Орлика — молодого шустрого меринка, недавно подаренного Степаном Владимировичем, и выехал в поле, но там лучше не стало. Казалось, что жаворонки не просто поют для себя, а что-то предсказывают. А это что-то неотступно идет сзади — затаенное, злорадное, и нет сил заставить себя не оглядываться назад постоянно, с ожиданием, с холодеющим сердцем. Ехал шагом — и оно не торопилось. Гнал — и оно со страшным топотом мчалось за ним. Останавливался, прислушивался — и оно скрадывалось, сдерживая дыхание.

— Господи, отведи вражеское наваждение!..

В молитвах и слезах прошла ночь на какой-то бесконечной дороге. Наступило утро и новый день, а Илья все ехал и ехал, пока не услышал голос Дементия:

— Не троньте его, говорю вам. Нездоров человек!

— Ему только расписаться, — сказал незнакомый человек в городской одежде.— Ждать мы не можем.

Два жандарма помогли Илье подняться. На красной папке он увидел четкий с завитушками текст, в дрожащие пальцы взял поданную ему ручку и вывел медленно: «Макаров».

— Как это? — прошептал он, в упор глядя на Савелия.

— Так вот! С говенным рылом в калашный ряд попер. Ты сначала замоли грехи перед женой и детьми, перед сиротами Кобылиных, а перед богом я за тебя помолюсь!..

— В моем-то доме? — Илья Степанович готов был кинуться в драку. — У меня за столом смеешь такое!..

— Сгорел твой дом. А на стол ты еще не наработал! — окончательно сразил его Савелий.

— Та-а-ак! — шумно выдохнул Илья Степанович и перевел взгляд на жену. — А ты что скажешь?

— То же, — подтвердила Феодосия.

— А вы, сынки? — у Ильи Степановича дрогнул голос, и на глазах навернулись слезы.

Андрейка смутился, а Максим, насупясь, сказал:

— Ты плохой...

Илья как подкошенный плюхнулся на место и простер к образам трясущиеся руки:

— Господи! Заступись!..

Он сообразил, что в эту минуту ему нужны не враги, а сострадающие, поэтому не указал на дверь и не выкрикнул, как бы поступил прежде, «вон!», а понес всякую чепуху, притворяясь, будто вновь свихнулся. Но явно фальшивил, явно старался:

— Глядите, глядите, у бога крылушки выросли! Я с ним сейчас полечу!

— А ну его к дьяволу! — сказал Савелий и предложил всем пойти к Дементию. — Пускай один кураж ится!..

Ушли и оттуда посылали то Максима, то Андрея поглядеть потихоньку, что делает.

— В пустом корыте тяпкой стучит, будто капусту рубит! — весело докладывали ребятишки.

Другой раз Максим вернулся, придерживая покрасневшую щеку:

— Влепил и сказал: это тебе в задаток пока. А Андрейку расспрашивает, о чем говорите.

Савелий засмеялся и сказал:

— Стало быть, на поправку пошел! А ты, Максим, не горюй. Расплачиваться ему с тобой не придется, со мной в Питер поедешь!

— Теперь не пустит, — засомневался Дементий.

— А мы и спрашиваться не будем.

— Как это? — прошептал он, в упор глядя на Савелия.

— Так вот! С говенным рылом в калашный ряд попер. Ты сначала замоли грехи перед женой и детьми, перед сиротами Кобылиных, а перед богом я за тебя помолюсь!..

— В моем-то доме? — Илья Степанович готов был кинуться в драку. — У меня за столом смеешь такое!..

— Сгорел твой дом. А на стол ты еще не наработал! — окончательно сразил его Савелий.

— Та-а-ак! — шумно выдохнул Илья Степанович и перевел взгляд на жену. — А ты что скажешь?

— То же, — подтвердила Феодосия.

— А вы, сынки? — у Ильи Степановича дрогнул голос, и на глазах навернулись слезы.

Андрейка смутился, а Максим, насупясь, сказал:

— Ты плохой...

Илья как подкошенный плюхнулся на место и простер к образам трясущиеся руки:

— Господи! Заступись!..

Он сообразил, что в эту минуту ему нужны не враги, а сострадающие, поэтому не указал на дверь и не выкрикнул, как бы поступил прежде, «вон!», а понес всякую чепуху, притворяясь, будто вновь свихнулся. Но явно фальшивил, явно старался:

— Глядите, глядите, у бога крылушки выросли! Я с ним сейчас полечу!

— А ну его к дьяволу! — сказал Савелий и предложил всем пойти к Дементию. — Пускай один кураживается!..

Ушли и оттуда посылали то Максима, то Андрея поглядеть потихоньку, что делает.

— В пустом корыте тяпкой стучит, будто капусту рубит! — весело докладывали ребятишки.

Другой раз Максим вернулся, придерживая покрасневшую щеку:

— Влепил и сказал: это тебе в задаток пока. А Андрейку расспрашивает, о чем говорите.

Савелий засмеялся и сказал:

— Стало быть, на поправку пошел! А ты, Максим, не горюй. Расплачиваться ему с тобой не придется, со мной в Питер поедешь!

— Теперь не пустит, — засомневался Дементий.

— А мы и спрашиваться не будем.

— Как же? — спросила уже загрустившая Феодосия. Теперь она не была против того, чтобы отпустить Максима, но материнская жалость давила сердце.

— Сделаем так... — Савелий что-то пошептал ей на ухо, потому как Максим с Андреем весело насторожились...

И они кинулись бы допытываться, но проснулась Даня-соловушка.

— Разбудили? — забеспокоился Савелий.

— Нет, время пришло, — ответил Дементий. — Она такая... без пути не уложишь и не разбудишь, как солнышко!

Дементий просвистал, прощелкал по-соловьиному, как делал теперь постоянно, когда пробуждалась Даня, и получил в ответ такую улыбку, что пораженный Савелий всплеснул руками:

— Дементий, да ты же волшебник! Сколько ей?

— Спроси.

— Разговаривает?!

— Пока нет, а понимать — понимает...

— Так и спросить?!

— Так и спроси.

Но Даня уже сообразила, о чем разговор, и, отложив чулок, который начала было натягивать, показала пальчиками.

— Год и два месяца, если не ошибаюсь! — догадался Савелий.

— Верно, — подтвердил Дементий.

Даня сама слезла с кровати, пошлепала ручкой подушку, как бы взбивая ее, и, взобравшись к Дементию на руки, как маленького, погладила его по голове.

— Это она похвалила меня, — зарадовался он и обратился к Савелию. — Помнишь, я тебе диво показывал? Так вот, Данюшку оно народило, природа дала ее!..

— На такую-то жизнь? — вздохнула Феодосия. — Как моя, как многих?..

— Оберегать будем.

— Меня-то не уберег?..

Дементий замялся. Феодосия высказала то, что иногда ему самому приходило на ум, что он старательно гнал от себя, а главное сама-то Феодосия повернулась к нему какой-то другой, новой стороной! Что это, упрек или сожаление? Или есть на свете еще что-то, перед ко-

торым бессильна природа и сам человек?.. И он спросил:

— Обижаешься?

— Нет. Я подумала: лучше родиться слепой, чем ослепнуть потом...

— Вырастишь яблоньку, а потом кто-то возьмет топор и срубит ее в цвету, — продолжил Савелий. — Но ты неправа, все таки... Яблонька—яблонькой, а человек — человеком... Ты-то не поддалась, не ослепла?.. Кто слепой — так это Илья... Если ты заблудилась в лесу, что надо делать тебе?..

Феодосия пожала плечами:

— Искать дорогу.

— А если ее нет?

— Все равно идти.

— Верно! А если страшно будет, сучки будут царапать тебя, о корни ноги собьешь?..

— Не сидеть же!

— Стало быть, идти и шабаш?.. Так какая же ты слепая?.. Идешь ведь!.. А вот Фотинья Кобылина-то сидит да ревет, она не выйдет из лесу...

«Ишь ты, — подумал Дементий, — дело!» На какой-то миг ему показалось, что Савелий чем-то похож на Терентия Баранова. Чем?.. Может, тем, что похоже говорил об Илье, или тем, что рассказывал однажды о каком-то слепом народе, который жил на гнилом болоте и не знал, что совсем недалеко от него солнечная плодородная долина... Среди этого народа находились смельчаки, которые пытались выйти из болота, но по пути гибли в трясинах, а те, кому все-таки удалось достичь ясного берега, прозревали и вступали в бой с державным владыкой болот. А так как державный был сторук, а смельчаки одиноки, то гибли и смельчаки...

Савелий стал смелее, резче после того, как Дементий видел его последний раз. А главное, какой-то напряженно-готовый, ожидающий, и от него самого что-то ждалось.

Шли обкашивать межи. По узенькой полевой дорожке далеко растянулись: Максим с Андрейкой — впереди, за ними — Феодосия с Даней-соловушкой, Дементий с Савелием приотстали, у них над головами сияли остро отточенные косы. Чем дальше уходили от села, тем душистей становился воздух и покойней, и раздумней поля с наливающейся рожью, с молодой зеленью овсов,

с зацветающей гречкой. Солнце клонилось за полдень. Спадающий зной его переходил в тихую благодать свежести, которой постепенно полнилось сердце.

— Гляди! — то и дело Дементий заставлял Савелия обращать внимание на что-нибудь. — Видишь?

— Вижу. Коршун вьется...

— Зачем?

— Нравится, вот и вьется!

— Эх ты, нравится. Куропаточку он выглядывает аль перепела!.. — Дементий останавливал Савелия за руку, указывал в синюю бездну небес. — А ведь там ветрено, вон как у коршуна крылья-то выгибаются, к ночи облаков надует!

Дементию хотелось, чтобы Савелий разделял с ним радость васильков, выглядывающих изо ржи, сине-розовый трепет цветущего горошка, обиду черного жука, слету ударившегося о былинку и упавшего в траву. Ему хотелось, чтобы тот сказал что-нибудь о белых макушках Андрейки и Максима, об их пятках, сверкающих далеко впереди, о Феодосии с Даней-соловушкой, ведь так они хороши на этой полевой дороге среди зелени и придорожных скромных цветов. Ведь они все от его корня, все и его, как и весь этот предвечерний мир русского разумного поля!..

— Жестким становишься, Савелий! Стареешь, поди?

— А что?

— Душа молчит. Глазами видишь одно, а думы про другое.

— Это верно, — грустно улыбнулся Савелий, — думаю...

— Все конку гоняешь? — помолчав, спросил Дементий.

— Нет, на литейном заводе теперь... пролетарием стал.

— Пролетарием... Что ж это, должность?

— Как тебе сказать?.. Поймешь — не поймешь, а понимать следует так: весь народ на земле делится на классы... Класс буржуазии и помещиков, класс крестьян и класс пролетариев... Я, значит, пролетарий — служу в работниках у буржуев...

Дементий пристально присмотрелся к Савелию, стараясь найти связь между сказанным и переменами, которые произошли во внешности Савелия и в его характере. Савелий, будто лошадь после весенней пахоты, подобрался, вытянулся. Щеки ровно белели под стать бе-

лесым вискам, сероватые жесткие усы сердито щетинились, взмутился бывший голубоватый покой глаз. Не то постарел, не то помолодел человек. Но осанка и твердость походки предполагали зрелую мужскую силу.

— Бывало, про каких-то социалистов я слышал от Баранова; не приходилось, не видел таких? — спросил Дементий.

— Приходилось,— Савелий повернулся к Дементию, заулыбался.— А что он еще говорил?

— Всякое. Другой раз и не поймешь... Чего, дескать, вы, мужики-дураки стенка на стенку сходитесь да валтузите друг дружку? Нет бы всем вместе в другую сторону повернуть, силища неразумная!..

— Правильно говорил,— живо подхватил Савелий.— Не знаю, чего тут непонятного?.. В другую сторону — значит против царя и помещиков!..

— Что ты?! — изумился Дементий.— Может, он и есть социалист?

— А что?

— Не похоже. Ведь те, будто поножовщики,— кинжал за голенищем, за пазухой — пукалка... А он... Нет, быть не может!..

— Может — не может...— Савелий не окончил фразы, стал слушать Феодосьину песню — негромкую, но чистую, внятную, на которую ее надоумила дальняя даль под безоблачным небом, ласточки над тихой рожью и Даня-соловушка на руках.

Выйду с горюшка в чисто полюшко,
Размахну я платочком туман голубой.
Молоденька хочет волюшки
И любимою быть тобой...
Поля хлебные, дайте силушки!
Птицы певчие, дайте крылушки!
В косы я вплету изумруд росы,
Зори ясные мне дадут красы...

— Жалуется!— сказал Савелий.

Дементий прислушался еще, оживился:

— Нет, радуется! Жаловаться она не любит. Крепкая женщина...

Собрались у межи, посидели, поулыбались друг на друга, и все вместе порадовались на Данюшку-соловушку, удивленную высокой цветущей травой. Потом Савелий поднялся, поточил косу — она была и без того остра, но так, для порядка,— чуть-чуть пригнулся, приме-

рился и пустил ее под корешки желтой сурепки, розовому клеверку и белым лютикам. Они вмиг кувыркнулись и тихо легли в валок, легли еще свежие и живые, но какие-то изумленные, словно хотели спросить: «Что же произошло с нами?»

Феодосии почему-то жалко стало траву — именно ту, которая первой легла в валок, и от мысли, что трава через некоторое время начнет умирать, блекнуть и не встретит нового росного утра, Феодосия не скоро избавилась. Да и не избавилась, а стала думать о Максиме и так же грустно, как о желтой сурепке, розовом клеверке, белых лютиках...

Настал день отъезда Максима и дяди Савелия в Питер. Короткую летнюю ночь провели в разговорах и встали рано. У Феодосии все валилось из рук, потому что в глазах стояли слезы и сквозь них, как через неровное стекло, она видела плохо. Илья не только не возражал против того, что Савелий берет Максима с собой, но даже покрикивал на жену:

— Будет слюнявиться! Чай, не покойника собираешь. Дядя родной, в обиду не даст!..

И к Максиму потеплел сразу Илья, наставления давал:

— Ты, Максимка, если страшно в жизни станет, не беги. Если уж совсем невмоготу стоять будет, то задом пяться. Твой дедушка Ермил так говорил бывало: побежал в кулачном бою догонять, оплеуху сзади дадут, с ног собьют, а сбивши — растопчут, все через тебя пробегут... Тот человек не ворона, который в один глаз спит, а в другой зорко глядит... Я вот проспал, сынок...

Но наставления пролетали мимо Максима. Он торопливо передавал Андрейке свое мальчишеское богатство — разноцветные стеклышки, бабки, пустые спичечные коробки, наказывал кормить Дружка и не зорить голубиные гнезда. Ржавый перочинный ножичек отдал, когда уже помолились и стали выходить, чтобы ехать на станцию.

Уселись на телегу, Илья Степанович, подбирая вожжи, чмокнул губами:

— А ну, с богом!

Суетившийся до самого отъезда, Максим присмирел вдруг и пристально посмотрел на мать — заплаканную,

потерянную, на Даню-соловушку, державшуюся за подол материного темного платья, на деда Дементия, не то смеющегося, не то плачущего, и вздохнул горько. Глядел, пока не зарябило в глазах, пока не спросил дядя Савелий:

— Плачешь?

— Не.

А у самого уже сдавило горло...

Только за селом, которое отдалялось и низилось, немного отлегло от сердца, и Максим приподнял голову. Дядя Савелий тут же придвинул его к себе, положил руку на плечи:

— Молодец! Я думал, ты реветь станешь, а ты вон как сдержался, молодец!

Сильно постаревший за последнее время, Илья, горбясь, подергивал вожжи, молчал. Хотелось поскорее спровадить неприятного гостя, а заодно и лишний рот. «Коль отец плох — поди, сынок, испытай, каково на чужбине! Придет время, и добрым словом вспомнишь...»

На станции он не стал дожидаться поезда: ссадил, сухо простился и повернул обратно:

— Счастливого пути! Мне некогда...

А Максим даже не заметил холодности отца, не до этого было! Невиданная новизна поразила его. Вокзал, как сказочный терем, суетливая людность, блеск рельсов, пронзительное вскрикивание паровоза, движение, свистки, шум пара. Чего понять? На чем остановить взгляд? Не успеваешь головой крутить!

Нечистой силой подкатил к станции поезд. Та же непонятная сила помчала вагон, когда Максим вошел в него с замирающим сердцем.

— Что, Максим?— спросил Савелий, усадив Максима на лавку поближе к окошку.— Что присмирел?

— Беда, дядя Савелий, пужаюсь!

— Ничего. Привыкай. Питер грознее покажется!

— А как остановимся?

— Остановимся, не тужи!..

До Питера Максим неотрывно глядел на леса, бегущие стороной, на мелькающую зелень полей и все удивлялся быстроте, с которой менялись картины природы. Сказка о ковре-самолете стала явью. Как малы казались где-то внизу мужицкие подводы и стайки деревенских ребятишек под насыпью, словно игрушечные!

Только на шумном Николаевском вокзале Максим снова почувствовал себя соринкой среди суматошного народа, корзин, узлов. Камни под ногами, каменные стены вокруг, и в этом каменном котле кареты, люди, лошади, тревожные голоса, адский гомон.

«Как в преисподне!»— думал Максим, цепко держась за руку дяди Савелия.

Наконец протолкались до извозчиков, и дядя Савелий, поставив на землю сундучок, потер потное лицо:

— Как Питер, Максимушка? А?

Максим потерянно покачал головой:

— Очумелый!

— Верно. Давай извозчика нанимай!

— Я?!— удивился Максим.

— А что? Привыкай! Ступай вон к тому бородатому, говори, куда везти нас и почем брать будет. Запомнил, где жить-то будешь?

— На Киевской.

— Вот так и говори, мол, на Киевскую. Понял?.. Только смелее, столица бойких любит!

Бородатый кучер порыскал глазами туда-сюда, остановился на Максиме, поманил рукой:

— Чего опасаешься? Подходи ближе!

— Дедушка,— сказал Максим,— до Киевской довезешь?

— Могём.

— А знаешь такую?

— Знамо,— борода у извозчика задрожала в усмешке.— Это ты не знаешь. Чай, из деревни?

— Из села.

— Раз из села, тогда залазь в тарантас!

— Я с дядей Савелием.

— И дядю посажу.

Извозчик, видимо, догадался, что паренек сдает первый экзамен на столичную жизнь, понимающе подмигнул Савелию:

— Знаю я эту улицу, а как ехать туда—запамятовал! Может, научишь?— спросил он Максима.

— Давай по Лиговке, потом по Обводному на Забайкальский проспект,—без запинки ответил Максим. И бородатый извозчик удивился:

— Ого! А если по другому?

— Дальше будет.

— Не все ли равно тебе? Покатаешься!

Максим и на это знал что ответить:

— За лишний прокат — лишние деньги платить.

— Надо же! — вскрикнул извозчик. — Из молодых, а ранний. Ладно, быть по-твоему!..

Поехали, покатили! Мягко, зыбко. Цок-цок застучала подковами гнедая лошаденка, закрутила обтрепанным хвостом. А кучер все на Максима косился:

— Такого на кривой не объедешь!

В одном месте он вдруг помрачнел, осадил лошадь:

— Держись, Петров!..

Подошел городовой — важно, не спеша, усатый, пучеглазый, принялся распекать извозчика. Напоследок обозвал его болваном, погрозил кулаком:

— Гляди у меня!

После этого долго ехали шагом, потом кучер сказал:

— Ишь налетел, нехристь! Надысь на водку не дал. Теперь он начнет меня шельмовать, душегуб!

Максим поглядывал на вывески питейных заведений, булочных, лавок. Полные, худые, бородатые и бритые лица, белые фартуки, сапоги, сапожки, лаковые козырьки, шляпы, трости — все крутилось, вертелось перед глазами. Пряные запахи кондитерских смешивались с запахом дегтя и лошадиного пота. Важно вышагивали дамы с собачками на поводке. Тенью проплывали какие-то люди в черной длинной одежде. Шуршали шелка платьев, метущих тротуары. Потом яркое стало тускнеть, сереть и чем ближе к Горячему полю — тем мрачнее и беднее одежда, проще, понятнее народ...

Савелий жил в общежитии. В тесной комнатушке стояла железная койка, маленький столик, табуретка. От тесноты, от духоты и избытка впечатлений Максиму снились тяжелые сны. Первая ночь не освежила, не прибавила сил, а затуманила голову. Не росным лужком и ярким солнышком пришло питерское утро, а вонючим туманом и серой изморосью.

После чая ходили на рынок, чтобы по-городскому приодеть Максима. Купили сатиновую рубашку, перелицованный пиджачок, потом направились в обувной ряд за сапогами. И тут к ним привязался какой-то пропившийся чиновник, предлагая свои услуги «выбрать обувки первый сорт».

— Встречают по одежке — провожают по уму,—

хрипел он.— Но будь умнее самого Плевако, все равно взашей турнут, если лапотки коротки! У нас в Питере ум ни к чему. Прежде хитрить научись, иначе не проживешь. Не ты, так тебя облапошут. Здесь, сударь мой, вор на воре и вором погоняет.

Он порывисто снимал с гвоздей спаренные сапоги тонкими дрожащими руками и показывал их не Савелию, а Максиму:

— Во гляди, которая пара люба тебе? Так и знал! А у нее подметки-то бумажные! Блестит — сластит, а поймешь, когда на зуб возьмешь. Вот какие берите, износу не будет!..

Савелий его не послушал и после говорил Максиму:

— Видал хахаля? Ты думаешь, благодетель? Нет. Он вместе с сапожниками жульничает, сговорились они.

Там же на рынке купили газету и листок с объявлениями, чтобы подыскать Максиму какую-нибудь работу с заработком. Выбрали молочную лавку. Но хозяин лавки — лысый и круглый, как большой мяч,— ощупал плечи Максима, откатился и сощурился на него:

— Плох. Заморен. Не годится.

По другому объявлению были в издательстве—и там отказали по росту, по слабости.

Больше никуда не пошли. Савелий сказал Максиму:

— Ходи, гуляй пока. Привыкай к городу, присматривайся к людям. А станешь побойчее — видно будет.

И Максим обрел полнейшую свободу. Целыми днями он слонялся по окраине, все больше и больше углубляясь к центру.

Вставать с солнышком, даже в самые короткие ночи, когда чуть ли не сходится заря с зарей, он привык в селе, поэтому никогда не просыпал уход дяди Савелия на работу. Столица, просыпалась с рабочих окраин. Но в центре ее улицы долго оставались пустыми и просторными. В ранние часы скрежетали лишь лопаты дворников, шаркали метлы, взвихряя душистую пыль. Изредка попадались странные женщины с припухшими беспокойными глазами, почему-то спрашивали Максима, нет ли закурить. А то бешено промчит извозчик с компанией ночных гуляк, у которых головы в стороны и руки вразлет.

Но и ранним утром, и людным шумным днем, и рассвеченным фонарями вечером жизнь столицы продолжа-

ла оставаться для Максима непостижимо загадочной. Не понимал он ни дум, ни дел ее обитателей. Не знал, о чем разговаривают люди между собой, над чем смеются, про что ссорятся. Даже собаки удивительно отличались от сельских, отличались степенством и важностью, неожиданной злобой: ты погладь ее, а она — за руку хвать!

Спросишь у человека дорогу—пройдет, не остановится. Другой покосится и только. А третий — какой-нибудь весельчак с тросточкой — пепел с папироски собьет о Максимов нос и засмеется:

— Узнаю тебя, Россия сермяжная!..

Городовой тоже непонятный: дуется в красные щеки, глядит-глядит на Максима очумело, потом высморкается направо и налево, поочередно зажимая ноздри короткими толстыми пальцами. Не торопясь достанет носовой платок, оботрет им размашисто проволочные усы, прокашляется трубно и только тогда скажет:

— Повтори!..

И мальчишки, что крутятся у лавок и магазинов, не такие, как сельские,— проворные, хитрые. Взяли двугривенный поглядеть, да и убежали с ним. А кому пожалуешься? Дворники смеются:

— Рот не разевай!

Один говорит:

— Ты мужик. А мужик, что бык: накинь на рога веревку и веди куда захочешь!

Другой, послушав горести Максима, желание определиться на какую-нибудь должность, советует:

— Коль пусто в кармане — щенком скули, хвостом юли. А если клыки покажешь — выбьют, они у тебя молочные еще. Хвост не подожмешь, где надо,— в притворе зажмут его...

Разговорился с третьим — доверился: за пятнадцать копеек в лавку определить обещал. Тот так наставлял:

— К кому поведу сейчас — тому я кроме холеры ничего не желаю. А вот посмотришь, как перед ним плясать стану. Соображай, да если надо, черта уважай. Нужно, ау, брат!.. Теперь дальше слушай... Я с ним говорить буду, а ты на меня поглядывай. Как подам знак, так в ножки бухнись. Не бойся, спина не переломится! Да поплачь: сирота, мол, с голоду помираю...

За то, что не взяли в лавку, вина целиком легла на

Максима, потому что не всплакнул-де, в ножки не поклонился, а пятиалтынный пошел за неудачные хлопоты.

— Я заработал,— сказал радельник,— ступай, пока подзатыльник не получил.

Трудно было Максиму прозревать, постигать нравы столичной жизни. Перед ним раскрывался новый мир — жестокий, несправедливый, непонятный.

Максим до слез возмущался, дядя Савелий успокаивал:

— И плохое пригодится, Максим, не огорчайся...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В девчонке поразила Максима наглость. Деревенские, конечно, штанов не носят, но зато и не задирают подол как попало. А уж чтобы курить — так это из чудес чудо. Подходя к ней спросить ближайшую дорогу на Горячее поле, Максим старался глядеть в сторону. Она же и бровью не повела: сидела на ящике, расставив обнаженные колени, с папироской, сплевывала-цыркала слюну через ровные белые зубы далеко и резко, как из дудки.

— Пятачок,— сказала она и попыталась пустить изо рта колечко.

— Что пятачок?— не понял Максим.

— За показ! Дашь пятачок, доведу.

Максим пошлепал себя по карманам.

— Нету.

Девчонка хмыкнула в нос.

— Положим! Давай обыщу.

— На.— Максим вывернул карманы.— Ей богу, нет!

— Тоже мне!— девчонка скривила губы, но поднялась.— Пойдем... Ладно уж!..

Некоторое время шла впереди — гибкая, стройная. С этой независмой походкой и манерой держаться, она казалась совсем взрослой да еще посвистывала.

— Что тебе надо там, на Горячем поле? — спросила, не поворачивая головы на Максима, идущего сзади.

— Так, поглядеть интересно,— ответил он.— Рассказывали, будто там нечистое место... Будто там какие-то проститутки с ворами разгуливают.

— Всего хватает,— мрачно сказала девчонка.— Ты тоже, небось, украл чего-нибудь, сбыть собираешься, да?

— Не занимаюсь. Я сельский.— Максим нахмурился.

— Давно из села-то?

— Не очень.

— Тогда успеешь, научишься...

— Ни за что!

— Есть захочешь — научишься.

— Лучше домой уеду.

— А зачем приехал?

— Мастерству учиться. Дядя Савелий хочет из меня человека сделать.

Девчонка засмеялась:

— Твой дядя такой же, знать, как мой отец, хвастун. Отец мне тоже говорил: учись дратву сучить, сапожничать мне помогай, потом я из тебя баронессу сделаю. Хвастал, хвастал, да и помер от чахотки... Мать белошвейкой была, меня научить собиралась... Потом спилась... Распутничает теперь...

Девчонка замолчала. Максим спросил:

— А ты как? Кто кормит тебя?

— Так...— она шла, лениво расплетая и вновь заплетая косу.

— Из нянек ушла... Хозяин какой-то полоумный попался, защипал, защекотал... Куда деваться? Ума не приложу... Давай посидим,— неожиданно предложила она, опускаясь на хилую запыленную траву.—Устала я... Люблю на лужке валяться!

— Лужок нашла!— Максим сердито отвернулся от ее голых коленок.— Одерни платье-то...

Девчонка послушалась, натянула подол на голые колени с таким видом, словно замечание ей сделал не посторонний мальчик, а отец или мать — не придала значения.

Опускаясь рядом, Максим спросил:

— Как зовут?

— Варькой.

— Меня Максимом.

— А может, Максимкой?— пошутила Варька.

— Ну, так можно. А если тебя Варей называть?

— Не привыкла я. Меня все: Варька да Варька. И мать мою Варькой зовут.

— Ну уж!— возмутился Максим.— Варварой, наверно?

— Была Варвара, стала Варькой... Достукалась...

Склонившись, она помолчала, затем подняла на Максима круглые глаза — синие, как цветущий ленок:

— Ты любишь думать?

— Всегда думаю.

— О чем?

— О своих, о селе.

— А я о другом,— мечтательно сказала Варька, глаза ее сузились, стали еще синее.— Я о счастье думаю. Будто я барыня, с собачкой хожу, в шелках, в лорнет поглядываю... Ах, Николя! Мерси, голубчик!— это я своему мужу говорю. А он: пардон, мадам! И ручку целует у меня. Ландрином угощает. Я нос ворочу: «Ах, вредно мне, ах, потолстею!».. Потом я кошкам завидую.

— Что мышей лопают?— усмехнулся Максим.

— Нет. Для них вот какая нужна дырочка, чтобы в лабаз залезть или в лавку. В такую мне не пролезть...

— Ты плохо думаешь!— Максим посмотрел вокруг, но ничего хорошего не увидел. День был тусклый, тесный: низкое небо, за хилым лужком в тумане выступали серые дома, ни бескрайней сельской голубизны, ни настоящей зелени, грязно, дымно, все же лицо Максима потеплело. Мысленно он представил, как вместе с дедом Дементием и Андрейкой они выходят из дома, идут по тропинке на картофельное поле. Тихо, солнечно, летят журавли...

— Знаешь, как думать надо?— помолчав спросил он.— Как наш дедушка! Чтобы летать с птицами, дивное-диво видеть... Ты умеешь с журавлями разговаривать?

— Будто ты умеешь!— Варька надула розовые губы.

— Запросто!— похвастал Максим.

— Ну, попробуй!

— Нет их.

— А еслу бы пролетали?

— Спросил бы...

— Ну?

— Журавли, журавли, видите наше село?..

— Ну?

—А они: «Видим, видим»... И все-все рассказали бы!..

Это кто не знает, то, кроме «курлы-курлы», ничего не поймет у них. Дедушка говорит, надо слушать и думать...

Не совсем по-дедушкиному получилось у Максима, но все же Варьке ясно почудилось за горами и лесами далекое село, окруженное осенней тишиной опустевших полей. На опушке леса какой-то седой старик зажигал костер, а какой-то Андрейка и какая-то Даня-соловушка, девочка, похожая на птичку, подносили к костру хворост. Потом они рассаживались вокруг сиреневого столбика дыма и ели клюкву, которая растет на зябком болотце-качайся, как на качели, потому что недалеко под землей жидкая грязь...

Верилось и не верилось Варьке, что Максим доподлинно знает, как сеют рожь, из которой получается черный хлеб, как делают льняное масло и гречневую кашу. Да и как можно сразу поверить в такое, если Варька отродясь не бывала в чистом поле, в цветущих лужках, не бегала по горох, не дергала репу. Если врет Максим, то и пускай врет, но его хорошо слушать!..

По пути к Горячему полю Варька собирала окурки и в руку вылущивала из них остатки табака.

— Кнутом тебя за такое!— возмутился Максим.

— Так я не себе, матери!— оправдывалась Варька.— Она у меня и курит, и нюхает. Где на нее папирос напастись? Это я дурачилась давеча, попробовала.

Максим погрозил пальцем:

— Смотри!..

На Горячем поле к ним привязался человек — старый, морщинистый, как сушеный гриб. Спросил, есть ли чего в карманах, обещал за грош показать «умопомрачительный фокус»— проглотить ржавый гвоздь или проткнуть щеку булавкой.

Другой — большой и нескладный, отогнав «фокусника», гаркнул:

— Цветы жизни! Я преклоняю колено!— и действительно преклонил и запел-завопил, раскинув дрожащие руки:

А там вдали у стен кремлевских
Стоял он в сером сюртуке...

В свалке рылся парнишка, железным прутом ворошил какие-то мочалки. Из носа у него текло.

— Сапожников сын,— кивнула на него Варька.— Его отец безногий, нисколечко ног нет.— И крикнула.— Эй, индюк, хочешь березовой каши?

Парнишка не ответил. Варька подошла к нему, покачала его ногой, неустойчиво сидевшего на корточках:

— Оглох?

— Нет.

— Там был?— она показала в сторону.

Парнишка шаркнул под носом грязной ладошкой:

— Чего?

— Беса видел?

— Там он.

Осмотревшись, Варька сунула в рот два пальца, пронзительно свистнула. Скоро верхом на палке, помахивая сзади себя прутом, прискакал тот, кого звали Бесом. Это был сухонький мальчик, с бескровным лицом, с большими оленьими глазами, какой-то решительный и готовый. Мельком взглянул на Максима, на Варьку:

— Зачем понадобился?

— Можно к тебе?

Бес нахмурился и отозвал ее в сторону. Там исподтишка погрозил ей быстрым кулачком, начал что-то жарко доказывать, косясь на Максима. Варька спорила с ним, шептала в его большое ухо.

Бес исчез так же незаметно, как и появился. На влажной и мягкой земле остались следы его босых ног и мокрое пятнышко, куда он по-варькиному плюнул через щелку крупных белых зубов.

— Заговорщика из себя строит!— сказала Варька с обидой.— Тебя за провокатора принял. Ругается, зачем привела...

Большего в тот раз Максим не узнал о Бесе. Лишь много позднее, взяв слово молчать, Варька поведала тайну Беса. Мальчик с оленьими глазами оказался «бунтовщиком», в которого стал играть на Горячем поле после того, как его отца осудили и сослали в Сибирь...

Дядя Савелий ни в чем не стеснял Максима: кормил, одевал, обувал и ничего не требовал. Не ограничивал и в выборе друзей. О Варьке и Бесе отозвался положительно: «Хорошие ребята». Не осудил и то, что Бес иг-

рает в «заговорщика». Он только посмеялся над этим, погладил смущенного Беса по голове:

— Знал я твоего отца. Герой твой отец! И тебя знаю, ни за какого Беса от меня не спрячешься, ты Салька, Соломон Владимирович, значит! Что?..

А Варьку попросил познакомить его с ее матерью:

— Приведи ее как-нибудь, поговорить надо...

С тех пор Максим был посвящен во все тайны Салькиного «заговора», но игры в «бунтовщиков» ему не нравились. Он рвался на работу, чтобы самому зарабатывать деньги и посылать домой, откуда приходили тревожные письма. Сильно жалел Андрейку, которого отец спровадил в работники к Нифонту. «Запрягли мальчишку,— писал дед Дементий,— не видит света Андрейка наш!»

— Чего ты, дядя Савелий, выгуливаешь меня?— как-то сказал Максим.— Когда обещал к месту пристроить!

— Как это «выгуливаешь»?— засмеялся Савелий.

— Телят выгуливают, чтобы мясо жирное было.

— Вон что! Но у нас с тобой, как раз обратное: я хочу, чтобы ты из сельского теленка городским человеком стал. Понял? Твой дедушка Дементий сделал из тебя маков цвет, «среди долины ровныя»... Сперва примись на нашей питерской земле, она каменистая, друг мой, суровая... Займемся пока грамотой...

За зиму Савелий и его друзья с литейного завода научили Максима читать и писать, решать задачи, в которых требовалось подсчитывать доходы купцов и фабрикантов... Книги же настолько захватили Максима, что он целиком ушел в новый мир человеческого горя и радостей и увлек за собой Варьку и Беса. Читали все, что попадалось под руку, даже газеты... И когда, увлеченный книгами, Максим совершенно забыл про необходимость зарабатывать, дядя Савелий напомнил:

— Знаешь такое слово «форейтор»?

— Знаю,— ответил Максим.— Это на конке.

— Верно. Теперь ты станешь этим самым форейтором, завтра на работу! Доволен?

— Еще бы!— обрадовался Максим.— Домой напишу — не поймут!

— Да, словечко такое, что если скажешь погромче— человека напугаешь!..

На конке в обязанность Максима вменялось стоять с лошадью на линии у Аничкова моста, на подъеме. Когда конка поравняется с ним, он должен на ходу приспособить к ней свою лошадь и так же на ходу вскочить на нее. А в конце уклона, не задерживая движения, успеть спрыгнуть с лошади, отстегнуть ее и перейти на другую сторону, чтобы встретить конку, идущую в обратном направлении.

Дело не пошло с первого дня: то заглядится Максим, опоздает, то помешает кто-нибудь. На подъеме еще ничего, но под уклон совсем трудно управиться: ведь лошади в это время крупной рысью бегут! К тому же они сильные, высокие, того и гляди угодишь под колесо.

Сперва вроде терпели оплошности Максима, потом чуть чего покрикивать стали, подзатыльники сулить.

К концу дня ломота в руках, голова гудит. Не передохнуть, только и слушай:

— Живее!

— Пошевеливайся!

Как ни старался, а негодным признали. Уволили. Но дядя Савелий не огорчился:

— Была бы шея, а хомут найдется!..

И он повел Максима к знакомому владельцу чайной на Шпалерной улице.

— Думаю, тоже не покажется,— говорил он,— но попытки — не убытки. Пробуй, Максим, свои силы, пока дядя жив и здоров!..

По дороге не то шутил, не то говорил правду:

— Хорошо, что знакомый мне этот паук. Пришлось бы тебе, Максим, в ноги ему кланяться! Любят человека унижать, подлецы!

— Врешь, дядя Савелий — не верил Максим.

— Подожди, узнаешь!..

Пили чай и рядились. Обслуживал половой — рыжий верзила, чуть ли не до потолка ростом. Подавал отменно вежливо, угодливо, словно хотел сказать этим: вот как надо! Лишь отойдя подальше, фыркал и строил рожи, смеша других половых. Потом уж Максим узнал, что он его разыгрывал: в судомойки-де нанимается, а с хозяином за одним столом чай распивает!..

— Работать с семи утра до двенадцати ночи,— говорил хозяин чайной, помешивая ложечкой в стакане, и тоненький голос его никак не шел к его грузной фигу-

ре.— После двенадцати — полы мыть... А спать... Пожалуй в судомойке разрешу, на суднице. Бросил дерюжку и храпи на здоровье. Тепло и, как говорится, мухи не кусают... Жалованье три рубля положу. Харчи — мои...

Хозяин приподнимал темную густую бровь, на миг показывался его желтый глаз, словно таракан в потолочной щели.

— «Ого!— думал Максим и сердито поглядывал на лаковые носки сапог, ухватом поставленных под столом.— За эти три рубля тебе в рыло сунуть, а не в ножки кланяться!».

Но хуже, гнуснее этого белого паука оказалась хозяйка — тощая, с грачиным носом крикунья. Все-то подсматривала она, подслушивала, подсчитывала, подозревала, словом, не давала никакого покоя. Получил на чай — неси ей. Есть стал — в миску заглянет, ложкой поворошит в ней — не положил ли лишнего.

— Знать бы, что в головах-то у вас!— сожалела она.— Насквозь бы проверить, идолов!

— А зачем?— как-то нечаянно вырвалось однажды у Максима.

И хозяйка окинула его властным уничтожающим взглядом:

— Спала бы спокойнее!..

Не между огней пришлось жить Максиму, вернее сказать: в котле кипеть, в смоле вариться! Тут еще не проснулся как следует, посуда из рук валится, а бой даром не проходит: чашка чуть-чуть треснула, у тарелки краешек с ноготь отлетел — плати как за новую, хотя и не заменят другой. Все записывала дотошная хозяйка, строго за бой высчитывал хозяин. Максимову получку рыжий половой так подсчитывал: выставлял перед собой левую руку с растопыренными тонкими пальцами, а правой их загибал.

— Значит так,— начинал он с мизинца,— на ложку наступил и переломил ее — раз. Носок у чайника отбил — два. Плохо посуду помыл — три. Хозяйке не угодил — четыре...

Тут он уже загибал сразу два пальца — указательный и средний, и показывал Максиму кукиш:

— Видел такую арихметику?!..

Хозяин, глядя скорбно, брал маленькие счеты на медных проволочках, вздыхая, садился за конторку, крестил бледное, дряблое лицо:

— Господи, благослови...

Желтым граненым ногтем левой руки чертил по списку, а ладонью правой гонял колесики — туда-сюда, туда-сюда, да так прилежно, что кончик синего языка высовывался.

Туда-сюда, туда-сюда, глядишь, от трех рублей и правда кукиш остался!

Рассчитывать начнет — кошелек в руках ходуном ходит, вот-вот вырвется, упорхнет, как черная птица, хоть и держит он его цепко.

Кормил же одной гречневой кашей да норовил какие-нибудь остатки подсунуть. «Добро не должно пропадать»...

Рыжий постоянно наушничал, а Максима подговаривал на разные проделки. Что бы ни случилось—он всегда в стороне.

— Слыш-ка, Максимка! Попьем чайку с вареньем?

— Нельзя, хозяйка соломинкой замерила!

— Полно, дурак! Воды добавь!

Другой раз нашептывал, зная, что в это время с противоположной стороны, встав на четвереньки, приставив ухо к щели между порожком и дверью, подслушивает хозяйка:

— Слыш-ка, а тебе не плеснуть под дверь кипятком!

— Отчего это?

— Силов не хватит!..

Заслышав свист с улицы, Максим завертывал в бумагу что-нибудь съедобное и через окно бросал в крапиву. Так же и гречневую кашу кидал—пригорелую, спекшуюся в комок, и горбушку черного хлеба. Салик с Варькой не брезгали ничем. Немного отбежав, они торопливо набивали рты, улыбались Максиму. Глядя на них, он тосковал о свободе, завидовал им в душе. Выходные ему полагались всего лишь два раза в год — в пасху и рождество, с утра до обеда. От беготни стали болеть ноги, а по утрам отнимались вовсе.

«Неужели есть люди, которые досыта спят?»— с тоской думал Максим, ложась поздней ночью на свою убогую постель.

Будить приходил сам хозяин. Чтобы Максим поскорее приходил в себя, он кулаком стучал ему в голову:

— Чем побудка ежее, тем в глазах свежее. Постойка, я тебе слева еще поддам!

Но если не помогало и это, то хозяин стаскивал Максима с судницы на пол. Максим ползал по полу, как слепой котенок, ходил на четвереньках, натыкаясь на ведра и лохань. Потом поднимался в рост и стоял, покачиваясь. Перед глазами в радужных кругах расплывалось плоское лицо хозяина. Казалось, откуда-то издалека доносился его голос:

— Смех и грех с тобой! Да проснись же, тетеря! Народ скоро повалит...

Свет керосиновой лампы, как острое шило, больно колол глаза, колени подгибались, голова падала в бездну.

Сзади подталкивал хозяин к рукомойнику с холодной водой:

— Работничек! На ходу спишь! Погляжу-погляжу, да и прогоню к ядреной бабушке!

У Максима появлялось желание закричать, ударить хозяина. Думалось, что все беды, все горести земли происходят именно от одной этой лысины, лоснящейся деревянным маслом. Как же неприятен он был в такие минуты!..

Два раза в день Максиму приходилось очень далеко носить помои хозяйским свиньям. Деревянные ведра вырывали из плеч руки, а хозяину и горя мало:

— Ничего, вместо прогулки пробежишься!..

Варька с Бесом старались приходить к Максиму, когда подходило время нести помои. Ведра вешали на две длинные палки, и поскольку Варьке и Бесу требовалось по одной свободной руке, то они располагались по бокам, а сам Максим—за коренника. И вот такая тройка, изгибаясь, торопливо жуя, разговаривая и шмыгая носами, лихо семенила к хозяйскому свиннарнику.

Понесут-понесут, остановятся. Передохнут. Посоветуются, как ловчее отомстить хозяину за Максимовы муки.

— Нужно свиней уморить!— советовал Бес.

— Отравы не найдешь,— сожалела Варька.— Разве что дегтем?..

— Пробовали. Лопают свиньи деготь, хоть бы что!

— Дураки мы!— как-то осенило Беса.— Уморим!

— Чем?

— Беленой, вот чем! На Горячем поле ее пропасть.

Я сам объедался: глаза под лоб закатывал, без памяти был!

— Но прошло?— уточняла Варька.

— Не прошло бы, молоком отпоили! А свиньи, думаешь, сообразят, что ложку в горло нужно пихать, чтобы рвало? Верное дело!

Подкладывали в помои белены, не подействовало. Но в конце концов хоть и небольшую победу, а отвоевали. Была она уж очень простой и доступной, как же не пришло это в голову!..

— Глядите, что я сейчас сделаю!—восхитилась Варька свой мыслью.— Считайте до трех!.. Раз! Два! Три!..

Максим с Бесом еще не успели ничего понять, как Варька опрокинула ведро в небольшую, но глубокую яму.

— Так будем делать всегда.

— Умна! Ничего не скажешь!— возмутился Бес.— Такое любой дурак придумает.

Порассуждали, к чему это может привести, поспорили и согласились с Максимом: отливать в яму по полведра. С такой ношей можно кое-где пробежаться, чтобы сэкономить время и потратить его на дружескую беседу — посидеть в укромном местечке, где Бес захлебывающимся шепотом расскажет удивительные вещи про своего отца, сосланного в Сибирь. Ведь тот не то что разбойником был, грабителем, а «политическим»! Против царя шел! На революцию народ подговаривал!..

— Придет с работы ночью, окошко занавесит, сидит вот так... пальцы в волосы. Лицо сделает злое и глядит в какую-то книжку... И приятели у него первый сорт были...

— А тот, что деньги тебе дает?— спросила Варька, и Бес вдруг сжал кулаки.

— Забудь! Язык оторву!..

Рассказывал и про то, как однажды нагрянула к ним охранка.

—Чистые кобели! Рыщут по каморке, стены выстукивают, кидают на пол что в руки попадет. Я боюсь. А отцу хоть бы что! Стоит — посмеивается. Потом прямо при охранке подает мне свои валенки и говорит: «На, пол-то холодный, простудишься босиком, надень». Я ноги туда. А там... в одном что-то железное... в другом — еще что-то!.. Скорее смекать давай, да как зареву! Зареву, будто

с перепугу на двор захотел. Ору, как резаный, брюхо придерживаю. Надоел им, знать, хуже горькой редьки, совсем оглушил!.. «Где сортир-то у вас?»— спрашивает один. На улице, отвечаю. Тогда он берет меня за это место, к двери волокет. А там «боть» мне по этому месту коленкой. Я — пробкой. А на улице — валенки в руки и поминай как звали!..

Как не интересно было слушать Беса, но Максиму дремалось, и Варька подставляла ему свои жесткие коленки:

— Приляг на минутку...

— Усну, ведь,— позевывал Максим.

— Я не дам долго, хоть тяжесть свалишь.

— Давайте, робя, у хозяина прибавку просить!— предложил однажды рыжий.— Я слышал, на заводе рабочие так делают: прибавляй и никаких! Не прибавишь — работу бросаем. А мы что? Сымем фартуки в самый обед — и шабаш!..

Его поддержали другие, но все занекали, когда нужно было решить, кому первому затевать разговор с хозяином.

— Давай, Максим. За нами не станет. Один за всех, все за одного!..

— Верно!— поддакнули остальные.— Он новенький. Молодой. Если что — по глупости, мол...

Решили, и Максим пошел. Хозяин слушал его сбивчивый ультиматум спокойно, лишь поглаживал свой круглый живот, поводил носом.

И вдруг неожиданно коротко ткнул кулаком в подбородок:

— А этого хочешь?!

Больно, не больно, а губу Максим прикусил. На рукаве рубашки, после того, как он утерся, осталось красное пятнышко... Рыжий половой первым подоспел, но не заступаться, Максима давай распекать:

— Ишь что надумал, сукин сын!— и к хозяину.— Он средь нас что василек во ржи, осмелюсь доложить: красив, душист, а пользы никакой, сор один.

— Расчет?— спросил хозяин.

— Расчет,— сказал Максим, щупал языком припухшую губу.

И тот было извлек уж из кармана черный кошелек,

зазвенел было мелочью, но, подумав, решительно щелкнул запорчиком:

— С дядей твоим рассчитаюсь, с Савелием. А он уж с тобой как хочет рассчитывается!..

Первой мыслью было пойти и найти дядю Савелия, рассказать о случившемся. А что толку? Дядя посмеется и скажет: «Отдыхай». Отдыхать, конечно, не плохо, но кто же будет помогать родным?

Максим бродил под питерским хмурым небом — потерянный, тоскливый. Сердце его было там, где на крылечке сидит дедушка Дементий и смотрит, как Даня-соловушка собирает желтые одуванчики, сплетает венок и примеряет его на свою голову. Эх, посидеть бы рядом с дедушкой, почувствовать его легкую руку на своем плече!.. «Погода-то, а?!— сказал бы он.— Утри по чернику пойдем, Максимушка, рано разбужу!» Мысленно Максим забегал в избу, мать отрезала ему кусок черного хлеба, осыпала его из деревянной солонки крупной солью, и они с Андрейкой наперегонки мчались в рощу. В ушах свистел ветер, вздувалась на спине рубашка... Как давно это было! Сколько прошло с тех пор лет и зим? И вот вновь лето. Под окошком вновь сереют дикие камни, цветут мальвы, краснеют рябины... Какая же сила разлучила Максима с высокой лазурью небес, с лужками и перелесками? Что держит его среди серых каменных стен?.. Ничего бы не сказал против дядя Савелий, если бы Максим попросился домой, но попроситься — значит не сдержать слово. Ни тогда, когда еще собирались в Питер, ни теперь, ни на будущее дядя Савелий не сулил и не сулит легкой жизни. Он только советует: «Постигай, не сдавайся, Максим, подчиняйся воле, не дружи со слабостью». Дядя Савелий ничего не требует, но почему же хочется ему доказать, что он, Максим, не лыком шит, сельский, но не теленок?.. Максим чувствует, что дядя Савелий чего-то ждет от него, хочет, чтобы Максим познал Питер, жизнь Варьки и Беса, этот адский труд в столовой, городовых и господ, таких, как его товарищи с литейного, и таких, как рыжий верзила— презренный доносчик и трус. Да, Максим это хорошо чувствует, хотя разговора об этом никогда не было между ними... Не в том ли разгадка, что дядя Савелий сказал вчера: «Учись, Максим, быть человеком!»? Почему

он все чаще и чаще напоминает о том, как к дедушкиной закваске в Максимке не хватает еще Беса и Варьки? Понятный и близкий сердцу дядя Савелий... и совсем непонятный...

Конечно, глупее, чем теперь, был Максим раньше, но все же видел дорогу, которая ведет к мастеровому человеку. И дядя Савелий говорил так: «Будешь, Максим, мастеровым, свет увидишь. Это тебе не мужик-вахлак!» Где же свет, где же дорога? Нет, дядя Савелий завел его в темный лес и не говорит, как выйти из этого леса... Непонятный дядя Савелий!..

Но Максим не одинок все же, у него есть верные друзья! Надо пойти к Варьке — к девчонке с глазами, как цветущий ленок... Надо пожать тонкую руку Сальки — этого настоящего Беса, доброго, смелого.

Варькина мать — растрепанная женщина с отекшим лицом — развешивала какие-то тряпки по веревке, натянутой от барака к бараку. Подле нее, держась за стенку, еле стоял сильно исхудалый человек, часто дыша раскрытым ртом, в горле у него пищало, хлюпало. Босоногая старуха толкла кирпич и чистила им помятый медный самовар. У мусорных ящиков играли маленькие дети. Над их лохматыми головами вились крупные зеленые мухи. Было тихо и душно.

— Знаю я эту чайную,— еле выговорил задыхающийся человек, услышав разговор Максима с Варькиной матерью. — Она Осокину принадлежит. Служил я у них. Не знаю, как этот, а покойник лих был...

— На елке — иголки, на кусту — ягода,— грубым пропитым голосом сказала Варькина мать и продолжала, улыбаясь Максиму:— А из тебя, чертенка, знать, тоже черт вырастет, как из моей Варьки! Накось, отчудил, забастовщик! Это вон на заводах так-то пролетарии бунтуют. А ты комарик еще, Максимка! Хитрить учись, коль силы мало...

— Хитрить не хочу,— возразил Максим.

Варькина мать отжала тряпку, встряхнула ее:

— Чего бы понимал!

— Понимаю. Кривда час живет, а правда вечно!— вспомнил Максим пословицу деда Дементия.

— Пословица — пословицей, а жизнь — жизнью,— отирая подолом красные кисти рук, обреченно сказала

женщина.— Те, которые правдой прикрываются—больно кусаются. Родимся человеками, а потом всю жизнь на свинью учимся... Варька! Да где ты?..

— Тут!— послышалось из-за бараков.

— Иди, полюбовник пришел!

— Дура ненормальная!— обиделась Варька.— Попросишь вот покурить, дулю получишь!

— Смеюсь я, чего взъелась?— женщина потупилась виновато.— Строгая она у меня...

Из-за угла показалась Варька, покосилась на мать:

— У-уу, проклятая!..

С тревогой встретила Максима, ведь они с Бесом только что собирались к нему помогать нести свиньям пойло.

— Пойдем,— сказала она, не желая спрашивать при матери. Но та предупредила:

— Не секретничай. Я все знаю. Поперли его.

— Закройся!— огрызнулась Варька и увела Максима туда, где Салик играл с мальчишками в чехарду, за барак.

Они погоревали и стали думать, как с хозяина чайной все же получить заработанные деньги.

— А он не отлупит?— спросила Варька.

— Это как пить дать!— Бес далеко плюнул через зубы.— Если идти, то всем вместе.

— Правда!— подхватила Варька.— Я исцарапать, искусать могу. А ты, Бес, возьми городошную палку и прямо по лысине, коль драться начнет!..

Решили и помчались воинственные. Максим вошел в чайную, а Варька с Бесом спрятались за неплотно прикрытой дверью. Но зря она кусала губы, чтобы сильнее разозлиться, напрасно дрожала рука Беса, сжимавшая палку,— хозяина на месте не оказалось. Вслед за Максимом вышел из чайной улыбающийся рыжий.

— Достукался?

— Молчал бы!— нахмурился Максим.

— А чо?

— А то. Научил да в кусты. «Поддержим», «поддержим». Иуда!

— Штаны поддерживай,— пригрозил рыжий верзила.— Не то спущу!

— Попробуй!

— А чо?

— В рыло получишь!

— Тык давай.

— Тык нагнись, каланча.

— То-то и оно, что не дорос,—уже мирно сказал половой и, зевнув, собирался уйти. Но Бес остановил его:

— Дяденька, а ты правду говоришь, что достукался. Этого субчика я знаю,— указал он на Максима.— Вот послушай...

Отбросив палку, пряча правую руку за спиной, а левой показывая, чтобы половой нагнулся, мол, что-то скажу по секрету. Бес подошел вплотную, и как только рыжий верзила доверчиво подставил большое ухо, Бес проворно мазнул его по лицу тем, что держал в руке.

Половой кинулся было за Бесом, но не смог пробежать и пяти шагов — у него началась сильная рвота, с криком, со стоном.

— Чем ты его?— спросила Варька, когда они с Максимом догнали товарища.

Салик хохотал и отирал о траву испачканную руку.

— Собачьим!

— То-то проняло его!— удивленно и радостно воскликнул Максим.— Ну, Салька! Ну, Бес настоящий!

Придерживая живот и вскрикивая истошно, Варька долго каталась по земле. Пыталась сесть и что-то спросить, но снова падала навзничь:

— Ой, уморил! Ой, Салька!.. Где ты взял?— наконец выговорила она.

— Пока они спорили, рядились, кто кому, а я и приглядел... Дай, думаю, рыжего кобеля накормлю!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Эта столовая, в которую дядя Савелий устроил потом всех троих — Максима и его друзей,—была не хуже и не лучше, чем на Шпалерной улице. Зато обедали в ней новые люди. Этих людей объединял не только внешний вид, одежда, они очень похожи были друг на друга вообще: подобранные, с сильными жилистыми руками, с энергичными откровенными лицами, похожие друг на друга в движениях и мыслях.

И шутки их были иными, чем приходилось доселе слышать Максиму. И разговоры не те, и смех другой. Глядеть на таких — хорошая робость брала, уважение

в душе поднималось. Словно апрельский ветерок врывался в залы, когда входили они. Что-то предгрозовое, тревожное вносили они с собой...

«Так вот кого называют рабочими и пролетариями!»— восхищенно думал Максим.

Среди столующихся были пожилые и молодые и такие же, как сам Максим, только бойчей, напористей.

Особенно понравился коренастый паренек по имени Санька. Может, за независимый вид, за умение подражать взрослым, за веселое озорство из всех его выбрал Максим. Как-то по-особенному умел Санька никому не давать покоя — видеть всех, задевать шуткой, словом.

«Он что-то надумал, что-то сейчас вытворит!» — думал Максим, глядя на Санькино лицо, освещенное теплым внутренним светом. Все в нем нравилось Максиму: его большая голова с жесткими красными волосами, быстрые глаза и пиджак с чьего-то могучего плеча, и то, как он шарил в карманах, когда искал что-нибудь в них.

— Веретено!— уважительно отмечал он Саньку.

Варька почему-то прозвала его «старичком». А Салька — «скоморохом». Но обслуживали охотно и старались подать погуще и пожирнее.

— Влюбилась?— говорил он Варьке, подмигивая.

Она показывала кончик языка:

— Договоришься, другой раз воды налопаешься!

Но он не обижался, только лишь ухмылялся да покачивал большой головой, когда пил насоленный чай:

— Разбойники!..

Другой раз напускал на себя Санька отменную серьезность, ловил Максима за рукав и спрашивал строго, будто впервые видит:

— Постой! Ты что тут с плошками носишься?

— Надо и ношусь!

— А ты кто?

— Ну, подавальщик.

— Что ты?! Слышь, подавальщик, а отчего на столы натыкаешься?

— Устал.

— Устал, так слушай меня, я никогда не ошибаюсь: ты не уважаешь себя, молодой человек! Поясняю: если бы уважал, то не был бы половым, а на нашем литейном работал шишильником. Вразумел?.. — и кричал вслед.— Поверь мне, я редко ошибаюсь!..

А узнав, что у Максима на литейном работает дядя, схватился за волосы, изобразил страшную рожу:

— Ну, братец! Кто же из вас того... Ты или дядя?..

— Тетя!— обиделся Максим.— Рыжая!..

С тех пор Максим и его друзья долго «постили» Саньку, а он мужественно нес «крест», пока какими-то путями не узнал, кто же является Максимовым дядей. Однажды пришел особенно приветливым и улыбчивым. Подозвал Варьку и, помешивая ложкой жиденькие щи, спросил:

— Влюбилась?

— Как всем,— строго ответила она.— А что бы тебе?..

— Именно как всем! А знаешь, чего я заслуживаю?.. На твоем месте я сплески бы налил в эту миску. Да муху кинул! Поверь мне, я редко ошибаюсь.

— С чего бы?— усмехнулась Варька.

— Ошибся. Максима оскорбил. Дядя его ведь Сочнев! Понимаешь? Сочнев! Савелий Димитрич! Поняла?.. Нет, на, оттаскай меня за виски, пожалуйста! Не бойся, при людях валяй!..

Пообедав, сам подошел к Максиму, дружеским жестом подал крепкую руку:

— Прости, брат! Опростоволосился я. А к нам на литейный по-прежнему буду звать. Сам поговорю с Савелием Дмитричем.

Савелий Дмитрич, несмотря на позднее время, лежал на койке с книгой в руках, по-видимому, поджидал Максима.

— Хлопочут за тебя!— весело сказал он ему.— Поздравляю с новым хорошим другом!

— С Санькой?— спросил Максим.— Я думал, он зря.

— Нет, он человек слова. Боевой!

Максим разделся и лег на свою койку, положил под голову руки. Было желание поговорить с дядей, но в сон клонило.

— Ты хоть бы, дядя Савелий, рассказал мне, что такое завод,— сказал он и начал задремывать, и то ли снилось потом, то ли действительно слушал дядю, только ему представлялись огнедышащие машины вроде паровоза. Будто бродят эти машины и дымно чадят, и сорят звездными крошками. А за ними ходят люди, покрикивают, как пастухи на стадо. У каждого в руках же-

лезная клюка: не слушается машина, тогда клюку человек сует ей в пасть. Машина от этого страшно огрызается, ярится, клокочет, но подчиняется, пятясь в дальний угол...

Разговор состоялся ранним утром, когда Максим засобирался на работу в столовую.

— Максим, ты слушал меня или заснул сразу?— спросил дядя Савелий.

— Наверно, уснул,— ответил Максим.— Чего-то невообразимое снилось. Другого не помню.

— Я подумать тебя просил. Может, действительно, на завод пойдешь?

— Может, рано еще?— усмехнулся Максим.— Может, я еще сельский теленок?..

— Злопамятный ты, однако!— засмеялся Савелий Дмитрич.— Скажу так: дедушкин теленочек в тебе еще есть, но на завод пора... Годишься. Первое ты осилил. Второе — завод. Третье — посмотрим...

— Ты думаешь, я слабее Саньки?— не понял его Максим.— Попробовал бы он в столовой!..

— Физическая слабость — не порок. Беда, коль силы души нет... характера...

— А что он?— продолжал Максим.— Подумаешь, шишильник!

При других обстоятельствах он бы не сказал о Саньке так пренебрежительно. Дело в том, что ему стало обидно. Почему дядя Савелий ни разу не похвалил его, Максима? Почему он не желает сравнить его даже с Санькой?.. И Варька лучше, и Бес лучше. Чем же?..

В минуты огорчения Максиму всегда вспоминался родной дом, который покинул он неизвестно зачем. Идет год за годом, а Максим и семье не помог, и не научился никакому мастерству. Может, не стоит вязаться с заводом, может, махнуть рукой и уехать из Питера?.. Хорошо бы, конечно, заявиться в село не с пустыми карманами, заявиться так: «Получай-ка мама, подарочек! Вот тебе, Андрейка, а это тебе, дедушка! Дане-соловушке — ленту алую в косы, отцу — кошелек и на рубашку сатину. Получайте, глядите, каков Максим-то ваш стал!»

Да, стал бы. Да, знать, не захотел дядя Савелий... И горько Максиму, что не может он осуществить мечту.

— Дядя Савелий, ты чего-то хитришь со мной!..— вырвалось наконец у Максима.

Савелий Дмитрич после этих слов быстро поднялся и, сидя на койке, долго и пристально смотрел на племянника.

— Если надоел — отошли меня,— влезая в рубашку, продолжал Максим.— Поеду отцу помогать.

Савелий снова промолчал. Ему было чуть-чуть обидно, что где-то ошибся в своих взаимоотношениях с племянником, увлекся «методом свободного воспитания» и «закалкой сельского теленочка городской жизнью». Но больше радостно: Максим заговорил собственным голосом! В Максиме появился человек! И он позвал его к себе, попросил сесть рядом:

— Максим, я буду тебя спрашивать, а ты отвечай мне. Отвечай одну правду. Договорились?..

Максим мотнул опущенной головой.

— Ты хочешь зарабатывать деньги, они у тебя главное?

— Все за деньги,— буркнул Максим.

— Понятно. А если бы у тебя было много денег?

— Домой бы уехал.

— А деньги на божницу положил?

— Отцу бы отдал.

— И он бы разбогател, помещиком стал?

— Чудной, на помещика не заработаешь!

— Положим, стал бы богатым крестьянином, а дальше?

— Не знаю,— сознался Максим.

— А я знаю. Вы с отцом открыли бы чайную или кабак. Взял бы половым такого же, как ты, Максима. Спал бы он у вас в судомойке. Платили бы вы ему гроши. Кормили объедками и за каждую провинность награждали подзатыльниками!.. Ты хочешь этого?..

— Нет,— твердо ответил Максим.

В глазах у Савелия Дмитриевича вспыхнули радостные огоньки, и он продолжал:

— Я тоже не хочу, Максим, чтобы так было. Но это будет, пока заводы у капиталистов, а земля у помещиков. Пока правит нами царь-батюшка. Я это понял. А ты поймешь, когда поработаешь на заводе!.. Теперь еще спрошу: где лучше жить — в селе или в городе?

— В селе,— сказал Максим, потому что в голове промелькнули светлые видения детства — не то, как надоедал отец молитвами, не то, как он приучал к работе в поместье Лунина, а то, что связано с материнской

лаской, с дедушкиной влюбленностью в свободу полей и лесов, все, что связано с его дивным-дивом.

Понаблюдав за Максимом, за тем, как просветлело его лицо, Савелий сунул под подушку руки, достал конверт:

— Я не хотел огорчать тебя, Максим, да лучше уж сразу, чем исподволь... На, почитай...

Это письмо было от деда Дементия...

— Читай вслух,— глухо сказал Савелий и отвернулся.— Читай вслух...

От конверта и письма нежно запахло сеном. Но не о том сене подумал Максим, которым была набита подушка дяди Савелия, а о том, что косили в редком березовом лесу по солнечным полянкам, вокруг кустов жимолости и орешника.

— Читай вслух,— говорил дядя Савелий.— Чего ты?..

А Максиму виделась зима с колким инеем на елках, на пустых грачиных гнездах...

По хрусткому снегу они с Андрейкой идут в сарай за кормом для лошади и коровы. Максим везет большие санки, Андрей несет ключ от замка. Среди белых голых яблонь в огороде тараторит сорока. Над избами прямехонькие пахучие дымки. Остро щекочет в носу пригорелой картошкой...

— Андрейка, гляди, ключ не заморозь!..

— А как его, за пазуху, что ли?

— Греть нужно.

— Как?

— В рот возьми кончик-то!..

Настынувший ключ моментально примораживается к губам. Андрейка глухо воет, потом вскрикивает, отрывает ключ вместе с кожей языка и губ. Плачет и сплевывает на снег кровавую слюну. С крыльца сбегает мать — раздетая, в старых больших валенках, увязая в сугробе выше колен, тревожно спрашивает: «Чего там у вас, разбойники?»...

Ясное и до боли родное поле манит, ведет тропинкой среди зацветающей ржи. Максим с Андрейкой срывают колосья, прячут их под рубашки и удивляются: спрячешь под подол, у пояска, а колосок через некоторое время очутится около ворота — ползает, как живой!.. А если в ухо его пустить, наверно он выйдет в другое? Попробовали, задали хлопот деду Дементию!..

У Максима вздрагивает в руках письмо, душат слезы. И наконец он собирается с силами и начинает читать дедушкино письмо:

«Милостивый государь, свет мой, Савелий Митрич, соколик мой ясный, Максимушка, кланяется вам Феодосья Дементьевна, Андрейка с Дарьюшкой, Илья Степанович, а пуще того — я, горемычный! Который раз прилетали и улетали перелетные птицы, который раз покрывалась земля бел-снегом и травой-муравой, а вы все не кажетесь. Уважьте старика, милые, погорюйте с ним, попечальтися...»

Ну, всхлипнул бы Максим разочек, передохнул бы и вновь начал... Зачем же обнял его дядя Савелий, зачем же погладил его, чудак, по вздрагивающей спине?.. Взревел Максим, словно маленький, сунул письмо в карман и убежал со стыда на работу. Эх, дядя Савелий!..

Пойдет ли работа на ум, когда письмо не дочитано, когда память сладко казнит воспоминаниями!..

— Отстань,— сказал Максим озабоченной Варьке.

— Да что вы привязались?!— оборвал душевного друга Салика, потому что боялся расплакаться вновь.

— Болен?— придя на обед, придержал его Санька за руку.

И этого обидел:

— Лопай да помалкивай!..

Весь день Максима звало дедушкино дивное-диво. Оно по-другому — резко и с мельчайшими подробностями вернуло памяти сутки перед отъездом в Питер, проведенные, по предложению деда Дементия, в «чистом поле». Не отдавая отчета в том, действительно было так или нет, грезится это, или былое, давнее воскрешает повзрослевшее чувство, Максим очутился на телеге рядом с дедушкой и с Даней-соловушкой, спиной к спине с Андрейкой и дядей Савелием. Кругом необозримые дали, позолоченные предзакатным солнцем. Дорога разрезает овсяное поле и далеко впереди теряется в березовом колке.

Буланчик бежит ходко. В лицо бьет теплый ветер. Воздух погожего вечера наполнен запахами сенокосной поры, когда начинает подсыхать на огорочках переспелая клубника. Опьяненные винным настом ягод, ослеп-

ленные жизнью, неистово стрекочут кузнечики. То близко, то далеко впереди перед колесами перебегают дорогу перепела. В каком-то особенно плотном и густом небе, как игрушечный, с недвижными распростертыми крыльями висит соколенок. Но воздух так прозрачен и чист, что отчетливо видно, как птица крутит головой, что-то высматривая в посеревших овсах.

За телегой тянется бурый хвост пыли. Этот хвост замел, скрыл встретившихся двух босоногих парнишек, с завистью поглядевших на Максима. Потом в этой пыли затерялась женщина в красном платке, белой кофте. На повороте в луга с визгом и смехом шарахнулись в сторону три девушки с кузовками.

— Надо же! Чуть не наехали!— взмахнула руками одна из них.

Они остановились по пояс в траве и смотрели оттуда удивленно, насмешливо, но были такие милые, свежие, как и синие высокие цветы вокруг них, как удивительно крупные белые ромашки.

По предложению деда Дементия уже в сумерках слушали тишину. *Да так все затаились, напряглись,* стараясь взять ее, что даже Буланчик не встряхивал удилами, только вострил уши и умно глядел на запад. Просверлил, продырявил стынувший воздух какой-то жук, спеша на гнездо, прошуршали над головами запоздалые горлинки и больше ничего, кроме стука собственного сердца и ощущения своей малости в огромности мира.

— Уметь надо!— радостно засмеялся Дементий.— Ить как надо: прежде сердце раскрой, душу — настежь, а там и слушай валяй!..

Прямо и левее простиралась низина, заросшая дремучими камышами, за которыми кое-где тускло поблескивала подернутая туманом вода. Справа, чуть пониже розоватого облачка, над самой макушкой одинокой березы, выглядывал серпик молодого месяца.

Деду Дементию пришло в голову надоумить, что это будто бы вовсе и не береза, а царевна-ночь. Будто вышла она из лесу и встала при дороге с месяцем, воткнутым острым концом в зеленые волосы. Сложила на груди зеленые руки и глядит мудрой и лукавой синью из-под зеленых бровей.

От дедушкиной выдумки на Савелия напала вдруг мальчишеская удаль, озорство. Он приблизился к дере-

ву, почтительно поклонился в пояс, коснувшись правой рукой лба и земли:

— Державная! Осени мудростью смертного старца Дементия, поведай тайны свои!..

Была короткая ночь, было теплое сухое утро. Даня-соловушка сидела на сене около огонька и терла ладошками розовое лицо, а из кустов ивняка на нее глядели синие колокольчики...

Письмо от деда Дементия Максим дочитывал один, спрятавшись на чердаке столовой, плакал вволю.

«...Который раз улетали и прилетали птицы... Илья Степанович теперь стал церковным старостой. Днюет и ночует во храме божьем. А лют, как змей-горыныч. Не то, чтобы заступиться за сына Андрейку, нет. Житья никакого не стало внучку моему. Какой еще он, а делать заставляют его за мужика, а то и больше. Бьет его Нифонт тем, что попадет под руку: вилы попадутся — вилами, грабли — граблями. Нечем — ногой пнет. Совсем кости да кожа у Андрейки, вырос, а худ — страсть! Глаза по ложке да нос на лице, на старика похож. Прежде отцу пробовал жаловаться, а тот еще прибавит. Эх, родненькие мои! А тем летом этот душегуб Нифонт приподнял Андрейку за уши и на воз кинул, так у него одно ухо чуть напрочь не оторвалось, теперь приросло пониже другого и сильно зябнет. Я уж и старосте Крынкину прошение подавал, и уряднику, и отцу Сергею. Крынкин — бес, заодно с Нифонтом. Урядник смеется и пугает: какое-де ты имеешь право, коль отец родной не жалуется. Спасибо попу, этот нет-нет да припугнет Нифонта. Как мужняя вдова наша Феодосьюшка, сама сеет и пашет, все хозяйство на ней лежит. Понемножку мы с Данюшкой ей помогаем. Даня-соловушка ее мамкой-Феодосией зовет, и уж такой-то пригожей растет девчонка, не нарадуемся! Христом богом прошу тебя, батюшка, Савелий Митрич, жалей ты внучка Максимушку, будь отцом родным для него, и он вырастет, тебя не забудет. А на Илью Степановича надежды нет никакой. Тут ведь что случилось на покосе... Нифонт-то Андрейку драть, а Феодосья увидела — на него коршуном. А Илья Степанович — на нее с кулаками. Правда, они ее шибко помяли, да и она поддалась не даром: искусала, исцарапала каждого. С той поры стала... ка-

кой,— уж я и не пойму ее: бойкой — не бойкой, сердитой — не сердитой. А без Данюшки прямо жить не может!.. По селу тем годом прошла корюха, воспа, значит. Кто помер, а кто рябым остался. Теперь опять голод идет. Неурожаи замучали. Один Нифонт богатеет, у него теперь молотилка и мельница, дом выстроил барский. А земли нахватал больше, чем у Лунина, покойника, было. Из тюрьмы вернулись Кобылины, постарели да поумнели. Рассказывали, будто какие-то большевики объявились, против властей идут. Народ говорит о каком-то светопреставлении, о войне. Собирался было я уйти с Данюшкой в странствие по белу-свету, да Андрейку с Феодосией жалко. Тем и спасаюсь от лихоты сельской, что в лесу да в полях бродим с Даней, траву целебную собираем. Боюсь я чего-то, Савелий Митрич, не понимаю... Береги, батюшка, Максимушку, пока у него душа не почерствела раньше времени. До гроба буду тебе благодарен. А сгодится время, приезжайте, голубки-воробушки!.. Тут стоит буква Добро, так ее Даня поставила. А еще кланяется вам Андрейка, Феодосья Дементьевна и я, дедушка Дементий...»

Плакал Максим и над письмом, плакал и оттого, что голуби, залетевшие в слуховое окно, были похожи на тех, которые живут во дворе родного дома, и оттого, что не в силах ничего сделать. И вновь ему ясно виделся сельский полдень, речка Моталка и стадо на противоположном ее берегу. Мать пришла доить корову и, стоя с ведром на согнутой руке, зовет:

— Сыночки!..

Максим и Андрейка наперегонки переплывают речку. Тот и другой торопятся первым отдать матери веточки с ягодами, которые держат в зубах... Коровы забрели по брюхо в воду и лупят себя мокрыми хвостами, отбиваясь от слепней... Зеленый берег в лиловых и розовых крапинках цветов, плес — в солнечных бликах, и за всем этим — сиреневый лесок вдалеке. Все мягко, душевно, ласково...

Откуда же берутся злые Нифонты?

Приход Максима на литейный завод совпал с началом империалистической войны. Там, в белесом густом

дыму плавок, в шипении огненных брызг он увидел озаренное сполохом чумазое лицо рабочего, прокричавшего что было сил:

— Братцы, война!..

Война для Максима представлялась сельской кулачной дракой, когда то польские погонят заречных, то заречные польских. Потом пьют водку, мирятся и снова дерутся. Сначала он не замечал никаких изменений в жизни завода: по-прежнему клокотали плавильные печи, рабочие разливали по формам ослепительный металл, шумно ходили в столовую, кончалась смена, начиналась другая. Ничего, кроме тревожного напряжения, которое временами угадывалось на лицах рабочих. Потом вроде бы каждый, что-то обдумав про себя, заропта́л, потянулся к другому, разговорились, заспорили, зашелестели в руках газеты.

На заводе стали появляться какие-то господа и, взобравшись куда-нибудь повыше, призывали «трудиться не покладая рук за царя и отечество, за матушку-Русь». Рабочие же ругали царя и капиталистов, говорили, что нужно бастовать, добиваться улучшения условий труда, повышения заработной платы. Они желали не победы, а поражения царского самодержавия.

Дядя Савелий подолгу стал пропадать и редко ночевать дома, пока однажды не исчез вовсе. Максим затужил. Но Санька, хитро подмигнув, сказал:

— Найдется, помалкивай.

Будто Санька что-то знал, что-то таил, порой казалось Максиму, и догадки оправдались. Однажды после работы он предложил Максиму погулять с ним. В вечеру беспутно бродили по переулкам. Санька тихонько посвистывал, поглядывал то по сторонам, то назад, неожиданно сворачивал куда-нибудь, и Максиму надоело.

— Ты чего задумал?— спросил он, останавливаясь и пристально разглядывая Саньку.

— Чего?— засмеялся Санька.— Вот заведу где потемнее, надаю по шее. Хочешь?

— Хочу.

— Только не здесь, давай туда.

В темном дворе небольшого дома они поднялись по деревянной лестнице, прошли узкий коридорчик и очутились в уютной комнате. Санька предложил Максиму сесть, пошутил:

— Будет представление. Чтобы с перепугу не упасть тебе,— держись за стул обеими руками. Понял?

А сам скрылся за занавеской, скрывающей другую дверь. Вскоре оттуда вышла пожилая женщина, а за ней тот, кого Максим, конечно, не ожидал — дядя Савелий.

Он быстро подошел к Максиму, обнял его за плечи:

— Стосковался? Куда, мол, дядя Савелий сгиб? Так что ли?

Сел напротив, положил ладони на колени Максима, близко-близко поглядел в его обрадованное лицо, словно желал убедиться, Максим ли это. Потом выпрямился, довольный:

— Хочешь спросить, почему я здесь, а не дома?..

Максим кивнул.

— Как бы понятнее тебе растолковать...— начал было Савелий и вдруг спросил:— Ты понимаешь, кем является отец твоего друга Салика? Понимаешь, почему он сослан в Сибирь? Тебе говорил о том Салик?

— Говорил,— сказал Максим и переглянулся с Санькой, потому что и с ним уже разговаривал о людях, которые идут против царской власти.

Санька понимающе подмигнул: «Мол, держись, сейчас услышишь!»

— Так вот, Максимушка,— продолжал Савелий Дмитриевич,— я тоже революционер. За мной гоняются царские ищейки, и я должен скрыться, потому что не время сейчас сидеть в тюрьме или отправляться в ссылку. Для нас, большевиков, наступает пора больших дел... В пятом году меня ловили и сажали. Теперь тоже бы посадили, да не знают, где я...

Савелий поднялся, взволнованно походил по комнате, спросил Максима:

— У нас там не были еще жандармы?

— Какой-то приходил, спрашивал,— ответил Максим.

— Ну это «гороховое пальто», шпик, должно быть. А что ты ему?

— Говорю, не знаю.

— Правильно. А коль опять придут, опять будут спрашивать, что скажешь?

— Тоже не знаю.

— Пугать, грозить станут?

Максим замялся. За него ответил Санька.

— Бояться нечего. Пусть пугают. Не знаю и конец!

— Ты, если что, к Саньке обращайся. Он воробей стреляный!— подхватил Савелий.— Так что ли, Александр Прокопьевич?

Санька шмыгнул носом:

— Постараемся, дядя Савелий!

Максим начал понимать, что дядя Савелий не собирается являться ни на завод, ни домой, что встречаться с ним не придется, загрустил.

— Все прятаться будешь?

— Нужно, Максим!

— Долго?

— Пока трудно сказать. Неизвестно, сколько продлится война, чем кончится...

— И от меня будешь прятаться?

— Нет. Но, может быть, придется на время уехать из Питера. Тогда уж держись... Горько сделается—сюда приходи.— Савелий повернулся к женщине, молча сидящей за столом.— Мария Петровна, а не квартировать ли ему у вас?

— Пожалуй, лучше,— ответила женщина и тепло поглядела на Максима.— Согласен?

Максим вновь вопросительно покосился на Саньку:

— Ты здесь живешь?

— Ишь ты!— усмехнулся Санька.— А где же? Ведь Мария-то Петровна — мать моя! Или не смекнул еще?— и продолжал, посмеиваясь.— Мама, слышишь, он ничего не понимает!

— Поймешь тебя!— огрызнулся Максим.— Прошлый раз говорил, что за Горячим полем живешь.

— Мало чего! Нужно было!— он слез со стула, на котором сидел верхом, подошел к Максиму, обнял его сзади.— Не сердись, Максим, больше не обману никогда. А жить —у нас. Правда, мама?

— Только дружно!— сказала Мария Петровна.

— Будет порядок! Мы с ним, как кошка с собакой! В словах Саньки, за шуточкой, за насмешечкой постоянно скрывалось доброе расположение, что не всегда доходило до Максима. Против прямых и ясных Варьки и Салика, Санька как-то кололся — не больно, а надоедливо. Но больше всего Максим не терпел в нем взрослости, покровительственного обращения с собой, как с меньшим братом. Санька постоянно сам лохмат, но в любую погоду мог извлечь из своего дремучего карма-

на щербатую расческу и причесать Максима. Или поднять какую-нибудь пустую коробку из-под папирос, подать со словами: «На, играть будешь!» Идя рядом, любил положить на плечо руку, предупредить: «Осторожнее, не оступись!»

«Сам от горшка — три вершка, а задается!»— обижался Максим. К тому же и дядя с ним не так, как с Максимом, будто с равным, особенно когда разговаривал на работе. «Подумаешь, Александр Прокопьевич!»

И все же приобрести такие же манеры Максиму хотелось. Как бы они пригодились ему!

Прощался с ним Савелий, будто с ребенком, гладил по голове, напутствовал:

— Пятнадцать лет — немало, Максим. Года через три-четыре жениться надумаешь. Так что от трудностей стыдно бежать. Вот чего я хотел и сейчас хочу: увидеть тебя сильным. На селе пока что тебе делать нечего. Пропадешь ни за понюх табаку. Здесь тоже нелегко будет, зато полезно. Рабочую школу пройдешь. Душа почерствеет, а голова посветлеет. Питер—это, как говорит твой дедушка, океан-море, бушует, качает, а берега пока что не видно. Возьмись за руку рабочего класса и держись крепче. Он знает, куда идти, он выведет, только держись крепче... Знаю, тебя очень тянет к матери, к дедушке. Но им и без тебя тяжело. Не помощником ты явишься к ним, а обузой, как утопающий камень. Слаба еще твоя рука, чтобы подать им. В селе некому подать руки, никто не подаст ее, потому что там нет рабочего класса. Что будет со мной, я не знаю... Со мной... Но я твердо знаю, что борюсь за светлую жизнь. Рабочим принадлежит будущее. Поэтому ни в бога, ни в царя — верую я в рабочий народ!.. Почему твой отец несчастный? Потому что молится деньгам и богу. Почему чист душой, но беспомощен твой дедушка Дементий? Потому что поклоняется природе... Когда ты поймешь это — тогда, не спрашивая моего совета, можешь покидать Питер. Там, в селе, ждут тебя не нахлебником, не работником, а борцом. Запомни, Максим, ты должен явиться туда не с кошельком, а для того, чтобы подать всем добрую рабочую руку...

Савелия внимательно слушал человек, который пришел, чтобы сказать «пора собираться», слушал Санька, навострив свои большие уши, слушала Мария Петров-

на. И Максиму нравилось, что они слушают. Пускай теперь знает Санька, что дядя Савелий любит Максима и надеется на него, пусть не задается.

И когда, уже на пороге, совсем простившись, повернулся Савелий Дмитриевич и спросил Максима:

— Хорошо ли ты понял меня?

Максим ответил:

— Я не маленький!— и, сглотнув слезы, добавил.— За меня не беспокойся, дядя Савелий!

И чтобы еще доказать твердость своих слов, Максим ночевать не остался, несмотря на позднее время. Как только стихли шаги на лестнице, он подошел к осколку зеркала, что стоял на комоде, надел перед ним фуражку, поправил ворот. Поклонился Марии Петровне. А Саньке, который заторопился было проводить, сказал, усмехнувшись:

— Спать ложись, а то мать не добудится завтра!..

Очутившись на пустынной и тихой улице, почему-то сразу подумал о пареньке, которого только что увидел в осколке зеркала, усмехнулся: «Неужели это я и есть, Максим Макаров, и мне говорил дядя Савелий о женитьбе через три-четыре года?.. Неужели это я—будущий революционер, у которого со временем будет настолько сильная рука, что сможет подняться против могущественного царя, буржуев и помещиков?.. Неужели этой рукой смогу я когда-нибудь защитить ото всех бед мать, Андрейку, дедушку Дементия?..» А почему бы и нет? Дядя Савелий не стал бы зря говорить, если бы не верил, сомневался, он при всех говорил это... Максим пройдет рабочую школу. Он, как дядя Савелий, начнет носить в кармане газету с завтрашнего дня постоянно. Начнет бастовать, читать листовки и прокламации, пусть даже посадят его в тюрьму или сошлют в Сибирь, как Салькиного отца, пусть... Максим постарается, чтобы о нем так же уважительно говорили на заводе, как и о дяде Савелии... Максим действительно не догадывался раньше, что давно-давно повзрослел. Зеркало показало ему не того круглолицего вахлака, какого показывала тихая заводь речки Моталки, когда они с Андрейкой, лежа на животах, глядели с берега в страшную глубину, устланную белыми облаками. Сегодня Максим увидел себя незнакомо-другим, на него глянул темно-голубыми глазами паренек с продолговатым лицом, с пе-

пельным кудрями над высоким лбом, со складочкой между тонких бровей, с двумя обозначившимися морщинками в уголках губ. Этот паренек, хотя и напомнил чем-то Андрейку и мать, но вполне понравился Максиму, потому что годится, может...

Что может — Максим еще не отдавал себе отчета, лишь было нетерпеливое желание скорее увидеть Варьку или Салика... Нет, лучше Варьку, ведь она как-то сказала:

— Ты, Максим, быстро взрослеешь, почти юноша!..

Нет, не почти! Ты, Варька, погляди хорошенько, ты послушай, что говорил про Максима дядя Савелий!..

Долго не раздумывая, он взял запоздалого извозчика, назвал Варькин адрес, солидно распорядился:

— Пошевеливай, братец!..

Ночь сыро туманилась. Барачный поселок тонул в мертвой холодной тишине. Ни огонька, ни просвета. Там, где кончалась дорога и начиналась вонючая грязь, извозчик осадил лошадь.

— Куда в такую погибель? Нет, господин хороший, дальше не могем! Да и вам бы не советовал... Дурная слава про это место в народе... Кого-то зарезали, сказывают.

Извозчик был молод и широк в спине, но в голосе чувствовалась откровенная робость. Максим понял, что он дальше не повезет, рассердился:

— Эх ты, верзила! Поди смаху семерых убиваху, а сдрейфил. Расплачиваться не стану, коль так.

— Воля ваша.

— А я почему не боюсь?

— Бог вас знает.

— Не бог, а все жулики!

Чтобы действительно не заплатить — Максим не собирался, но ему захотелось подурачиться, отомстить извозчику за то, что придется шлепать пешком.

— Ты врешь, что человека зарезали,— сказал он.— У нас не режут, а молотком убивают. Тут ходит такой — Оська Кривая нога. «Подвези» — попросится, потом — тюк сзади по макушке...

Извозчик покосился и начал разворачиваться.

— Он,— продолжал Максим, — кого убьет — в мешок и в реку. Он вот как знак подает...

Максим вложил в рот пальцы, пронзительно свистнул. Широкоспинный здоровяк взмахнул кнутом и по-

медвежьи рявкнул на лошадь, а та, еще не вывернув как следует колеса, с такой силой рванула упряжку, что Максима словно ветром вынесло наземь. Максим ушибся и испачкался грязью, но настроение у него не испортилось: первый раз в жизни он сбедокурил и, как казалось, удачно. Значит, он может вытворять всякие штучки не хуже Саньки...

Варька открыла дверь и поспешно вдернула Максима в душное тепло комнаты, словно кто-то гнался за ним вслед и нужно было поскорее спрятать его. Цепко и сильно встряхнула за бока горячими руками, прижала животом к косяку:

— Что с тобой?

Максим улыбался, а она не видела.

— Да говори же!

— К тебе,— прошептал Максим.

— Неспроста же в такую пору?

— А если спроста?!

— Ну, знаешь!..

Варька отстранилась, загремела спичками, предупредила:

— Осторожнее, мать на полу валяется.

— Пьяная?

— Вусмерть.

— А чего не открывала долго?— спросил Максим. ожидая, пока Варька зажжет огонь. — Спала крепко?

— Уснешь с вами! Пьяный кавалер к ней ломился с вечера, думала, опять он. Не встала бы, если бы в окно не увидала тебя.

Наконец она справилась с волнением, поднесла к Максиму желтый огонек свечи, присмотрелась:

— Нет, ты какой-то не такой. Ты ненормальный! Может, вино пил?..

— Скажешь! — усмехнулся он. — Просто собой доволен...

— А я причем?..

Слабо освещенная огарком, Варька смело стояла перед ним в ситцевой ночной рубашке, косы, до половины расплетенные, падали по голым костлявым плечам, под легкой материей задорно острились маленькие девичьи груди. Это увидел Максим. Увидел и что-то понял. Ему стало обидно, что живет Варька в этой барачной комна-

те с распутной матерью, знает больше, чем положено знать девочке, что Варьке наплевать на то, в чем стоит она перед ним. И он опустил глаза:

— Ты хоть оденься, дура...

Тут, наверно, и Варька тоже что-то поняла, потому что вдруг схватила в горсть ворот рубашки и дунула на свечу.

— Правда, дура...

В теплой темноте пахло водкой, храпела спящая на полу пьяная женщина. Максим прошел к подоконнику, сел на него. Натянув на себя платьишко, подошла и села рядом Варька.

— Хочешь спать? — робко спросила она.

— Было бы где,— ответил Максим.

— На койке.

— А ты?

— Не твое дело.

— Сидеть будешь?

— Посижу.

— Нет уж...

Никогда не было так между ними, чтобы не о чем было говорить. Они молча глядели в бледную синеву питерской ночи, напряженные, обиженные друг на друга: Максим на то, как стояла перед ним Варька с оструившимися грудями под ночной рубашкой, Варька — на то, что сказал ей об этом Максим. Они думали об одном, чего оба ясно не сознавали. В эти минуты они любили друг друга и вместе с тем ненавидели... Что же произошло между ними?..

...Милая, милая юность!..

Есть детство, и ему сопутствует детская дружба. Стайки мальчишек и девчонок, одинаковые, как голуби, душой, разные лишь носами и глазами, платками и рубашонками, вместе выбегают в лужки и пестрят там, как пестрят цветы, объединенные нерушимой радостью жизни, и никому из них нет дела до того, который тут Ванька, которая Манька и почему... Нет ни «бесстыдников», ни «бесстыдниц»: одинаково кувыркаются через голову, только пятки сверкают да белые ноги! Одинаково на бегу сбрасывают одежонку, чтобы первому или первой растоптать теплую заводь мелководья...

— Да-а-а, — обиженно протянет нерасторопный парнишка и шмыгает носом,— тебе хорошо, раз — и готово. А у меня пуговка...

Да и девчонка позавидует ему, когда где-нибудь стережет малину огневая крапива:

— Ты в портках, тебе что!..

А юность уже ходит за ними всюду, то радуется, то стыдится, пока не разведет однажды, не разъединит на время их детские руки, чтобы порознь приготовить каждого к новой неповторимой радости первой любви... Разъединит и соединит потом...

Юность строга и чиста. У нее самые светлые думы... Любовь ее горит белым огнем черемух, больно и сладко обжигаться этим огнем...

Милая, милая юность!..

Часть третья

ПЕРЕД СВЕТОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Из госпиталя Савелий вышел ранним весенним утром, бережно, как ребенка, придерживая раненую руку. Постоял, пощурился на теплое солнышко, подумал, куда же зовет его сердце... В Питер?.. Но товарищи пока не советовали. Другое дело, если бы доподлинно знать, что Максим еще там, а не сбежал к своему деду Дементию. Вряд ли парнишка смог устоять, чтобы не променять городскую суровую жизнь на дедушкино «дивное-диво». Конечно он уже там!

«Там!— мирно и громко где-то прокричал петух, и Савелий усмехнулся ему:

— Ну там — так там. Значит, и я туда!..

И пошел мерять длинную русскую дорогу. А вместе с ней и дни своей прожитой жизни.

Чем же наполнены эти дни?.. Так же, как и у Максима, они начинались каким-то необыкновенно радостным утром, когда освеженный детским безмятежным сном, человек остро ощутит бытие, когда вдруг покажется, что все-все на свете принадлежит ему, а это все — это безоблачное небо над росной землей, щебетание ласточек, бабочка на стекле, отец, входящий в избу с вязанкой дров, мать, стоящая у печки, озаренная отблеском пламени. И даже ухваты, которыми гремит мать...

Все доброе и несет добро.

А потом?.. Потом бабочка оказалась вредной, потому что родит червяков, которые губят капусту. Лепешку, которую испекла мать для Савки, на улице выхватила какая-то пестрая собачонка. Отца и мать взяла смерть...

Потом, если не отнимали, то добровольно отдавал он.

Понравилась девушка Груня, вошла в сердце грустными песнями над вечерним прудом, а ее насильно просватали за богатого пожилого мельника. В слезах Груня предлагала удавиться, утопиться вместе, но Савелий был молод, чтобы понять ее. До самой свадьбы он надеялся на торжество справедливости, уговаривал родителей Груни, уговаривал мельника не губить девушку. Он не знал, что надо бороться. А Груня боролась... В белом подвенечном платье, с венцом и вуалью на голове, воспользовавшись пьяным содомом, она на дворе облила себя керосином и подожглась...

Другая не любила его. Другая любила деньги. Тогда и Савелий не знал еще иных радостей, как только служить красивой женщине с наглыми серыми глазами. Для этого и пошел на литейный завод, где тут же не поладил с рабочими — «неспокойный, баламутный народ!» Затеяли забастовку, Савелий возмутился:

— Баловство какое-то! Без того заработки плохие.

Ему на плечо легла чья-то сухая рука:

— Про заработки говоришь?

Савелий обернулся: в упор на него смотрели колючие синеватые глаза литейщика.

— А что?

— Больше всех захотел заработать?

— Я в чужой карман не заглядываю,— ответил Савелий.— Вы по себе, я по себе.

Отовсюду послышались возгласы:

— Пусть зарабатывает да совести себе подкупит, не хватает у дурня!

— На грош ума добавит!

— Башев, потрогай башку-то у него! Должно быть, мягкая, мякиной набита!

От возмущенных литейщиков Башев увел Савелия в нужник и там, в вонючей сырости, долго толковал ему, «отчего бывают плохие заработки». Там же он познакомил Савелия с другим человеком, по имени Петр, сказав напоследок:

— Ты, Петя, попытайся глаза открыть этому парню. Только бить не надо, смотри!..

И Петр покорил Савелия товариществом. Вскоре они стали такими друзьями, что Савелий охотно променял на эту дружбу женщину с серыми глазами, уступил ее какому-то чиновнику.

Петр погиб во время уличных боев с полицией после

кровавого воскресенья в пятом году. Башева вскоре повесили.

Но это были для Савелия не только тяжелые утраты: в нем осталась жить вера этих людей в победу, горячее рвение бороться.

Его путь, путь революционера, начался с распространения «Правды», с чтения ее среди рабочих.

Шагал Савелий и шагал, думал и думал. Огорчало ранение, из-за которого пришлось прервать работу по заданию партии среди солдат. Но он не одинок, большевиков много теперь, а руководит ими Ленин. Он вернется в строй, как только полностью заживет рука. Чтобы держать оружие.

Ведь впереди революция, к которой призывает Ленин!..

Шагал Савелий по российским дорогам, поглядывал на убогие деревеньки и села, вздыхал грустно: солома да глина, горбатые старухи, молчаливые, строгие, как монахини, женщины-солдатки, тощие старики со слезящимися глазами. Под окошками оборванные нищие ждут милостыню от нищих... Россия!..

В начале пятого дня пути ухабистая дорога ввела его в болотистый берендеевский лес. Встретился мужик на телеге, в которую была впряжена чуть живая сивая лошаденка — брела безразлично, отвесив нижнюю губу.

— Чего?— подставив к уху черную ладонь, переспросил мужик.— Дорогу на Чуркино? Так вот я по ней еду. А кого тебе там?

— Макаровых.

— Илью Степановича? Знаю. Я бабу возил хоронить. Вечерь его видел. Родня какая аль что?

— Вроде родня,— усмехнулся Савелий, поражаясь неуловимому сходству мужика и лошади.

— Вроде — это брюква аль морковь в огороде... Родня — так родня, а не родня — так нет, и разговор другой!

— Какой же другой? — поинтересовался Савелий.

— Такой вот. Илью Степановича я всяко знаю... И с той и с другой стороны...

— Собственно, я больше к деду Дементию,— пояснил Савелий.

— Другое дело!— живо подхватил мужик.— Этот мою бабку за «так» лечил. А у Ильи Степановича в рождество снегу не выпросишь! Стало быть, руку лечить к Дементию ладишь? А родни у него вроде тебя никакой нет, знаю. Сказывал кто-то про какого-то Савелия, так тот в Питере с царем воюет. Тот голова!..

— Чем же он голова, если против царя воюет?— сдерживая улыбку, спросил Савелий.— За это ведь не поздоровится?..

Мужик быстрыми глазами обежал Савелия с ног до головы и, словно убедившись, что ему ничего не угрожает, сказал мрачно:

— Дурак ты,— и задергал вожжи — Но, милая!...

Знать, страшен был Савелий, обросший бородой, знать, редкость были мужчины в этих краях: уж больно пугались его встречающиеся женщины. Они проворно подбирали подолы, обходили его подальше, испуганно тараща глаза, не разбираясь шлепали ногами по торфяной жиже, оглядывались: не бежит ли вслед!

А одна молодуха взвизгнула и начала креститься, почти столкнувшись с Савелием на повороте. Вот уж как перепугалась, что остолбенела! Узелок выронила, посыпались из него куриные яйца, покатились в разные стороны овсяные лепешки.

— Что ты?!— встревожился Савелий, пятясь и пожимая плечами.— Меня напугала!

— Я-а? А ты-то?— опомнилась женщина.

— Иду, ничего.

— А-а, страх господний, а я-то!..

— Разбойник, подумала?

— Хуже!

— Черт?

— Не говори, и не знаю! О-о, матерь божия!..

Кто знает, от бабьей ли жалости к раненому человеку, идущему с войны, или оттого, что перепугалась шибко перед этим, залилась она горючими слезами, когда растолковал ей Савелий, кто он есть.

— Вона-а! Больно, чай?

— Побаливает.

— Надо же!

Стащила с головы синий платок, расстелила его, где

посуше, собрала на него, как на скатерть, лепешки и яйца:

— Поешь, соколик, на доброе здоровье!

Сидела поодаль и все причитала, растирала ладонями по лицу ручьистые слезы, пока ел Савелий.

— В руку, а ну в голову?

— Не выжил бы.

— Помер?

— Наверняка.

— Что ты! Дай-ка, яичко-то облуплю!.. А каждого ранит?

— Нет, не каждого.— Савелий Дмитриевич ел не спеша, хотя был сильно голоден.— Пуля — дура. Которого обойдет, а другого наповал.

— Батюшки! С моим не виделся? Егором зовут, Стрешневым?

— Кажется, нет.

— Да что ты! Может, убитый?..

Таких искренних слез Савелий Дмитриевич не видывал никогда. Не плакали при нем так женщины, не изливали чистую душу. А сколько таких слез лилось по России и суждено пролиться еще!.. Смогут ли их принять реки, вместить моря?..

Но гнетущей тяжести в сердце не было от слез женщины. Они освежали, как долгожданный дождь в знойную пору, бодрили. Савелий даже подумал: «Хорошо бы, черт побери, вернулся ее муж! Уж эта, наверно, умеет любить!»

И чтобы хоть чем-нибудь отплатить женщине за доброту, за настоящие человеческие слезы, за то, что она, молодая и красивая, тоскует о своем Егоре, Савелий спросил напоследок:

— Стрешнев, значит?

— Стрешнев, Стрешнев!— заспешила женщина, и в ее заплаканных глазах засветилась надежда.

— Егор?

— Егор! А по батюшке Спиридоныч!

— Припоминаю что-то. Кажется, встречались. Какой он, не кучерявый?— (и тут же подумал: «А солдаты-то стриженые!»)

— Истина! — подхватила женщина. — Кучерявый, лицо белое, здесь на щеке родинка, это он, ни кто иначе!

— Выходит, жив,— улыбнулся Савелий Дмитриевич.— Ждать надо.

— Жду.

— Богу молишься за него?

— За здравие поминаю.

— Не советую. Это не поможет,— задумчиво сказал Савелий.

— Чего же?— насторожилась женщина.

— Люби крепче.

— Скажешь!— женщина коротко махнула рукой и стыдливо склонилась...

Поблагодарив за хлеб-соль, Савелий пошел, а женщина долго стояла на месте, провожая его взглядом.

Дорога вела смешанным лесом, где-то в глубине его куковала кукушка. Пахло молодой травой, черемушником. Вспомнив, как учил слушать тишину и душой понимать дивное-диво Дементий, Савелий остановился и мысленно спросил, прикрыв глаза:

— Кукушка, кукушка, сколько мне жить?..

И считал, запрокинув лобастую голову. От радости у него смеялось лицо, расширялись ноздри, вздрагивали выцветшие русые брови и потрескавшиеся серые губы. А кукушка куковала и куковала без счету...

Живи сколько хочешь! Люби, радуйся!.. Савелий опять подумал о встретившейся женщине: «Хорошая. Любит!» Вздохнул, на миг вспомнив Груню с ее песнями над тихим прудом. Живо увиделись серые глаза другой, капризные губы... Совсем холодно, как будто не было ни близости, ни любви... Но постой, кукушка, что же ты напоминаешь еще?.. А-а, Катерину... Что же это, минутная слабость, падение? Счастливый короткий сон? Может, ничего и не было? А может, было, было то самое дементьевское дивное-диво, которое радует и страшит...

Случилось это, когда Савелий приезжал последний раз в Чуркино — за Максимом. Ходил по селу и решил, интереса ради, заглянуть к ней, к Катерине, про которую успел наслушаться разных толков: «бешеная», «блудит с чертом», «ее не поймешь». Постучался. Дверь в сени открыла молодая полнокровная женщина и не оскалились по-собачьи, как говорили, а будто обрадовалась, улыбнулась приветливо:

— Входите, Савелий Дмитриевич, милости просим.

Голос чистый и какой-то особенно женственный, не приглашающий, а зовущий властно, покоряющий. Красивая, не по-сельски собранная, теплые девичьи косы,

иссиня-белые зубы, в карих глазах по искорке яркого неземного света.

— Проходите, садитесь.

Фартуком стерла скамейку, сама встала, прислонившись к печке, руки назад, ровненько, одна к другой, поставила сильные загорелые босые ноги. Взгляда не прячет, как другие сельские женщины, старается глядеть прямо в глаза — пытливо, настойчиво.

—Вы любопытный, Савелий Дмитрич: то в один дом, то в другой. А меня на последний день. Думала, и сейчас мимо. Нет, гляжу в окно, к калитке пошел. Любопытство одолело.

Она засмеялась. А Савелию делалось неудобно словно поймали его за руку на месте преступления. Действительно, чем объяснить свой приход, как не оскорбительным любопытством? И он поспешил сознаться:

— Да, после того, что про вас говорили, я поддался именно любопытству.

— И не побоялись?

— Чего?

— Как же,— ведь я с чертями дружу!

— Глупости.

— Глупости не глупости, а приходится к носу тереть. Были бы черти — я к ним бы ушла. Люди-то куда хуже... А за то что, не поверили, Савелий Дмитрич, спасибо. Я очень хочу, чтобы хоть кто-нибудь не верил...

Искренность, с которой было сказано это, и уже другой взгляд — нежно-горестный, благодарный — заставили Савелия содрогнуться. Опустив голову, он задумался, а Катерина сказала радостно:

— Я самовар поставлю!— и вдруг забегала, затопала босыми ногами по чистому желтому полу.

И Савелий принял это как должное, не возразил, не поблагодарил. Ему захотелось вдруг попить чаю, подольше побыть в этой опрятной избе с красными геранями на окнах, с их горько-сладким и тихим запахом, со старинными молчаливыми иконами в переднем углу, с этой чистотой бедного убранства, с живым теплом от свежепобеленной печки.

— Хорошо у вас, Катя!— похвалил он.— Обихожено, уютно, не по-сельски.

— Одна я, кабы дети, — отозвалась Катерина, поджигая бересту.— Кругом одна...

— А замуж?— вырвалось у Савелия, как показа-

лось ему, некстати, потому что слышал — обходят ее женихи сторонкой — «После дьявола кому нужна!»

Но Катерину вопрос не смутил, она задула спичку, поставила на самовар трубу, улыбаясь, пожимая плечами:

— Как вам сказать?.. Раньше я никому не нужна была. Теперь мне никто не нужен. Вокруг меня целая навозница, а ведь я... — она на миг смутилась, — понимаете, девушка... Меня не целовал никто...

Катерина резко повернулась и так угрожающе обожгла взглядом Савелия, словно хотела предупредить: «Попробуй усомниться, и я испепелю тебя!» Глядела, пока из немигающих глаз, из карей омутовой их бездны не покатились холодные и крупные, как градины, молчаливые слезы. Ни один мускул не дрогнул на ее красивом лице, оно лишь чуть-чуть побледнело.

— Дитя хочу, Савелий Дмитрич! И не от кого-нибудь, а от человека!.. Настоящего... Я гордая...

Савелий пил чай, ел ватрушки и слушал Катерину.

С четырнадцати лет она осталась сиротой. Родители умерли в один день от тифа весной, в самое распутье. Никто из сельских, к кому она обращалась, не помог свезти покойников на кладбище: боялись заразы. Сама обмыла, одна уложила в гробы и только поставить их на сани не смогла. Побежала к соседям, — не пустили в избу, побежала к другим — то же. Люди прятались от нее, не отвечали на стук.

Случайно встретился какой-то нищий, он и подсобил. Кое-как, на скорую руку, отец Сергей отслужил панихиду, вдвоем они с кладбищенским сторожем спихнули гробы в могилу и забросали мокрой глиной.

Две недели после этого Катерина никому не показывалась на глаза, молилась богу. Выйдет, даст корм скотине и снова в избу. Тоненькая, косматая девчонка стояла на коленях, сжав кулачки под подбородком, просила, устремив взор на образа:

— Господи, скучно мне! Сделай так, чтобы корова поскорее отелилась!

А корова-то оказалась яловой...

Прошло время — подобрели соседи, заглядывать стали, советовать:

— Продай, Катюша, лошадь, продай корову, а сама в няньки ступай.

Не послушалась. Стала пахать, научилась сеять. Все сама и уж избави боже, чтобы у кого-нибудь помощи попросить!

Восстала против людей Катерина. Не могла простить им...

Савелий слушал и любовался ею, покорялся карему пристальному взгляду — неземным искоркам в темной бездне.

Потом была ночь, была короткая любовь...

Катерину знобило, когда она закрывала за Савелием, а он пытался что-то сказать.

— Молчи!— стучала она зубами. — Никогда больше. Слышишь, никогда!... Забудь!.. Нужно будет — сама позову...

В день отъезда он приходил вновь, стучался, но Катеринина изба молчала...

Замолчала и кукушка, как только напомнила. Но прежде посмеялась дребезжащим старческим смехом, посмеялась над тем, что напомнила.

Открыв глаза, Савелий осмотрелся вокруг. Лес стоял тихий, словно ожидающий ответа на то, почему забыл Савелий красную герань на подоконниках, бездну озерного взгляда... Не надеялся, что позовет? Уверился, что нужно забыть? Но разве такое забывается?..

Савелий бессильно опустил здоровую руку, поник головой:

— Виновен... Простите...

А в ту сторону, где затаилась кукушка, погрозил пальцем.

— Не хихикай, ты тоже бездомная!..

Впрочем, вина его была небольшая. Несколько лет после той ночи он гасил огонь в сердце упрямо и беспощадно, пока окончательно не повиновался Катерининому «никогда». Но, идя на это, он дал слово остаться верным короткой любви своей. Он понимал, что такого не встретит больше, такое не повторится, поэтому и не искал ничего, оставаясь счастливым и благодарным судьбе.

Редко, лишь в самые трудные минуты жизни, Савелий воскрешал дорогой для себя образ, как святое святых, чисто, бережно, и от этого полнился новыми силами. Он не забывал и не забыл нынче, он просто не успел еще добраться до самых глубоких глубин души, в которых хранится Катерина.

Любить — это прежде всего быть верным и готовым.

Хорошо, если бы ждала она, ждала его от той минуты, когда закрывала дверь и говорила «забудь», хорошо, если бы встретила сейчас так же, как будет встречать та слезливая женщина своего Егора. Но все же лучше рассчитывать на то, что есть, не загадывать!..

На выходе из леса через низкий кустарник Савелий увидел село, отыскал взглядом крышу Катерининой избы:

— Здравствуй, Катя!

В стороне паслось стадо, за рыжей коровой гонялся пастух, ругал ее самыми скверными словами. Савелий направился к стаду, подошел к запыхавшемуся оборванному пастуху:

— Чего шумишь?

— Тебе-то какого...?

— Ругаешься нехорошо.

Пастух промолчал, стал закуривать, косясь на Савелия.

— Куски собираешь аль на богомолье подался?— сердито спросил он.

— Странствую...

— А это как?

— Хожу, гляжу, как люди живут.

Пастух неодобрительно покачал головой, сплюнул:

— Нашел дело — людским горем любоваться! С рукой-то что?

— Болит.

— Вижу.

— Плохо видишь. Я тебя сразу узнал, а ты нет! Кобылин?

— Ну?

— Старший?

— Он самый.

— Теперь меня узнай.

Кобылин протер слезящиеся глаза, разогнал перед лицом вонючий дым самокрутки:

— Бог тебя знает!— осторожно сказал он.— Может, в тюрьме приходилось?..

— Про Савелия Сочнева ничего не слышал?

— Слышал.

— Так вот...— начал было Савелий, но изумленный Кобылин перебил его.

— Быть не может!.. Так чего же ты сразу-то не сказал? Ить я матершинник, осквернить мог со злости!—

он отбросил палку и развел корявыми руками с обтрепанными рукавами немыслимой одежонки. — Дай-ка я тебя поцелую, дитятко!

Целовал, как маленького, в щеки, в лоб, отстранялся разглядывал:

— Накось, переменился-то как! Побывать, значит?

— С фронта я, раненый. Отдохнуть надо.

— Знаю, Максимка письмо писал, мол, воюет дядя Савелий!

— Так он не дома? — обрадовался Савелий Дмитриевич твердости Максима.

— Нет, в Питере! Бедовый, знать, такой, что у Ильи Степановича волосы дыбом! Оська-стражник из волости рассказывал, дескать, Максим-то политический. Против властей идет, напрямик все! Войну — долой, царя — к ядреной матери, помещикам — спичку под ж... Куда там!.. Коська-то интересуется им, когда бывает, и про тебя кое-кого расспрашивал, мол, где да что? Потеряли, знать!

— Какой стражник? — спросил Савелий Дмитриевич.

— Тот же! Может, помнишь, ходил — сопля до пупа. Ну, Коська, старосты Крынкина сын, муж Катеринин! Не помнишь?

— Нет.

— Заявится, увидишь. Со шпорами, вроде петуха ряженый, шашка сбоку, усы отрастил сопли придерживать!..

Рыжая корова, отбившись от стада, уже вновь паслась в хлебах. Выругавшись, Гаврила указал на нее:

— Полюбуйся! Вся в хозяина. А чья, думаешь? Нифонта-душегуба! Рассержусь — титьки отрежу ей к ядреной матери! — и сказав «подожди», побежал, хлопая кнутом.

«Коська, муж Катерины,— размышлял Савелий Дмитриевич, пока бегал Кобылин,— какой Катерины?.. Неужели?..» Как наяву, тикали ходики, шумел, распевал самовар, она стояла, прислонившись к печке, упираясь в чистый пол крепкими загорелыми ногами...

— Мужик-то, наш брат, Савелий Митрич,— говорил Кобылин, вернувшись,— последние портки донашивает. Последний хрен без соли доедает. Нифонт похлеще Лунина грабит. Туды не пойдешь, сюды не шагнешь: лес — его, луг — тоже. Молотить — к нему, муку молоть — его мельница. За помол берет не по-божески да еще сзади

жернова ларчик потайной наладил. Говорят, фунтов по десять от мешка ворует!..

Но Савелию сейчас наплевать было на Нифонта. Он хотел и боялся спросить, какую Катерину упомянул Кобылин, и, наконец спросив, затаил дыхание, ожидая ответа.

— Две Катерины у нас на все село,— сказал Гаврила.— Одна старуха. Другая — она, Коськина баба. Не помнишь? Ну, бойкая-то, про которую говорят: «Разожгут целым миром, а Катерина плюхнет и разом потухнет!». С девчонок такая, на одном месте три дыры провертит, а правильная, ничего не скажешь. Нет-нет да так пугнет своего стражника, он инда у отца родного места себе не найдет. И сынишка в нее — ежистый, Коську-то не отцом зовет, тараканом. Годов пять-шесть пострелу, а отчудит — большому не придумать; то лягушек насует Коське в карманы, то нехорошо сказать, дерьма всякого...

— Как там Феодосия, Дементий, Илья Степанович?— перебил Савелий неприятный для него разговор.

— Богу молится Илья Степанович. Тебя за Максимку ругает, испортил-де парня, с пути свернул. Феодосия как раз с Катериной в подругах, водой не разольешь. А Дементий — этот вольная птица, святой человек. Если бы не он — у нас бы с братом половина ребятишек примерла. Услышит, кто занедужил — сам, незвано идет: «давай полечу». Да-да! Ты вот бы про кого спросил!— спохватился Гаврила радостно. — Про девчонку, которую Дементию тот раз подкинули. Разумница! Когда Дементия нет,— сама знает лечить чем, сама полечит. Тут отец Сергей во время крестного хода в канаву оступился, ногу свихнул. Дементий-то, знать, в лесу был. Тогда за Данькой сбегали. Пришла, ручонками прощупала ногу, тянуть давай. Сюда потянет, туда потянет, потом как дернет — и на месте нога. Отец Сергей прослезился даже. Крестом благословил ее. Теперь каждую обедню первой за здравие поминает, на всю церковь кричит; «Храни, боже, рабу свою Дарью Дементьевну, молитесь за нее, православные!» Попробуй кто не перекреститься в это время да поклон не воздать,— к анафеме причислит отец Сергей за это. Так и говорит: «Подождите, Дарья Дементьевна еще удивит Россию-матушку!». Сказывают, на случай кончины грамоту написал, дескать, движимое

и недвижимое — ей завещаю. Вот он, Дементий-то, сам человек — человека растит!

«Чудак ты, Савелий,— упрекал самого себя Сочнев, когда пастух отходил, чтобы оттеснить от хлебов стадо.— Ни встретить некому, ни проводить... Правда, вроде кукушки... Придумал себе Катерину, взял мечту, а живое, что было в человеке, отдал другому...»

Мечтами жить хорошо в молодости. С годами сердце требует пристани, плечо хочет постоянно чувствовать плечо жены, друга, матери твоих детей... Эх, Катерина, Катерина, неразгаданная загадка!.. Соединить воедино ту, мечту-Катерину, с этой, «Коськиной бабой», значило опустошить душу, лишиться последнего тепла ее. «Нет, нет!— мысленно повторял Савелий.— Та Катерина не должна умереть!»

Но он старался оправдать и «Коськину бабу»: «Чего другого ты мог ожидать, романтик? Что необъяснимо в том, что женщина захотела стать матерью, женой?». Все было так, как должно быть. Для тебя она была той, которую ты запомнил и после короткой ночи. Для другого — другой, «бабой». Она никого не обманула и не должна отвечать за то, что выдумал ты, чего не было в ней. Скажи спасибо и оставь в покое женщину...».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Овеянная сказаниями о Змее-Горыныче, Микуле Селяниновиче, увешанная жесткими подгузниками для просушки, исподними и станинами, с горшками и варежками на шестке, ты вошла в крестьянскую избу мудрой волшебницей! Теплая, тараканная, нескладная, закопченная, ты стоишь, прогнув дубовые половицы, опершись на помело и ухваты, прислонившись к бревенчатой стене... Русская глинобитная печь!...

Кому не по сердцу твои кислые щи, блины-прыгунцы да картошка-разварихa!..

Эх, да что может сравниться с тобой, отрада старушечья! Озяб — на печь. Простудился — в печь. И уголек для наговора, и золу на щелок — все даешь.

Не на тебе ли под дерюгой любили и шептали ласковые слова, рождались и умирали деды и прадеды? Не ты ли прячешь крестьянок от пьяных мужей и кручинушки тяжкой?..

Затоскует молодуха-солдатка, придет ей на ум грешная мысль — хворой притворится, на печку юркнет в потолочную щель глядеть, тараканов считать да совесть звать. Но отлежиться там, проплачется, поразомнет на жару крутые бедра, глядишь — по-прежнему в чести ходит, алым маком цветет!..

Русская, глинобитная печь...

Без тебя бы дуги не согнуть, каравай не испечь, не сварить бы хмельной браги. Да и плясать-то, как говорится, от тебя начинают! Боком-боком пойдет мужик, шир-шир лапоточком. Плечом поведет, глазом моргнет да как выбросит вдруг коленце, как встряхнет буйной головушкой, что даже ты с ним вместе ходуном заходишь, эх да что ты, пропасть!

Ходи, изба, ходи печь, хозяину негде лечь... Хозяюшку приголубь — на подсолнечники рубль! Эх!.. эх...

Печка, печка, кому ты расскажешь про красавицу Катерину?!

Почувствовала себя тяжелой и давай думать, как грех прикрыть. Самой-то что... плюнуть и растоптать. А ему каково на миру будет!..

Тут-то и подвернулся староста Ксенофонт Крынкин.

По осени стояла Катерина, опершись руками на ивовый плетень, глядела, как над перелеском кружатся стаи отлетающих грачей. Дул ровный холодный ветер, на душе было тоже знобко и пустынно, что и в полях — грязная мокрота, что и в небе — тяжело, облачно, что и вдали — пасмурно, беспросветно... Позвать бы Савелия, вернуть бы назад грешную ночь!... Не вернешь. Да и надо ли деревенской женщине сплетать судьбу свою с городским человеком...

— Здорово, молодуха, — прогнусавил сгорбившийся от старости Ксенофонт Крынкин, навалился бороденкой на палку.

— Здорово, коль не шутишь.

— Крыша у тебя прохудилась, гляжу.

— Сама вижу.

— Позвала бы моего Осипа, поможет.

— Пошли, пусть придет...

Заявился Оська в новой рубашке, новых портках, по-праздничному причесан. «Жених, — подумала Катерина.— Хитры вы с отцом-то, а я похитрее! Погляжу, каков ты». Подсадила неловкого Оську на крышу, за вилы взялась. Как ни подденет солому — так чуть ли не целую

копну кинет. Оська не справляется, сорит солому, а Ксенофонт издали наблюдает, обидно ему за сына. Вечером он его спрашивал:

— Чай-то пить оставляла?

— Оставляла,— тушевался Оська.

— Чего не остался?

— Не знаю.

— Э-э, лапоть! Будь я на твоем месте — переночевал бы!

Оська смущенно молчал, а Ксенофонт косился на старуху жену.

— Высидела сынка! Две щепки сложила да горсть дерьма положила!..

Сам пошел. Катерина мыла полы с голыми руками, в подоткнутой юбке. Оглядывал ее слезившимися глазами: «Хороша! Эх, работница будет!».

— Слышишь, молодуха, поближе бы нам с тобой...

— Подходи!— смеялась Катерина.

— Я не про то.

— А я не про это.

— Выходи за Оську.

— Плюгав сильно.

— Молод, справится.

— Ума мало.

— Наживет.

«Не все вам смеяться надо мной,— подумала Катерина, — давайте я посмеюсь над вами!» И разрешила посылать свах.

Свадьбу сыграли богатую. Молодых отвели в горницу. Подвыпивший Оська проявлял нетерпение, лез целоваться. Подвалился было под бочок и начал с того, чему научил отец, но Катерина строго сказала:

— Нельзя.

Прождал он месяц, возмутился:

— Ты чего, баба?

— Нельзя.

Вот уж и живот обозначился у Катерины. Оська в драку:

— Чей, потаскуха?!

— Богов.

Размахнулся, ударил кулаком по лицу. Не так больно, как обидно сделалось Катерине, но она засмеялась:

— Э-э, да ты и драться-то не умеешь, сморчок! Постой-ка я тебя научу...

Развернулась, будто косу занесла над тяжелой болотной травой, чуть пригнулась, вздохнула и влепила по всем правилам кулачного боя, снизу вверх, в Оськин пухлый подбородок.

— Удавлю другой раз, если драться надумаешь!

Не успел Оська подняться на ноги, опомниться, а она уж коленкой к полу придавила, за горло взяла.

— Слушай, — сказала, — запоминай: ребенок не твой, от тебя, недоноска, родить не собираюсь, но упаси тебя бог, коли пикнешь кому!..

Молчал Оська до того, как не определил его Ксенофонт в стражники. В первую же побывку набрался храбрости припугнуть жену. Начал вроде по-хорошему:

— Ладно, прощаю. Савку за своего признаю. В волость возьму вас, только давай жить, раз обвенчаны.

— Добрый, гляжу,— говорила Катерина сквозь сжатые зубы.— Дурак, разве за такое прощают жен?

— Мила ты мне.

— Что ты!

— Покою не нахожу, думаю о тебе.

— Думал теленок о волке...

— А ты не дури, я ведь при власти. По чести не захошь — заставим!

— Попробуй.

Слово за слово и поджег Катерину: накинула она Оське на шею полотенце, душить начала помаленьку.

— Грозишь, несчастный!

Грех не случился из-за того, что заглянула любопытная Харитиния. А Катерина успела расслабить полотенце, руки положить на плечи очумелому Оське, будто обнимает его.

— Опять провожаю,— пожаловалась она Харитине,— не успел поприехать — собирается! Вот она, служба-то! Замаялся, мой миленький...

Никто не догадывался на селе, почему Катерина назвала своего сына Савкой, не знала о том и задушевная подружка ее Феодосия. «К чему пятно класть на Савелия Дмитриевича, сама напутала — сама и распутывай!» Но по мере того, как подрастал парнишка, Феодосия все

пристальней и пристальней приглядывалась к нему: он кого-то напоминал ей...

Сегодня, забрав с собой Савку и Даню-соловушку, женщины ездили в рощу за валежником. Катерина была непонятной: истово обнимала сынишку, жаловалась Феодосии:

— Эх, жизнь у меня, Феня!.. Накуролесила — не разобраться. Зачем за Оську вышла. Висит он у меня камнем на шее. Сдох бы, что ли, а то своими руками порешу...

— Господь с тобой!— удивлялась Феодосия.— В уме ли ты?

Катерина сдвигала брови:

— Рука не дрогнет! Тот раз я ему в чай... так индо вывернуло его, позеленел... Свекровь молоком отпоила, выжил, таракан запечный!..

— Травила?— у Феодосии от страху замирало сердце.

— С места не сойти, травила! Случается, делаюсь — себя не пойму, бешеная!..

— В тюрьму ведь сошлют. Парнишка-то на кого останется?..

— Разве что он удержит!— сдернула с головы платок, утирала им воспламененное, горячее лицо, шептала, кривя губы:— Тяжело, Феня, не знаю, куда деться. Кипит во мне, огнем жжет...

Возращались под вечер. Закатное солнце пронизывало рощу красными лучами. К селу помаленьку продвигалось стадо. Гаврила Кобылин в золотом озарении стоял на дороге, и, как только Катерина и Феодосия поравнялись с ним, он взял их лошадь за узду.

— Тпру! Цалуй, Феодосия, новость скажу!

— Отпусти!— строго сказал Катерина.

— Не отпущу.

— Кнута получишь!

— У меня длиннее.

— Говори. Нам некогда. А поцелуй Фотинии своей неси.

— Гости у вас, Феодосия. Угадай!

— Максим?— радостно всплеснула руками Феодосия.

— Нет.

— Ой, напугал! Да ну тебя...

— Максимка в Питере. Пока один... Кто?.. Савелий Дмитриевич заявился. Прямо с войны, раненый.

Феодосия облегченно вздохнула, повеселела. А Катерина покачнулась, выронила вожжи:

— О господи,— сказала она и вдруг соскочила с воза, опрометью кинулась к селу. Бежала, разметав по ветру черные с синим отливом волосы, потом остановилась, покачиваясь. Дождалась, пока Феодосия подъедет к ней. Попробовала усмехнуться:

— Сдурела я...

Но было уже поздно. Феодосия взяла в ладони голову Савки и, поглядев на него, узнала вдруг:

— Как похож!.. Так ведь это...

Катерина тихонько заплакала:

— Да...

Обнявшись, заплакали обе.

— Что же теперь,— причитала Феодосия.— Гаврилато, чай, догадался!..

— Я не боюсь,— всхлипывала Катерина.— До Савелия Дмитриевича не дошло бы...

Савка напряженно думал. В больших карих глазах Дани-соловушки зародилась догадка — страшная своей неожиданностью.

Когда-то, давным давно, Катерина что-то принесла в одеяле и попросила Феодосию понянчиться, а сама ушла. В одеяле оказался крохотный Савка. С тех пор они с Даней часто бывали вдвоем или у Макаровых, или в избе отца, или у Катерины.

Даня помнит, как Савка начинал ползать, учиться ходить, разговаривать. С наступлением первых осенних холодов до весеннего теплого солнышка они просиживали на печи — пережидали непогоду, отогревались после катания с ледяной горки.

У Крынкиных грелись всего один раз. Тогда сам Ксенофонт, держась за лавку, мял ногами лен. Его жена Евдокия пряла, Катерина что-то штопала. По случаю какого-то праздника горела лампада. Было тихо, и вдруг Катерина запела:

Окрасился месяц багрянцем,
Где волны бушуют у скал,
Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя ожидал...

У Евдокии выпало из рук веретено, она испуганно стала креститься:

— Свят, свят!..

— Кто ты? Кто?— тараща глаза на Катерину, заорал Ксенофонт. А ей хоть бы что:

— Здорово живешь, не узнал!

— Да как можно... Праздник какой!

— Иди ты...

— Куда?!

— Куда слышал.

Со злости Ксенофонт сел на пол, затряс кулаками:

— Оське пожалуюсь. Приедет — все расскажу!

— Молчи уж со своим Оськой!..

— Потаскуха!

— Сам кобель!..

— Убирайся и выблядка забирай!..

И тогда Катерина ушла снова в свой дом...

Другой раз, от нечего делать, Даня большими овечьими ножницами стригла белые волосы Савки, а он, покорно положив ей на колени голову, рассказывал:

— Нынче к мамке таракан приходил, в душу мать ругался.

— Какой таракан?

— Оська Крынкин.

— Он же отец тебе.

— Оська-то?.. Скажешь!..

— Кто же?

— Мамка меня у нищего выпросила, который меня в сумке носил.

— Дурак, ты ничего не понимаешь.

— Ты понимаешь. Мамка-то больше знает. Сама говорила: смотри, Оську отцом не зови, он таракан запечный. Отец мой на войне. Мамка велела думать о нем. Я на него похож, только маленький, а он знаешь какой!

Теперь Даня-соловушка легко решила, кто отец Савки... Дядя Савелий, тот человек, который сидит на пожелтевшей карточке, а Максим стоит рядом, положив ему на плечо руку. Но почему мамка Феодосия и Катерина плачут, если в гости приехал дядя Савелий? Зачем нужно скрывать от людей, что он Савкин отец?..

Дементий научил Даню помогать людям и быть правдивой, поэтому она и высказала, что думала:

— Кто кривдой живет — тот деготь пьет!..

Сказала и ошарашила обеих женщин.

— Чего болтаешь?— насторожилась Феодосия.

— Я не умею болтать,— недовольно ответила Даня.

— Ведь не знаешь, о чем мы!

— Знаю.

— О чем?

— О дяде Савелии, он Савкин отец...

Савка метнул на Даню радостный взгляд, заулыбался, а женщины побледнели. Долго ехали молча и лишь перед самым селом Катерина попросила Даню молчать.

— Я-то всегда промолчу, а вот он...— она указала на Савку.— Слово даст и не сдержит.

— Сдержу!— спрятал веселые глаза Савка.— Погляжу издали и хватит.

А сам подумал: «Ишь, чего захотели! Настоящий отец пришел, а я молчи. Нет уж, не нужно мне таракана запечного. Нынче же к отцу убегу!».

Напрасно Данька считает его маленьким, глупым. Если она больше знает, как живут звери и птицы, то куда меньше про людей. Недолго он верил в то, что мать выпросила его у какого-то нищего, так не бывает!.. Он бы и сам догадался, что Оська ему не отец, потому что только из-за него постоянно ругался с матерью, скверными словами называл ее. Один котенок Пушок знает, как сердился Савка и на того отца, который настоящий. Если мать его прячет от Савки, если сам прячется от сынка своего, то, знать, хорош гусь! Знать, нечестно родили Савку на свет...

Когда в избе пыль столбом, Савку на печку посылала мать. С котенком играть, словно он оттуда ничего не услышит, не поймет, что Оська-таракан добивается, с кем «согрешила» мать. А согрешила, значит, его родила — лобастого, пучеглазого Савку.

Пушок белый, с черным пятнышком меж розовых быстрых ушей. Хитрый котенок. Прежде чем попросить что-нибудь, всегда пытается задобрить, гладит Савкины ноги хвостом и мордой, рассказывает: «Курлы-мурлы, горы круты. В реке рыба, в бору — грибы». И про воров-разбойников умеет Пушок: «рыли воры в горе норы», но зачем это Савке!

— Скажи, где отец? — спрашивал он у котенка. — Правда, что на войне?

— Врут-врут, врут-врут...

— Мамка, чей же я?— сердился Савка.— Долго врать станешь?

— Не вру, сыночек, не вру.

— Куда отец девался?
— На войну ушел.
— А придет он?
— Придет, придет.
— Смотри у меня!..

С печки Савка видел всю избу. А чтобы представить ее мысленно, нужно в передней стене прорубить три окна, четвертое в левой стене. Длинный стол и скамейки сдвинуть под божницу в правый угол, где икона спасителя постоянно кому-то грозит пальцем. Кому? Наверно, чертям и ведьмам, чтобы они не вылезали из-под шестка и не пугали Савку. Надоедало глядеть на судницу, на помятый медный самовар, на чугуны и квашню, и Савка убегал на улицу. А там... две сторонки убогих лачуг. Вправо пойдешь — собаки злые, влево пойдешь — драчуны ребятишки. На месте будешь стоять — все равно покоя не дадут: кто бы ни прошел — старуха, мужик, баба — обязательно скажет обидное что-нибудь. Лучше нет быть у Даньки, слушать деда Дементия или уйти с ними за село в чистое поле...

Илья встретил гостя с затаенной враждой, настороженно. Разговаривал нехотя, без нужды тер шею, кряхтел:

— Да-а... Дела-а... И чего бог не вступится!..

Феодосия была ласкова и приветлива, но и в ней Савелий находил какую-то напряженность, что-то стесняло ее. Заходил Андрейка — угрюмый, недоверчивый. Мужиковато посидел на порожке, понаблюдал за дядей искоса, покурил, как совсем уже взрослый и посторонний.

На замечание Савелия «не рано ли курить» ответил независимо:

— Табачок — работничек...

В нем поражала матерость сельского хитрого мужика, человека «себе на уме».

— Энтот не Максимка-вертопрах, — похвалил Андрейку отец.— В гору идет. Нифонт обещает на какой-нибудь из дочерей женить, с приданым хорошим. Энтот свою дорогу нащупал!..

— Только и разговору — о женитьбе, — вмешалась Феодосия.— Слышать-то, поди, стыдно мальчонке!

— А чего? — усмехнулся Андрейка. — Стыд не дым...

— Ну ладно, а на которой жениться-то собираешь-

ся?— спросил Савелий, стараясь придать вопросу шутливый тон.

— Какая подвернется.

— Вдруг не захочет ни та, ни другая?

— Захочет, коль Нифонтова кулака попробует...

Савелию вдруг стало больно и стыдно. Он посмотрел на Дементия, покачал головой. Дементий растерянно заморгал увлажнившимися глазами.

— Болтает он, Савелий Митрич, чужое на языке-то у него!

— Чье?

— Не твое, конечно, — мрачно сказал Илья. — Не городское. Ты Максимку бы показал, что из него сделал... Забастовщика!... Шарлатана!..

— Человека! — насилу сдержался Савелий, чтобы не высказать всего, что думал в эту минуту. — Человека, Илья Степанович...

— Как раз для каторги! Что ни письмо — то хоть с каждым в полицию беги. Андрейку к себе манит, да Андрейка-то не дурак!

— Зато доносчик! — невозмутимо сказала Даня, строго глядя на Андрейку.— Скажешь — нет?..

— Цыц! — по-отцовски огрызнулся он. — Подзатыльника захотела?

— Не цыкай! Сама слышала, как Оське-уряднику про Гаврилу Кобылина рассказывал... И про Максима, и про дядю Савелия...

— Да что она!— чуть не заплакал вконец растерявшийся Андрейка.— Уйми ее, дедушка!

Впрочем, все растерялись, кроме Дани: в самую тягостную минуту молчания она подошла к Савелию, взяла его за руку:

— Пойдем к нам, дядя Савелий, ну их!..

И увела. Там, в Дементьевской тесной избе, они поужинали в потемках. Ели картошку с квасом, горевали. Дементий старался оправдать Андрейку, упрашивал Савелия:

— Не пеняй на него, батюшка, не виноват он! Подлость-то в него, как гвозди забивают, в самое сердце. Попервости сопротивлялся парнишка, да где устоять!.. Одолели... Переломили...

— И твое дивное-диво не помогло!..

— Нет, не помогло, сударик... Теперь за тебя боюсь. Власти тобой неспроста интересуются! Поберегись...

— И то думаю: из гостей-то бежать нужно...

Спать Савелий пошел в сарай. На остатках соломы нашел постель, приготовленную Даней, лег. В прохладной тишине возились и попискивали мыши. Прошлогодняя сенная труха издавала тяжелый тюремный запах. Сон не шел, и не потому, что горько было на сердце, не потому, что из села доносился тоскующий женский голос, убаюкивающий ребенка, — мешало что-то другое, похожее на предчувствие. Почему-то хотелось подняться и спросить: «Кто здесь?»

Полежав с открытыми глазами, Савелий вышел покурить. Прямо, почти на уровне лица, висела круглая луна. В удивительно легкой и прозрачной синеве слабо мерцали звезды. От построек падали резкие вороные тени. Изумрудно поблескивали, стлались вдаль росные луга, и туда, как в безвестность, туманом полз тягучий голос:

— А-а-а...
Все ушли за рыбою-у-у...
А, баю, баю, баю-у-у,

Шатко, ломко прилетела сова и не села, а шлепнулась на копешку гнилой половы, затаилась. Не то чудилось Савелию, не то действительно глядели на него зеленые огоньки сатанинских кошачьих глаз.

Все ушли за рыбою,
Да забыли милую-у-у...

Голос был безнадежный, неприятный, как будто бредила женщина, повторяла одно и то же.

Сквозь сильно разросшиеся кусты крыжовника протиснулся Андрейка, спросил, подходя:

— Дядя Савелий?

— Я.

— Ты что?

— Курю, думаю.

— Спать пора.

— Это я без тебя знаю, — обрезал Савелий. — Ты лучше спроси, о чем я думаю.

— Мне-то, я на огонек, покурить собрался...

— Я думаю о тебе, — начал Савелий,— о том, как из раба ты становишься прохвостом, мошенником.

Андрейка потупился:

— Каким?

— У вас с Максимом одна мать,— продолжал Саве-

лий.— Вы братья-близнецы. Вы очень похожи. Но ты ему враг. Ты, может, не понимаешь этого?.. Если не понимаешь — объясню.

— У меня своя голова,— мрачно сказал Андрейка.— А Максимка пусть мне не мешает. Я в люди выхожу.

— Чужие слова. И весь ты чужой, Андрейка!..

Какое-то время Савелий стоял без мысли, с холодеющим сердцем. Женщина пела колыбельную, беззаботно светила луна. С ноги на ногу переминался Андрейка. Потом откуда-то издалека из тихой голубизны ночи появилось ощущение боли в груди — острой, звенящей. Им овладело сложное чувство злобы, жалости и презрения... И обязанности что-то предпринять.

— Бросай все. Поедем со мной к Максиму,— пересилив себя, предложил Савелий Дмитриевич.

— Мне и здесь хорошо.

— Как знаешь...

Затоптав папироску, Савелий пошел к раскрытым воротам сарая. В прохудившейся соломенной крыше нашел кусочек неба, а на нем очень слабую звездочку — такую же, какую перед ранением наблюдал из окопа. Подумал. Сравнил ее с Андрейкиным сердцем — одиноким, затерявшимся во власти тьмы. «Нет, надо бороться, надо постичь это сердце, отвоевать!»

Потосковал о Максиме, отогнал мысль, связанную с Катериной, и решил спать, чтобы завтра на свежую голову поговорить с Ильей Степановичем об Андрейке, походить по селу, поузнавать, что толкует народ о войне, о мире... Какова под ногами почва у таких, как Нифонт.. Далека ли отсюда желанная революция...

«Когда не спится, я ребятишек в уме считаю.— говорил в госпитале солдат, контуженный и ослепший.— У меня их целых тринадцать душ. Как поставлю во фронт да как подам команду — «на первый-второй рассчитайсь» — так и слышу всех. Сперва Нюрка, потом Миколка. А самый меньшой «неполный» кричит. Голос его знаком мне, а самого вообразить не могу, без меня родился».

«А я попробую телеграфные столбы считать! — усмехнулся Савелий.— Один да один — два...»

Но опять мешало уснуть предчувствие близости живого существа. Напрягая слух, он даже, в конце концов, начал улавливать чье-то дыхание. «Что такое!» И как

ни опасался зажигать огонь в сарае, все же пришлось чиркнуть спичкой. Короткая вспышка на секунду раздвинула мрак и тут же погасла в ладонях. Но этого было достаточно, чтобы, увидев, вскрикнуть от неожиданности и удивления:

— Не может быть!..

Савелий дрожащими руками зажег другую спичку и вновь увидел то же самое: посреди сарая на земляном полу стоял босоногий ребенок — белоголовый, в белой рубашке — и, улыбаясь, загораживался от света...

Веря и не веря самому себе, переборов ужас, Савелий Дмитриевич подозвал ребенка, обрадовался, когда взял его за плечи и почувствовал живое, теплое.

— Ты что тут?— спросил шопотом.

— К тебе,— уверенно сказал мальчик.

— Как это?!

— Так.

— А чей ты?

— Твой.

— Нет, ты ошибся, не в этот сарай зашел! Отца-то как зовут?

— Савелием. Это ты мой отец.

— А тебя?

— Савкой.

— Ну, Савка, ты меня так перепугал, что и не знаю, как опомниться! Давай разбираться, пока я с ума не сошел! Чей ты?

— Твой.

— Ну ладно. А мать кто?

— Катерина.

— Катерина?! Боже мой... Неужели!..

Савелий взял Савку на руки, поспешно вынес его на лунный свет, разглядывал, поражался:

— Милый! Да неужели?!.. Ведь у тебя другой отец!

— Оська-то? Фига два! Мамка его давно выгнала, отцом не велит звать. Ты не знаешь, как ревела она нынче. Меня не пускала к тебе, а я убежал!

— А она тебя ищет?

— Наверно.

— Может, ее позовешь?

— Не пойдет, она боится тебя.

— Почему?

— Не знаю.

Не зная, что предпринять, томимый какой-то радост-

ной болью, Савелий прижал к себе сына и стал ходить с ним вокруг сарая, готовый закричать или заплакать. У него не было сил справиться одному со своим разнесчастным счастьем, нужен был кто-то третий, который бы сказал, что это не сон, что может быть так в жизни, что надо поверить в чудо.

Савка не понимал отца, он верил во все. Верил, что ждал именно этого человека, с седыми висками, с морщинками у глаз, с этим голосом и сильными руками, которые держат его,— родные бережные руки. В первый раз он на груди у мужчины, а мужчина — его отец, что же ему нужно еще!.. Он трогает белые виски, гладит колючую щеку, ощущает дыхание и запах табака. Отец, а кто же еще!..

— Тять, ты не устал?— начиная дремать, спросил Савка.

— Нет, милый.

— Рука ведь болит?

— Лежи, лежи. Мне хорошо.

— Мне тоже...

Савка постепенно стал обвисать, расслабляться и вскоре засопел — покойно и ровно.

— Что же делать с тобой, милый мой мальчик?— Савелий наклонился и осторожно поцеловал крутой лоб.— Сынок, сынок...

Там, где опустилась луна, растекался и мерк золотистый ее отблеск на легком весеннем небе. Все мягко погружалось в синюю тишину безмолвной сельской ночи. Видимо, этой поры и ждала Катерина. Неслышно ступая по росной траве, она приблизилась к растерявшемуся Савелию — прямая и стройная, поклонилась повинно:

— Прости меня, Савелий Дмитриевич.

— За что?— с ласковой нежностью спросил он.

— Виновата я перед тобой.

— Полно, Катя!— он высвободил и протянул ей раненую руку. Катерина очень бережно взяла ее, приложила к мокрой горячей щеке. Плечи у нее вздрагивали. Ее бил озноб.

— Виновата...

— Не надо... За сына спасибо!

Катерина вдруг перестала плакать, затаилась, словно к чему-то прислушивалась, потом подняла лицо, смело и радостно поглядела в глаза Савелия.

— Ты поверил, ему, Савелий Дмитриевич?

— Поверил, Катя. Только не величай меня.

— Себя-то узнаешь в нем?

— Узнаю, Катя!

— Господи, как я боялась! Он убежал давеча, а мне хоть в петлю... Думаю, оскорбиться человек может... Мне-то... Я проклятая.. Ребенка жалко... Ведь он только и жил тобой... А горюшка, помыканий... не меньше моего испытал!... Ты, может, возьмешь его? Я отдам... Он любит тебя!...

— Вместе с тобой,— улыбнулся Савелий.— Только с тобой...

Катерина поникла:

— Куда мне!.. Я чужая. Отрезанный ломоть...

— Нет, ты, Катя,— жена моя. Мать моего ребенка.

Савелий выдержал долгий и строгий взгляд Катерины, повторил:

— Жена.

— Людей не боишься?

— Нет.

— Веришь мне, что я чиста перед тобой?

— Верю, Катя.

— Спасибо, Савелий...

Голос ее сорвался. Она ткнулась головой в его плечо, немного поплакала:

— Чего же стоим здесь? Дай-ка мне его, домой пойдем!

И там, в постаревшей избе, при свете коптилки вновь повторилось далекое: расторопная Катерина пахучей берестой разжигала самовар, прислонялась к побеленной печке, стояла — руки назад, глядела и не могла наглядеться на родного человека, который по-хозяйски прохаживался по самотканной дорожке, разостланной на чисто вымытом полу, останавливался у постели Савки, гладил его белую голову, подходил к ней — к счастливой Катерине, обнимал ее...

Женским чутьем она безошибочно угадывала, что Савелий верит в ее чистоту перед ним, поэтому внутренне гордилась собой, радовалась его радостью. А что будет завтра, в какие колокола зазвонит молва — ей безразлично! Она сполна расплатилась за глупую и озорную шутку над Оськой Крынкиным, за свой непонятный характер.

Сегодня за многие годы Катерина расцветала, цвела.. любила... А до чего же хороши женщины, когда они

любят верной большой любовью! Какую могучую силу они вселяют тогда в мужчин!.. Что бы ни говорили, но уж если запятнана совесть, она не отмывается вовеки. Это не деготь на воротах, не ягодой испачканное бело платье: ни отмыть, ни выжечь, как не уйти от собственной тени. Какие бы ни выпадали ясные, светлые дни в жизни, тень будет гуще, заметнее. Благословенны и по-настоящему счастливы лишь те супруги, которым нечего прятать... И Катерина светилась, сияла и грела Савелия святым женским теплом...

Для чая вынула из сундука любовно завернутые в полотенце две старинные чашечки.

— Помнишь, мы из них тогда пили!

Там же в чистой тряпочке хранились и окурки папирос.

— Смотри-ка, накурил тогда сколько!.. Я все возьму, понюхаю да опять спрячу...

Стелила постель, прятала глаза, улыбалась:

— Все то же, как тогда...

Коротки весенние ночи! А особенно та, в которую приходит самое большое желание. Не успел Савелий забыться, как почувствовал, что верхом на нем сидит Савка — понукает, пришпоривает в бока острыми пятками.

— Тять, вставай! Мамка блинов напекла!

— Не буди, рано еще. Пусть поспит отец,— сказала Катерина и загляделась на них, забылась со сковородником в руках: «Господи, уж не снится ли мне!»

А Савелий, не открывая глаз, прислушивался к словам «тятя», «отец» и тоже радостно удивлялся.

Пошли умываться, Савка впереди, за ним Савелий, Катерина — за ними — с полотенцем через плечо, с кувшином в руке. Во двор влетали и вылетали из него быстрые ласточки. В большой прямоугольник ворот, как в раму, врезался кусочек неба и зелено-дымчатый росный лужок с темными следами Катерининых босых ног — это бегала она в огород за свежим луком, чтобы подать его Савелию вместе с бутылочкой годами береженного вина.

Катерина наливала Савелию полные пригоршни холодной воды, он плескал ее себе в лицо, на шею, отфыркивался, вздрагивал, чувствуя пробуждение сил и остроту свежей зелени, запаха ромашек, над которыми стоял, согнувшись.

— Давай, как тятькe! — сказал Савка, подставляя руки.— На затылок полей!

— Ты же только нос моешь!— засмеялась Катерина.

— Давай, как тятькe! — решительно повторил Савка. И тоже кряхтел, отфыркивался.

— Рубашку мочишь!

— Высохнет!

Путаясь в длинной юбке, мимо пробежала безносая Харитиния, споткнулась и чуть не упала.

— Начинается, — печально промолвила Катерина.

— Ты о чем?— не понял Савелий.

— О нас с тобой... Разговору теперь на селе не оберешься!

— Прятаться?— Савелий погладил Катерину по голове, задержал руку на шее между спадающих тугих кос. Катерина сдвинула тонкие, словно угольком подведенные брови, сказала:

— Нет. С тобой ничего не боюсь!

Потом хорошо-хорошо улыбнулась:

— Пойдем, муженек, чай пить!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Савелий не спеша шел по селу, кланялся направо и налево хмурым старикам, глазастым любопытным солдаткам — мужчина с войны, да еще с Катериной как-то нескладно!.. Кланялся старухам, выползающим из старых изб, останавливался около золотушных пузатых ребятишек, спрашивал «чей», «как зовут».

Против своей избы ничком лежал на дерюге хромой Матвей Орехов и страшными словами ругал жену Василису. Та стояла рядом, тупо глядела в землю — худая, сутулая. Из белого платка, повязанного «шалашиком», торчал восковой покойничий нос. На ней, словно на колу, висело домотканное холщовое платье.

— За что напал?— спрашивала она мужа и дрожала всем телом.

— Отойди, стерва черномощная! — зло, медленно говорил ей Орехов.— Зашибу!

— Закурим,— предложил Матвею Савелий и продолжал осуждающе.— Говорят, ты жену бьешь, Матвей?

— Три дня не трогал,— хмурясь, ответил Орехов.

— Совсем драться не надо.

— Чай, она жена мне, а не кто-нибудь. Колочу по надобности.

— Какая надобность?

— Сам не знат!— всплакнула Василиса.— Нифонт долг спрашивал. А нет, мол, денег — отрабатывайте. А куда я пойду с такой рукой-то?

Она показала отечную кисть правой руки с опухшими пальцами.

— Зашибла?— спросил Савелий.

— Он, Матвей вон, поленом третьего дни. Мало того, по солдаткам наладился...

— Кому говоришь!— захохотал Орехов.— Дура набитая, он сам у Катерины ночует! Мы с ним, если что...

Но, встретив угрожающий взгляд Савелия Дмитриевича, осекся:

— Не я, на селе говорят.. А что бабу учу — мое дело. Посмотришь, как тот же Оська-урядник Катерине наподдает, когда на побывку заявится...

Нифонт завтракал. Увидев Савелия, до половины высунулся из окошка, заулыбался своей страшной улыбкой:

— Доброго здоровья, служивый!— он смел со стола хлебные крошки, отер ладонь о новую, еще не стираную сатиновую рубашку.— По правде говоря, к тебе собирался, да тебя не найдешь. Илья Степанович не знает, Дементий — тоже... Заходи на чаек!

— Спасибо,— поблагодарил Савелий, осматривая большой двухэтажный дом, обшитый тесом, выкрашенный в коричневый цвет.— Богато живешь!

— Живем помаленьку. Кто кого на войне-то?...

— По-разному.

— Поскорее бы с немцами да с австрияками кончали, народ нужен, работать на селе некому. Вертают то безруких, то безногих, куда с ними!..

— А больше убивают,— сказал Савелий, думая: «А ты откупился, паук, тебе горя мало!»

И Нифонт это почувствовал и приступил к делу:

— Я вот что, сенокос скоро. Может, рука-то ничего, может, покосишь у меня?

— Подумаю,— уклончиво ответил Савелий, изучая юркие глаза и силу души Нифонта.

— Чего думать?— заторопился Нифонт.— Слово — и задаточек получай. Мне, вишь, кому-никому платить, а тебе вдвойне могу... Мы как-то свои ведь!— он опустил голову, но взглядом держал Савелия на прицеле, следил: дошло ли, понимает ли тот намек его.

Савелий, конечно, не понял, усмехнулся:

— Это с какой стороны?..

— Да хошь с той, хошь с этой...

— Давай с «этой».

— Ну вот, скажем, годок-другой, да я вашего Андрюшку к себе в дом возьму, на Маринке иль на Наташке женю, а умру — хозяином сделаю, как говорится, наследником. Оно и получается...

— А «с той» стороны?— спросил Савелий Дмитриевич.

— Ты, может, не знаешь,— начал Нифонт, разглядывая свои большие заскорузлые кисти рук, — мы с дедом Дементием давно породнились... Девчонку-то он не в лесу нашел. Я ему выходить отдал ее да так и молчу... Пускай, старику забава, а у меня еще вон две... Мы, правда, молчим оба, это я тебе к слову... Вот вырастет девчонка — тогда уж как сама захочет, кого выберет, куда потянет...

«Хитер! — отметил про себя Савелий.— Бомбу показываешь. Когда же и в кого ты ее бросить-то собираешься?» Про судьбу Дани-соловушки и он все знал от Дементия, но, скрывая это, нарочно удивился:

— Да-а? Это благородно с твоей стороны!

— Видишь! — засмеялся Нифонт. — Стало быть, с двух сторон! — и продолжал потом рассудительно: — Тут третья сторона имеется... Я не связался бы с Андрюшкой, если бы он от другого корня шел. Порода у них цепкая, макаровская! Не сгори тот раз барин, Илья бы Степанович теперь развернулся. Я помню хватку-то его — мертвая!.. Он и сейчас не зря с богом дружит. А Дементий? Дементий без вреда человек, этому не то что дочь, кошелек доверить не боязно. Он ведь, по сути, в няньках у меня. — Нифонт посмеялся, покашлял без нужды, покряхтел.— Да я не обижу и этого. У меня хватит расплатиться...

Савелий стоял и думал: «Как бы не сорваться, не плюнуть в это страшное со шрамами лицо, не ударить Нифонта». Собака, которая искусала его когда-то, словно имела цель сделать Нифонта именно таким, чтобы его

сразу узнавали люди, чтобы не мог он спрятать свою хищную душу.

— Ладно. Подумаю, — сказал Савелий и собрался прекратить разговор.

— Ты не к Макаровым?— спросил Нифонт.

— Да. Илью Степановича повидаю.

— Не торопись. Там, чай, до драки уже дело...

— Это что еще?— насторожился Савелий.

— Из-за тебя, из-за Максимки. Опять письмо получили, а в нем про какую-то революцию, дескать, ты навострил парня... Оно понятно... Только и мне интересно... Может, и правда царь-то наш устарел, как ты думаешь?.. Если что, кому землю-то отдадут, всем поровну или, к примеру, кто сколько обработать сможет?.. Ты растолковал бы мне, что такое эта самая революция?

— Сам плохо знаю, — сказал Савелий Дмитриевич, думая: «Да уж тебе-то не поздоровится, не пышки а шишки получишь!»

— Мне не власть, мне земля да слобода нужна, — будто поняв Савелия, пояснил Нифонт. — Я не Оська Крынкин, не к цели спрашиваю... Понял?..

Савелий молча кивнул.

— Так-то! — со значением подмигнул Нифонт. — Назад пойдешь, заходи...

Илья или пропадал в церкви, или отлеживался на печи, так и эдак прикидывал, туда-сюда метался мыслями, а получалось одно и то же: «Видать, не жить с Максимом! Не на ту дорогу поставил его Савелий!». Надеялся на Максима одно время больше, чем на Андрейку, а Андрейка-то дельный оказался. Этот потихоньку, глядишь, самого Нифонта в кулаке зажмет. Не помешал бы ему Максимка!.. Отречься от него впору, коль против царя пошел, из роду — вон! Ступай на все четыре...

Думал и передумывал Илья. Как утопающий за соломинку, хватался за внезапно пришедшую мысль. Свешивал с печки голову, оглядывал избу и, если никого не было, кроме Феодосии натужно спрашивал:

— Может, к покаянию Максимку-то привести, может, он бога на помощь позовет, на Савелия властям пожалуется, мол, назюкал? Чего молчишь?! Решать надо, пока на каторгу не сослали. Один — сын, другой — дядя, вот и выбирай который люб!.. Чего молчишь?

— А ну тебя к лешему!— отмахивалась Феодосия.— Богу молишься, а душа-то у тебя черная!..

— У-у, мокрица! Одной вы породы, каторжные!..

И рассуждал вслух:

— А ей чего не доставало, Катьке-то, потаскухе? Понимаю, о чем вечерь шушукались вы в сенцах.. А Оська-то, Оська!.. Приходил плакался: «Не подпускает!». Дурак! Сосулька навозная! Будь я на его месте, я бы вожжами скрутил, на дыбу, чем позор принимать! Урядником еще, червяк, называется!.. Ксенофонт тоже хорош, растуды его мать, прости, господи! Давно бы спалил Катерину-то...

Феодосия не могла оставаться вдвоем с ним, уходила. Косясь на дверь, Илья слезал тогда с печки, наедался за перегородкой. Он хлебал щи прямо из чугуна большой деревянной ложкой, обжигался горячей картошкой, соря ею по бороде, тронутой сединой: «Сердишься, сердишься, да и есть захочешь!»

Если заглядывал Андрейка, спрашивал:

— Где они?

— На погост пошли.

— И мать с ними?

— С ними.

— Ишь ты! Две бабы за одним мужиком бегают!.. Чего делать-то будем?..

Ему хотелось поговорить с Андрейкой, а тот отмалчивался, зло кривил тонкие губы. Отец казался ему жалким и ненужным, чужим. «Какое мне дело до вас, у меня есть свое. Нифонт обещает мне одну вожжу в своем хозяйстве.. Одну даст, а другую сам вырву. А когда за обе возьмусь, тогда держитесь! Я все припомню!..»

Андрейка теплел лишь вдвоем с дедом Дементием. С ласковой тихостью слушал его упреки, и если возражал, то коротко:

— Дедушка, так все же жулики.

— А ты не будь! Не поддавайся!

— Кулак у меня еще легок, дедушка. А силы нет— надо лисой быть. Вот подожди...

— Эх, Андрюша, Андрюша... Хоть бы Максиму письмо написал.

— Не умею.

— Давай дальше учить буду.

— Не грамота нужна, дедушка, а сила...

— Очерствел ты, Андрюша!

— Мягкого-то цыпленок заклюет...

— Пойдем в воскресенье в лес, природой полюбуешься.

— Зачем?

— Оттает в груди-то маленько.

— Нет, дедушка, я злость коплю!.. Посмотри-ка...

Плечо у Андрейки содрано, кровоточит — бревна носил с Нифонтом.

— Отказался бы!

— Ты что, не знаешь его? Задушит!

— Нельзя же маяться!

— Злее буду... Да и не зря таскал: сруб будет, избу для меня собирается ладить. Женюсь — тебя к себе возьму.

— Дурачок, тебе ведь рано, годов-то нет!

— Нифонт обещал метрику другую добыть.

— Отца Сергея не обманешь, у него все в книге записано.

— «Куплю и этого»,— сказал Нифонт.

— А совесть у тебя есть? Стыдно еще о женитьбе думать!

— Стыдился, дедушка, потом перестал...

— Поезжай к Максимушке в Питер.

— У меня своя дорога...

К разговору с Савелием готовился Илья не один день. Как только увидел в окно, что Савелий направляется к его избе, засуетился: схватил чугун с остывшей картошкой и торопливо принялся ее чистить желтым ребристым ногтем. А руки дрожали, выдавали волнение. Услышав шаги за дверью, перекрестился на образа, попросил:

— Даруй сил, господи! — и зло выругался, когда Феодосия не сдержала смеха. — Чего ты ржешь, как кобыла на овес! Прости, господи...

Савелий вошел с Савкой и Даней, поздоровался. Феодосия, пристроившись на скамейке, стирала белье в деревянном, похожем на гроб, корыте. Над ее ушами кудрявились припотевшие волосы ; на кофточке, между двигающихся лопаток, проступало влажное темное пятно. О том, что у нее хорошее настроение, можно было догадаться, даже не видя ее склоненного над корытом лица. В ловких руках жамкалось, хрястало грубое са-

мотканное белье, над синеватой щелочной водой барашковыми облаками росла пена. Она сказала:

— Здравствуй, Савелий,— и добавила явно назло мужу:— Как там Катерина-то?

— Тоже хозяйничает.

Илья выронил картошку на пол и не стал ее поднимать, а задумался, держась за края чугуна — изловчился как-то, изготовился.

Савелий сел против него. Теперь он был побритым, в новой белой рубашке, сшитой Катериной «по-модному»— с отложным воротником. Лицо Савелия было еще желтоватым, но потеплевшим, ожившим; от него веяло добрым вниманием, расположением.

Они встретились взглядами. В глазах Ильи стояла откровенная тяжелая злоба, голова подергивалась. Феодосия разогнулась, сбросила с рук пену, стала следить за мужем. Тишину нарушало лишь тиканье ходиков да шумок лопавшихся мыльных пузырей.

— Ты словно меня собираешься съесть!— усмехнулся Савелий.

И Илья медленно отвернулся:

— Уходи. Подале от села уходи. Пока не поздно.

— Грозишь?— спросил Савелий.

— Покамест прошу.

Илья резко поднялся, одним махом сорвал с божницы икону, поставил ее на стол, прислонив к большой солонице, и бухнулся перед иконой на колени:

— Именем Иисуса Христа, всядержителя-творца,— торжественно и благообразно начал он,— даю безвозвратную клятву...

Но ему не дали договорить: в избу поспешно вошла Катерина, а за ней, широко распахнув дверь, Оська — бледный, растрепанный. Он задержался на пороге, облизнул сухие тонкие губы, сказал перехваченным голосом:

— Будешь свидетелем, Илья Степанович!

— Заходи, заходи!— радостно-злым голосом поманил его Илья Степанович.— Как нельзя кстати! Только тебя и не хватало.

— Понимаешь, Илья Степанович, что получается!— начал Оська и поперхнулся.

— Понимаю, сударик!— сказал Илья, зло просияв, Получается — дурак ты мякинистый. Где это видано, чтобы жена не убоялась мужа своего? Об этом даже в

божьем писании говорится! Вон как Матвей Орехов лупит свою, почернела баба от кулаков, рот на сторону свело, а если бы она на глазах мужа, как твоя, скажем, блудницей оказалась... Эх ты, а еще при власти человек!..

Илье изо всех сил хотелось драки, и он продолжал, перебивая Оську:

— Ты в какие свидетели меня просишь?.. Что твоя баба подолом трясет?.. Полюбуйся, она и сама не скрывает: видишь, с кем рядом-то сидит, послушай, кого парнишка-то отцом зовет... Ты посмотри на них: Савелий бабу отобрал у тебя — сидит хоть бы что! Катерина — лыбится! Моя — тоже зубоскалит. Ведь они над тобой смеются!.. Так делай чего-нибудь, засвидетельствую!

Оська понял его, но, оценив обстановку, сказал:

— Нельзя мне, я человек казенный. В суд буду подавать.

— Э-э, мужик!— затряс головой Илья Степанович и махнул рукой.—Мокрица!..

Илья обнаглел, чувствовал это и наслаждался этим. Сдержанность Савелия и Катерины, растерянность Оськи он расценивал как результат своего превосходства судии над грешными:

— Чего языки-то прикусили? Крыть нечем?..

Катерина любовно поглядела на Савелия, на сынишку, смирно стоявшего у него между колен, и будто не слышала Илью. Феодосия спокойно стирала. Даня помогала ей отжимать белье.

Стараясь вывести их из терпенья, Илья принялся сквернословить, не обращая внимания, на детей.

Феодосия выпрямилась:

— Или замолчишь, или помоями оболью!

— А еще?— подлил масла в огонь Илья.

— Иконы твои под порог выкину!

— Попробуй!

— Дай я его отлуплю, Феня!— смеясь, сказала Катерина.

— Сама справлюсь!— Феодосия решительно пошла к столу, где стояла икона, взяла ее мокрыми руками и бросила на пол.— Получай! Еще хочешь?— и, возвращаясь обратно, хлестнула Илью по глазам неотжатыми тяжелыми портками.— Это тебе еще!

А Оське указала на дверь:

— Чтоб ноги не было! — и проследила за ним при-

щуренными глазами, пока тот не вышел, воровато оглядываясь.

— Топор! Где топор?! — опомнившись, закричал и забегал по избе Илья.— Порублю! Растерзаю!

— Сидите,— сказала Феодосия поднявшемуся Савелию.— Он трус ведь, ничего не сделает!

— Знаю,— ответил Савелий,— смотреть противно.

Он взял Савку на руки и вышел во двор. Сквозь щели в заборе пробивались радужные солнечные лучи. Ворковали голуби, равнодушные к рухляди старых бочек, к плесени, паутине по углам. У них одна забота — любить и нежно воспитывать потомство. Коровье стойло и лошадиный хлев покосились. Половицы подмосток трещали и прогибались. Все вокруг обветшало, догнивало, как сама жизнь Ильи Макарова.

Савка погнался за бабочкой, залетевшей во двор, выбежал через калитку на солнечный проулок.

Савелий присел на колоду. Сзади скрипнула дверь. Он обернулся. Из избы вышли с бельем улыбчивые Феодосия и Катерина. Протянули веревку от рябины к огороду деда Дементия, стали развешивать белье.

С усадеб, из-за сараев струился ветерок, сдобренный запахами конопли. Тропинка, ведущая к гумнам, была белой от опавшего яблоневого и вишневого цвета. Под кленом, лопочущим листвой, Дементий отбивал косу, тюкал, согнувшись над станком, кланялся в такт белой головой. Дотягиваясь до веревки, Катерина поднималась на цыпочки, время от времени поглядывала через плечо то на Савку, стоявшего выпятив живот около занятого деда Дементия, то на Савелия. Потом спросила Савелия:

— Хорошо тебе?

Он улыбнулся ей:

— «Но мысль ужасная здесь душу омрачает...».

— Чего?— не поняла она.

— Хорошо,— Савелий сорвал несколько травинок, кинул в Катерину.

Она погрозила:

— В глаз попадешь!..

Промчавшись по усыпанной опавшим цветом тропинке, Савка с разбегу прыгнул на спину отца, вцепился в него, повалил на лужок. Они стали возиться. А уставши, лежали на животах друг против друга, покусывали былинки, перемигивались.

— Ты кто?
— Савка. А ты?
— Савелий Дмитриевич.
— А маленького как звали?
— Тоже Савкой.
— А ты не боишься Оськи-таракана?
— Нет.
— А дяди Ильи?
— Никого не боюсь.
Сомневаясь, Савка чесал макушку:
— Чертей боишься!
— А их не бывает.
— Не бывает! Один черт у дяди Ильи в рукомойник залез. Дядя Илья умываться наладился, а из рукомойника не вода, а навоз течет. Взял тогда он и перекрестил рукомойник. И-и-и, лихо черту сделалось! «Смилостивись!»— кричит. А дядя Илья, не говоря худого слова, полено в руки да как треснет по рукомойнику. Рукомойник разлетелся, а черт железным блином стал! Дядя Илья про это Харитинии сам рассказывал, я слышал. А Харитиния, не гляди что безносая, запрягала одного черта!
— В телегу?— нарочно удивлялся Савелий Дмитриевич, любуясь сыном.
— Нет, в сани!
— А черт был сивый?
— Зеленый, потому что лягушкой прикинулся.
— Но зимой лягушки не прыгают. Значит, дело было летом?
— Наверно,— замялся Савка.
— Тогда не в сани она запрягала черта?
Савка задумался:
— Леший их разберет!
— Именно, сынок, леший,— подтвердил Савелий Дмитриевич.— Леший в лесу, леший на болоте, леший в душе человека.. А песни какие ты знаешь?
— Разные,— ответил Савка. — Длинные и коротенькие.
— Может, споешь?
— Какую?
— Сначала короткую.
— Хочешь про страданье?
— Давай.
Савка покашлял в кулак, звонко запел:

—Эх, не страдай, король бубновый,
У меня страдатель новый.
Эх, у меня страдатель Мишка —
Лет семнадцати мальчишка.
Эх, по селу мы прошагаем,
В том конце воротимся,
Эх, если девки спят в сарае...

и неожиданно умолк:

— Нехорошая. Ее сельские парни поют. Я лучше другую, длинную. Хочешь про Комарова?

И, не обращая внимания на смущение отца, снова запел:

— Как в Москве, за Калужской заставой,
Всем известен там жил Комаров
Торговал он на конной конями,
Народ грабил почище воров...

— Ты ему, Савка, про горбатого мужичка спой!— смеясь, крикнула Катерина.

— Отчего мужик горбат, а барин пузат?— спросил Савка.— Сейчас!

— Жил на свете мужичок —
Парень вороватый.
Расскажите, отчего
Стал потом горбатый?
А у барина пузцо,
Рожа, словно плошка?..
Этот жрет себе мясцо,
Этот жрет картошку.
Чудо-юдо, рыба-кит,
Разумейте, вахлаки,
Разумейте, вахлаки,
Почешите кулаки...
А об что кулак чесать —
Догадайтесь сами...
Что у барина торчит...
Прямо над усами!..

— Это Данька его научила,— сказала Катерина, подходя и опускаясь на траву.— А она из Максимова письма вычитала.. Не понравилась?

— Прибайка-то понравилась,— озабоченно проговорил Савелий,— не нравится неосторожность Максима. Как бы его письма почитать... Феня!— позвал он Феодосию.— На минутку...

Феодосия подошла, отирая фартуком руки:

— Я слышала, о чем вы. Если не сжег Илья — возьму. Максим — прямо беда с ним, боюсь я..

— Про меня писал что-нибудь?— спросил Савелий.

— Вроде нет.

— А где он квартирует?

— У тебя, наверно. Только он туда не велел писать. Просил на почту посылать, востребователю. А кому — забыла...

— Соснову Ивану Петровичу,— подходя, напомнила Даня.— Он товарищ его, получает и передает Максиму.

— Соснов... Соснов... Это мне понятно. — А что на отца посылает такие письма — то неразумно. Шутка с огнем... Знаете что? Больше ему не отвечайте, пока я сам туда не приеду и не напишу вам... Теперь мне нужно поговорить с Ильей Степановичем с глазу на глаз. Не мешайте мне, в избу не заходите...

«Надо выяснить все, что он знает и что собирается делать,— думал Савелий, входя к Илье.— Как можно больше выдержки!».

Но Илья ждал не его появления, он готовился к разговору с женой, готовился показаться ей человеком, решившимся на самое страшное дело: сидел на лавке с библией в руках, рядом, справа, лежал топор, слева — возовая веревка. Все это, по мнению Ильи, должно было говорить о четвертовании, повешенье с богом, призванным во свидетели. Страшнее нечего было придумать, чтобы потрясти Феодосию.

Ему даже самому делалось не по себе в соседстве с такими грозными атрибутами — по спине бегал холодок, млело сердце. В библии, какую бы ни открывал страницу, почему-то натыкался на такие места, где вещалось одно лишь недоброе. А после того, как ясно представил себе Илья рубку мяса в лавке на окровавленном чурбаке и шипящий выдых при этом оскалившегося Демида Устиновича, зашевелилась и немного сползла веревка.

— Господи Исусе!

И как ни старался отогнать новую неприятную мысль, все же воскресился перед ним Орентий — мертвый, и темная лесная ночь, и живой внятный голос:

— Уйди, ты мне надоел!..

— О, господи!... Что же мне делать-то? Ведь не исполню ни одной угрозы. Ты знаешь, что рука у меня не подымется. Видишь, жену попугать собрался, а жутко самому стало. Вразуми!..

Илья уже молился на коленях, но, когда вошел Савелий, сделал вид, будто достает что-то между половиц — ковыряет пальцем в щели. «Слаб.. Жалок!— промелькнуло у него в сознании.— На что я годен? Сосулька навозная!».

— Илья Степанович!— мягко обратился к нему Савелий. Палец задрожал в щели, затрепетала душонка осиновым листом на ветру. Один миг, и трусливого щенка вдруг увидит Савелий в нем... «Нет, надо держаться!».

— Илья Степанович!

— Что!— сказал сквозь зубы, не поднимая головы.

— Спросить хочу.

— Спрашивай.

— Что стоит между нами?

— Бог.

— Ты человек неглупый, неужели не понимаешь, что бог-то тебе глаза завязал?

— Не замай, говорю, всевышнего!

— Хорошо. Тогда скажи, чего ты желаешь Максиму?

— Каторги, ссылки!— Илья встал с колен, делая вид, что куда-то собирается, взял топор, перекинул через плечо веревку.

— Ссылка, каторга! — осуждающе сказал Савелий.— А ты сам, Илья Степанович... а все село, кроме Нифонта, может быть, где живет? Не на каторге? А вся Россия — не каторга?.. Кто ты, Илья Степанович?..

— Я-то — я. А вот ты.. вроде цветка василька: душист да пригож, а во ржи ни к чему. Сор один от тебя! Добром не уберешься — худо будет...

С веревкой и топором Илья вышел из дома и направился в сторону леса. Савелий проводил его горькой усмешкой.

— Что он?— подходя, спросила Катерина.

— Опасный человек,— ответил Савелий...

Вечером пришел поговорить с Савелием отец Сергей.

— Не удивляйтесь,— сказал он, переступая порог Катерининой избы,— любопытство старика одолело, раз-

говоров наслушался. На селе Содом и Гоморра круг вас. Да я никому не верю, кроме Данюшки, а она-то как раз другого мнения. Встретил — спрашиваю: «Что ж там у вас творится?». Говорит: «Ничего не творится». Ладит свое: «Дядя Савелий хороший». Раз так — пойду повидаю, хорошие-то люди теперь редко встречаются...

И погрозил Катерине:

— А в церковь ходить надо!..

— Грешна, батюшка,— скромно сказала Катерина.

— И озорна к тому же,— добавил отец Сергей.

— Случается.

— Куда уж! Пока Оську Крынкина исповедовал, чуть в божьем храме не рассмеялся... А тут не только смех, но и греха много, беззакония... Да ладно уж, не к тебе, к Савелию Дмитриевичу: как ни кинь, а его вины нет. Ты начудила — ты и перед богом в ответе.

Он подал Савелию теплую мягкую руку, обдал запахом нюхательного табака:

— Слышал, в бога не веруешь?

— Не верую, батюшка,— ответил Савелий Дмитриевич, которому сразу понравилось и здоровое лицо священника, и манера подмигивать, и прямота в разговоре.

— А как же без бога-то?

— Живу.

— С пустой душой?

— Напротив, батюшка. Она так полна у меня, что для бога места не хватает!

— Но веровать-то во что-нибудь надо?!— повысил голос отец Сергей.

— Надо, батюшка. Верую.

— В кого, позвольте спросить?

— В народ.

— Хорошо!— одобрил священник.

— И в революцию,— добавил Савелий Дмитриевич.

— Что ты?— отец Сергей поискал глазами место, где бы присесть. Катерина подвинула табуретку, отерла ее своим фартуком:

— Садись, отец Сергей.

— Не там. Давай ближе к Савелию Дмитриевичу,— распорядился поп.— С человеком разговаривать — в глаза глядеть, а издали я не вижу.

Сел. Оперся руками в колени:

— Теперь позволь спросить: какого исповедания?

— Християнского, русский я, батюшка,— ответил Савелий Дмитриевич.— Крещеный.

— Русский... А революция-то, как пишут, евреям да семинаристам нужна, а не православным. Ты-то чего нашел в ней?

— Я, батюшка, живу не для себя. Для народа,— сказал Савелий и попросил:— Катя, может нас чайком угостишь?

— Мигом,— подхватилась Катерина, высвобождая из-под фартука руки и отталкиваясь от печки. Делала дело, но осторожно и ухо держала востро, чтобы не пропустить словечко. Уж так-то ей было любо и непривычно слушать Савелия, который с самим батюшкой может речи вести...

— Савка, не мешай отцу-то. Побегай ступай!

А Савка, не мешает: он всего лишь прислонился к отцу и удивленно поглядывает то на него, то на попа: ведь непонятное тоже бывает интересным!..

— А революция нужна,— продолжал Савелий,— не одному мне, не евреям, а всем: и пролетариям, и крестьянам — всем, кто продает свой труд, кого угнетают и эксплуатируют. А больше всего революция нужна таким.

Савелий привлек к себе Савку, погладил по голове, поцеловал в макушку.

— Таким, как он, чтобы не повторить горьких судеб своих родителей... В революции для себя я, может быть, найду лишь смерть, батюшка, как нашли ее многие. Но и смерть меня не страшит. Можешь ли ты осудить человека, отдающего жизнь народу, чтобы на земле был мир и братство, чтобы не было ни угнетенных, ни господ?

— Не могу, Савелий Дмитриевич. Это же по-божески. Исус Христос за народ на кресте распят!

— Был или не был Христос, отдал или не отдал он жизнь за народ, даже тебе неизвестно, отец Сергей. А вот жизней он много взял — это мы все знаем. Что он на стороне богатых — тоже известно. Известно, что у нашего правителя в одной руке нагайка, а в другой иконка. Нет?..

— Ты уж очень глубоко пашешь, Савелий Дмитриевич,— замялся отец Сергей.— Ты это.. как тебе... Ну, под корень все!..

— А как же?

— Кто против властей, всегда наказывали, Савелий Дмитриевич. К примеру, Стеньку Разина, Емельку Пугачева, ну и этих...

— Народников, декабристов,— подсказал Савелий Дмитриевич,— революционеров, марксистов.. Кого на каторгу, кого на виселицу, кого пожизненно в крепость...

— Было.

— И всех с благословением всевышнего: палач убивает, поп отпевает!

— Да-а-а,— отец Сергей медленно пропустил сквозь кулак свою чистую серебряную бороду.— Да, опасный ты человек, Савелий Дмитриевич!.. Не зря кое-кто на селе-то переполошился... Хочу возразить: бога и себя защитить! Поскольку мне известно, бог человека всегда хранил, а я богу служу. Совесть наша чиста.

— А мне другое известно, батюшка,— сказал Савелий Дмитриевич,— не чиста!

— Моя?!— рассердился вдруг отец Сергей.

— Богова. А если ты служитель его — значит, и твоя.

— Но уж! Ты слышишь, Катерина, что несет он?— отец Сергей так сильно двинул от себя чашку, что расплескал из нее чай.— Кого я в приходе обидел?

— Никого, батюшка,— ответила Катерина, собирая утиркой разлитый чай.

— Врешь, обидел. Старосту Крынкина обидел. Нифонта обидел. А еще кого?.. Дементия, который не молится, а святой человек! Кобылиных, что от тюрьмы отхлопотал? Илью Степановича или покойного отца его, Степана, которому часовенку заставил выстроить того же Крынкина?.. Обижаю, кого бог и совесть велит!..

Отец Сергей не привык, чтобы ему возражали, а тем более обвиняли его в чем-то.

— Ты говори, да не заговаривайся, Савелий Дмитриевич,— начал он, сдерживая волнение.— Я тоже народу служу. Чего плохого тебе бог сотворил? В чем его обвиняешь?

— В том, что выдуманный вами бог не защитил сотни рабочих, расстрелянных в двенадцатом году на реке Лене,— спокойно возражал Савелий.— А вспомни еще, батюшка, кровавое воскресенье девятого января пятого года. Кто повел народ к царю на поклон с ликом божьим впереди? Поп Гапон. Кто благословляет солдат идти на смерть за кровавого царя и нищее отечество? Такие же,

как ты, отец Сергей, служители господа бога и верные слуги царя.

— Не ожидал!— изумляясь, медленно проговорил отец Сергей.— Признаюсь, сюда нес открытую душу, ликовал. А ты словно кипятком, словно шилом в сердце-то тычешь? Христа за муки следовало бы уважать, за страдания!

— За страдания!— усмехнулся Савелий Дмитриевич.— Я знал девушку, отец Сергей, чистую, по-настоящему святую. Звали ее Мария. К месту казни палачи вели ее сырым овражком. Она шла и собирала незабудки — эти синие тихие цветочки. Палачи усмехались сначала: «Зачем? Все равно умрешь сейчас!», «Нет, я не умру,— отвечала она,— я бессмертна!». Потом палачам стало страшно. Синеглазая девушка с синими цветами под синим утренним небом поразила их силой души, любовью к жизни и презрением к смерти. Они стали ругаться, кричать на нее: «Перестань!». В нескольких шагах от виселицы был небольшой родничок. Маша попросила разрешения напиться перед смертью. Ей не разрешили, потому что палачи торопились избавиться от нее поскорее. Накинули петлю, повесили. А веревка-то тут же оборвалась. Охваченные страхом палачи не могли двинуться с места. А Маша поднялась на ноги, подошла к родничку, попила, поглядела на свое отражение в светлой воде и вернулась со словами: «Какая холодная вода!»... Теперь представь, уважаемый отец Сергей, что это была не Маша, а... Даня-соловушка...

Пока говорил Савелий Дмитриевич, отец Сергей медленно выпрямлялся, округлялись его слезившиеся глаза, белели его розовые щеки.

— О, господи!— вырвалось у него в наступившей тишине. А когда Катерина всплакнула, он засопел сердито, достал табакерку и принялся набивать нос нюхательным табаком. Сморкался в красный платок, кряхтел. Савелий, поняв его состояние, помедлил, потом сказал:

— Маша отказалась от исповеди перед смертью, а я готов на нее молиться.

— Будет казнить-то,— устало проговорил отец Сергей, отираясь платком.— Ты лучше ответь: отчего не боишься меня, если я царский слуга, а ты тайный революционер, государственный преступник?

— Волков бояться — в лес не ходить...

— Вот уж и волк я!..

— Потом слышал от добрых людей, что ты, отец Сергей, не доносчик, человек откровенный и справедливый...

— Слава богу!..

— Революцию не осуждаешь...

— Врут!..

— Бедным помогаешь...

— Правильно...

— Над богом надсмехаешься...

— Что еще?!

— Даню-соловушку к лику святых причислил...

— Заслуживает...

—Будто бы ей наследство передать собираешься...

— Дело мое...

— А она теперь моя родственница. А я государственный преступник.

— Вон куда гнешь... Понимаю...

— Не туда, куда думаешь, отец Сергей... Я уважаю тебя. Верю тебе. Поэтому смело с тобой разговариваю...

— И за это спасибо...

— Верить или не верить в бога — право каждого из нас. Но за добрые дела — тебе спасибо, отец Сергей...

— Ну вот, то высек, то пожалел!.. И опять сызнова. Прямо опомниться не даешь!..

— Савелий!— вмешалась Катерина.— Знаешь, что я тебе скажу? Ты не обижай батюшку. Поговорите лучше о другом!

— Не заступайся!— оборвал ее отец Сергей.— Со мной крестная сила!— и подумал: «Сила! А мне с ней вместе и оправдаться нечем перед безбожником. Попробуй, осиль его!». Отцу Сергею не хотелось показаться побежденным, и он сказал примиряюще:

— Пустой спор затеяли. От нас с тобой, Савелий Дмитриевич, как бы мы ни решили, устои церкви и трона не пошатнутся. А знать мне охота, кто станет правителем после вашей революции. Чем бога замените?

— Бога заменим наукой и разумом. Правителем будет трудовой народ,— сказал Савелий.

— Выходит Кобылиных на престол? Тут тебе и наука, и разуму отбавляй! — посмеялся отец Сергей.

— Напрасно смеешься, отец Сергей. Ума у трудового народа действительно хоть отбавляй. Только этот ум пока скован цепями самодержавия и религии. Во главе государства встанет марксистская партия и будет опираться на союз пролетариата и крестьянства. Рабочие возьмут у капиталистов фабрики и заводы, крестьяне возьмут у пóмещиков землю. Кто был никем, тот станет всем.

— А меня куда?— спросил отец Сергей.

— Это уж сам выбирай. Иди с теми, к кому сердце лежит.

— Но ведь война будет!

— Обязательно. Вот ты не знаешь Ленина, а он так сказал: войну империалистическую нужно повернуть на войну гражданскую, против буржуев и помещиков надо поднять трудовой народ.

— Это не про Ленина говорят, что он с немцами заодно?— спросил отец Сергей.

— Про него. Но кто говорит? Враги говорят! Ленин — вождь мирового пролетариата.

— Не встречался с ним?

— Нет. Не приходилось. Книги его читал, сочинения. Это большой человек!..

Отец Сергей снова нюхал табак, сморкался в красный платок, покачивал косматой головой:

— Смелый народ пошел, отчаянный! Скажи, Савелий Дмитриевич, что будет с тобой, если власти тебя сграбастают?

— Почему «сграбастают»?— насторожился Савелий Дмитриéвич.— Разве меня ловят? Разве я прячусь?

— То-то и оно, что я не зря спрашиваю...

— Раз так — отвечу: в военное время вплоть до высшего наказания. Но меня интересует, отец Сергей, что такое «не зря спрашиваю»! Может быть, ты знаешь чего-нибудь?..

— Знаю — не знаю, а советую...— отец Сергей подмигнул Савелию,— долго на селе не задерживаться. Самое большое — пару деньков...

Понравилось отцу Сергею, что озадачил он Савелия Дмитриевича, повеселел старик:

— Без бога — ни до порога!— говорил он, уже прощаясь.— Бог все видит, все знает. Бог и тебя хранит, Савелий Дмитриевич!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В путь собрались до солнышка. Савка мертвецки спал. Савелий поцеловал его облупившиеся щеки, погладил шершавые, в цыпках ноги, у изголовья положил перочинный ножичек.

— Будет спрашивать, скажешь, в Москву поехал отец, мол, гармонь тебе купит, а я постараюсь вернуться действительно с гармонью.

— Но ты в волость хотел? — прямо поняла его Катерина.

— Эх, милая!— Савелий обнял Катерину.— Ты, знать, ничего не запомнила, о чем я тебе говорил эти дни. Может быть, забыла и то, что я пока не Сочнев Савелий, а Иван Сиверцев? Дело в том, что нынче же Савку спросят, где я. Он скажет: в Москве. Там и будут искать Сочнева, а он тем временем в волость, потом в Питер... Поняла?.. Для всех, кроме тебя, я — в Москве...

Катерина кивнула, светло и беспечально поглядела в лицо Савелия:

— Как лучше: поплакать мне или не надо?..

— Не надо.

— А как же поймешь ты...

— Что любишь?

— Да.

— Что отпускать не хочется?

— Да, Савелий... Ох, если бы можно было!..

На старую, мало проезжую дорогу вышли задами. По случаю троицына дня звонили колокола, навевали на Савелия раздумье и грусть — жалко ему было Катерину, много горюшка ожидает эту сильную, непокорную женщину!..

Живо представлялось Савелию, как вспорхнет с постели Савка, забегает по двору, вокруг дома, потом сядет на завалинку, будет глядеть на дорогу:

— Все-таки проспал, мать честная! Без меня по грибы пошли!.. — и погрозит кулачком.— Ну, подождите!..

Наблюдая за Савкой, Савелий как-то особенно ясно узнавал в нем себя, видел свои ребячьи замашки. Да и сам Савка все эти дни старался во всем подражать отцу.

— Не приглядывайся,— как-то сказала Катерина,— вылитый портрет твой!..

— А глаза?

— Только что... В остальном — батя родимый...

А она-то куда больше находила похожести:

— Что задумывается, что брови сведет или засмеется — ваш, Сочнев!..

Торопиться было незачем, шли медленным раздумным шагом. Не торопилось и утро. От ночного дождя по глубоким колеям серебрились ленивые ручейки. С мокрых берез еще скатывались и глухо шлепались в траву крупные радужные капли воды. Стадо, которое прошло по лугу, оставило на дымчатой траве изумрудно-зеленые тропинки и внятный запах парного молока.

Сколько раз проходила Катерина мимо куста шиповника, что стоял при дороге, и будто не замечала его. Обычно серый от пыли, грустный, нынче он ядрено зеленел и тянулся к солнцу нераскрывшимися бутонами. «Всю жизнь бы так... Вместе по этой дороге,— думала Катерина,— навстречу кудрявым облачкам, свежему ветру!»

Куда же теперь деваться ей со всем этим рвущимся, неудержимым, чего еще не успела сказать Катерина? Выплачется ли оно в одиночку? Развеется ли по лугам и полям? Нет, оно предназначено ему — и только ему! Пусть возьмет его Савелий с собой в трудную и дальнюю дорогу.

Есть счастье получать и счастье дарить... Катерина была полна природной женской готовности отдавать, свято, безвозмездно, служить, опекать, любить. Любить щедро, по-земному. И беспредельно, как мир — от куста шиповника с его острыми колючками, с зачатками будущих розовых цветов до неизвестных глубин неба между белыми высокими облаками. Не осознавая, она чувствовала в себе ту великую женскую силу, которой наградила ее природа — жить для жизней, для вечности...

Все, что начинается в женском сердце, никогда не кончается... Женский, материнский след на земле не выдуют никакие ветры, не смоют никакие дожди. Пусть бывает он и поруганный, и оплеванный, и оплаканный, но неизменно ведет он к свету и утверждению жизни. Уставший найдет там покой, жаждущий — воду, *любящий* — ответ, скорбящий — утешение. Там, где попла-

чет женщина, рождается ключ, там, где погорюет она — волшебная плакун-трава. Из капельки пота — колосок вырастает, из кровинки — живое дерево... Не вернется назад она, не обойдет страха. От взгляда женского слепнут несчастья и до костей иссыхают смерти...

Эх, кто еще не кидал бранных слов в Катеринину душу! Кто не бросит еще?

Несчастная Фотинья Кобылина и та корила ее, кривя беззубый рот:

— Тебе что? Ты и до мово доберешься, с ним переспишь!..

А знает ли она, эта постоянно беременная баба, что с мужиком спать не обыденка, а праздник большой. Как же любить-то надо человека, чтобы разделить с ним этот праздник!..

Ни молва, ни обязанность, ни совесть, ни бог — ничто не властно над Катериной: она любит!..

Так любит, что ни у кого не спокойны сердца на селе. Отчаянно любит, бесстрашно...

За советом приходила к Катерине Василиса Орехова — украдкой, тайком, как к волшебнице, хотя и нелестно говорила о ней на миру:

— Научи, Катерина, что делать? Замыкал мужик-то меня, замордовал!..

— Сама виновата...

— Да что ты?

— Не будь курицей, заступись за себя!..

Тесно в селе Катерине, дела большого хочется, чтобы радоваться и бояться от него, чтобы дух захватывало. Чтобы так же, как в Савельевой песне:

> Вставай, проклятьем заклейменный,
> Весь мир голодных и рабов...

...Рука об руку прошли хутора, миновали деревеньку Орево, остается с полверсты до подъеловского леса, а там — назначено прощанье. Кажется, только что ступили за порог... Катерина с тоской оглянулась назад. Пустынная дорога убегала, терялась в зелени трав. Безлюдно, лишь вдалеке среди ржи — одинокое дерево, как чья-то печальная человеческая судьба, отстало, заблудилось...

«Ау, ау!»— послышалось из леса, словно кто-то позвал одинокое дерево...

— Савелий, надолго теперь?..

— Катюша, даже сказать боюсь...

— Не бойся, говори правду.

— Вернусь, когда свергнем царя. Вернусь и принесу новую жизнь.

— А если... не вернешься?..

— Ну что ты, Катя!

— Я к тому, чтобы ты наказал мне на случай, каким хочешь, чтобы сынок твой остался, каким?..

— Чтобы помнил меня.

— А еще?

— А еще скажи, что я люблю вот эту песню:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...
Мы знаем, как знал ты, родимый,
Что скоро из наших костей
Подымется мститель суровый
И будет он нас посильней...

— Ох, Савелий, Савелий!.. Как бы сохранить-то тебя!.. Какому богу молиться?..

— Савку храни, родная!

— Боюсь, Савелий... Одно дитя — полдитя. Еще бы хоть одного надо!..

— Девочку?..

Катерина остановилась, повернула Савелия к себе, посмотрела на седые виски, на ежик волос над крутым лбом, погладила по колючей щеке:

— Нет, мальчишку... Такого, как ты, опять...

— Такую бы красивую, как ты...

— Нет, ты лучше. Я не зря тот раз тебя в отцы своего ребенка выбрала... Ведь женщина не должна родить от кого попало... Ей не все равно...

Катерина смущенно опустила глаза и тут же «ойкнула», увидев у ног незабудки:

— Батюшки! Так это же те цветы, Маша их собирала, когда на смерть шла! А мы топчем... Давай нарвем?..

Савелий сбросил с плеч сумку и тоже стал ползать на коленях по мокрому лужку. Далеко звонили в коло-

кола, поближе и яснее аукались в лесу девушки, пришедшие завивать березку, принимался за песню соловей и умолкал неожиданно: знать, устал за долгое радостное утро, какие бывают после обильного ночного дождя.

Незабудки увели их в сторону, далеко от дороги. А там — окружили молодые сосенки и елочки, словно маленький домик сделали с солнечным крылечком, с синим высоким потолком...

Что бы ни случилось теперь в жизни с Катериной или с Савелием, она запомнит навеки эти хитрые зеленые стены из сосенок и елочек, трепетную осинку, щебетание птиц и далекие голоса деревенских девушек, завивающих березки...

Следить за Катерининой избой Оська за двугривенный нанял Харитинию. Сам же попивал винцо и хвастался своими заслугами. Ксенофонт видел сына насквозь, понимал, что он несет чушь, но не перечил, а поощрял, имея цель заглянуть в его кошелек.

— Так-то, сыночек, чем же отличился-то?

Оська прохаживался, поскрипывал новыми сапогами, покручивал тоненькие усики:

— Важного преступника поймал, папаша. Государственного!

— Скажи на милость!— шлепал себя по портках Ксенофонт.— Слышь, мать, государственого!

Давно лядащая от побоев Авдотья, полуглухая, какая-то онемевшая, скрипела в ответ невпопад:

— А-а? Да-а... Сейчас, сейчас...

— Тетеря! Подойди поближе!— кричал Ксенофонт, и Авдотья шла на него, подставив ладони к ушам, раскрыв рот и тараща глаза, словно собиралась пугать.

— Такую птицу поймал, у-у-у!— повышал голос Оська, чтобы слышала мать.— Вооруженного, почти голыми руками взял, стрелял он в меня.

— Из леворверта?!— удивлялся Ксенофонт.

— Из двух сразу!

— Ай, зверюга! В человека пулял!

— Да-а-а, теперь, папаша, только с такими дело имеем. Чуть что — и смерть!

— Опасайся, сынок, сам норови первым пулять.

— Всяко бывает...

Обращаясь к сыну, Ксенофонт кричал в открытый рот жены:

— Уважают на службе-то?

— Уважают, папаша.

— Только вот с Катериной у тебя плохо. К ней, как к норовистой лошади, не подойдешь.

— Объездим! Не то вместе с Савелием — за решетку.

— Чай, кроме жалованья, наградные дадут?

— Дадут,— важничал Оська.

— И жалованья добавят?

— А как же!

— Чай, нас не забудешь?

— По-божески!

— Слышь, тетеря! Отблагодари сынка-то! В ножки поклонись!— и, не давая опомниться ни той, ни другому, Ксенофонт согнул вдруг Авдотью и, цепко держа ее за тонкую шею, начал тыкать лбом в Оськины ноги.— Спасибо, милый!

— Чудак, папаша!— застеснялся Оська.— К чему это?

— За денежку, милый, за денежку!..

Пальцами с длинными желтыми ногтями Ксенофонт ухватывал стакан с самогоном и пил, запрокинув голову. У него, как у лошади, по горлу бегала шишка, поперек лба вздувалась жила, краснела лысина. Пил и думал: «Обведу дурачка!».

Но ему мешали довести разговор до конца: то Харитиния мыкалась туда-сюда, вызывала Оську, нашептывала ему, то раз, в самый момент, Гаврила приперся муки попросить.

Сидел пастух, плакался, на бутылку поглядывал. Как не угостить! Разбахвалился Оська, целый стакан поднес. А выпив, Гаврила придираться начал:

— Богато живете, а мы горе мыкаем.

— Какое у пастуха горе!— сказал Ксенофонт.— Лето паси, зиму — мошной тряси.

— Затрясешь! Вон как за потраву-то штраханули, чуть ли не всю пастушню Нифонту отдавать! А вы в кусты. Нет бы — всем миром на живоглота навалиться.

— Как это «навалиться»?— спросил Оська.

— А эдак,— не сдержался Гаврила,— как покров-

ские мужики: подожгли хоромы-то, а самого барина, сказывают, в огонь кинули!

Оське такое не понравилось, он намекнул:

— А разве не ты, дядя Гаврила, за поджог сидел?

— Сидел, да зря.

— Да мало, знать!— добавил Оська.— Еще бы следовало накинуть.

— А это видел?!— Гаврила хотел показать дулю, но слишком далеко выбросил руку вперед, так что его волосатый кулачище пришелся в середине Оськиных усиков, под носом у того показалась кровь.

Отец с сыном кинулись было в драку на Гаврилу, да где с таким совладать: взял он их за вороты, потряс и разбросал по углам:

— Не замайте, задавить могу!

Вырвал ухват у налетевшей сзади Авдотьи, смял его железный зацеп и перекрутил в веревочку:

— Лучше мириться давайте...

Пока мирились — выпили еще бутылку. Обнимались и пьяно целовались. Но чуть снова не подрались, когда Ксенофонт не захотел было одолжить муки.

— Твоих волчат вон сколько! Попробуй накорми их!— сказал Ксенофонт с укором.

— А знаешь, каким волк бывает, если волчата голодные?— спросил в свою очередь Гаврила.— Давай уж по-хорошему...

Томимый страхом, предчувствием зла, Ксенофонт не спал всю ночь. Чудились ему худые волки, их красные огоньки во тьме, подвывание, щемящее душу...

На зорьке короткое забытье оборвал настойчивый стук в калитку. Соскочил с полатей, словно холодной водой окатили. Открыл — Харитиния, запыхавшаяся, мокрая от росы и ночного дождя. Рассердился:

— Чего тебе, кобыла безносая?!

— Осипа Ксенофонтыча!

— Госипа! Гсинофонтовича!— передразнил ее Крынкин.— Спит человек!

— Буди скорее!

— На-ка вот, выкуси!

— Дурак старый!— не растерялась Харитиния и по-кошачьи проворно проскочила у Ксенофонта под локтем.— Где он?..

— У Авдотьи в борозде, вот где! Чего тебе?

— Я про Катерину, да про этого...— Харитиния по-

трясла мокрыми волосами,— запамятовала... Ну этого, хахаля ее!..

— Из-за них и ботаешь чем свет?

— Осип Ксенофонтович приказал в любой час доносить..

— На подволоку полезай, доносчица, там он.

Харитиния поискала глазами лестницу, ее не оказалось:

— А как лезть-то?

— По углу.

Ксенофонт думал, что это озадачит Харитинию, но нет, она так ловко вскарабкалась на подволоку, что он даже выругался:

— Не баба — сила нечистая!..

Потом стоял и подслушивал, как трудно просыпался Оська, потом взахлеб тараторила Харитиния про тайный уход Савелия из села. Потом Оська громко позевал и спросил:

— Годов-то сколько?

— Молодая ище,— засмеялась Харитиния.— Девица я.

— Нос-то отчего такой, может, дурной хворала?

— Лошадь мне откусила.

— Не врешь?

— Как перед богом.

— И ни с кем?..

— С кем бы, если меня мужики, как черта, всю жизнь боятся!

«Неужто позарится?»— ужаснулся Ксенофонт и, хлопнув дверью, затопал нарочно громко:

— Осип, подай-ка там, за трубой, кнутовище валяется!— покричал он.— А ее гони оттуда, пока потолок не провалился!..

Распорядившись запрягать лошадь, Оська смело направился к Катерининой избе. Широко распахнул дверь, вошел, как хозяин. Понравился ему перочинный ножичек, что лежал у изголовья спящего Савки, он взял и сунул его в свой карман. Порылся в комоде, вывернул, ощупал шинель Савелия, сорвал на подоконнике цветок с герани и стал им водить у Савки под носом:

— Цыпа, цыпа, цыпа-а-а!.. А-а-а пчхи!..

До конца не проснувшись, не открывая глаз, Савка

протянул было руки, чтобы обнять отца и вдруг отшатнулся отскочил:

— Уйди, тараканище!

— Ку-ку!— заулыбался Оська.— Давай ладить будем.

— Уйди, тараканище! Уйди! Тятьку позову!

— А его и нет, ту-ту он. На хрена ты ему нужен... Ты даже не знаешь, куда он фю-фю... Не знаешь!

— Знаю. Подожди, с грибов придет, он тебе устроит «ах, вы сени, мои сени!»— сквозь зубы процедил Савка.— Уходи, не то знаешь...

— Ухожу, ухожу,— мирно сказал Оська, поднимаясь, но когда Савка ослабил внимание, то изловчился и больно ударил его по щеке:

— Получай гостинчик! Тварь подзаборная...

Был бы в тот момент огонь в руках Савки — он бы испепелил ненавистного ему усатого таракана, ножом бы пырнул. Но ничего не было, и он лишь убил его взглядом — тем, материнским, беспощадным и быстрым, как молния.

И, зная цену этому взгляду, Оська поспешил уйти. А дома выпил на дорожку и скоро забыл, что обидел Савку.

Напомнил же о себе Савка вскоре, как тронулись в путь: во-первых, обстрелянная из его рогатки молодая кобылица чуть не галопом понесла с места. А посреди села, при быстрой езде, вдруг соскочили с осей колеса. Оська полетел в одну сторону, Ксенофонт — в другую. Перепуганную лошадь потом насилу поймали и долго собирали по пыльной дороге растрясенные Оськины пожитки, лепешки-подорожники и крашеные яйца.

И уже за селом из засады в ивовых кустах меткая рогатка послала обрубок гвоздя, угодивший Оське в затылок.

— Догони, нарви уши!— посоветовал Ксенофонт.

— Догнал бы, да ногу, знать, вывихнул,— поморщился Оська.— Гони-ка поскорее, пока стервец в глаз не попал!..

Покуривая и хмурясь от боли в коленке, Оська разглядывал перочинный ножичек: «Хорош, ничего не скажешь!» Поймал проплывшую над собой ветку ивы, срезал и от нечего делать принялся мастерить свистульку. Получилась звонкая, пронзительная.

— Будет дурачиться-то!— осуждающе сказал Ксенофонт.— О деле поговорить бы...

— Говори.

— Хозяина в тебе не вижу... для дома не стараешься...

— Помрешь — захозяйничаю!

— Дурень, теперь помогать надо!— заморгал, придерживая слезу, Ксенофонт.— Чего ты смерть-то мою кличешь?..

— Без меня придет. Немолодой уж!

— То-то, немолодой...

«Откуда такой олух произошел в семье»?— думал о сыне Ксенофонт.— Неужто ротастая с кем прижила! Ведь ни синь пороха нет в Оське от Крынкиных! Дед был первым кузнецом в округе. Отец, до того как ослепнуть, епископу прислуживал. Сам Ксенофонт в детстве игрушечные маслобойки выдумывал, в двенадцать лет починил попадье швейную машину. Немудрены сельские ножные прялки, а поди разберись, что к чему, если нитку перекручивает, колесо в разные стороны болтается? Ни к кому-нибудь — к Ксенофонту шли пряхи. Кто яблок моченых несет, кто полдесятка яиц, а кто семишник. Мальчишкой был, а хозяйство не опускал: в пору сеял и убирал с матерью, зимой — слепого отца по селеньям водил, грошики, милостыню собирал. Таким в парнях был Ксенофонт, что только про него и разговору на селе. «Глядите, Ксенофонт идет!». Работал от солнышка до солнышка, родителей почитал, в церковь ходил аккуратно, сапоги носил кожаные.

Самую богатую невесту отдали ему в жены...

А из Оськи кот-зимогор получился — попить, поесть да на солнышке погреться!»

— Кто ты, сынок, куда устремился-то?

— Я государственное лицо, папаша! — отвечал и посвистывал Оська.— Присягу принимал служить царю и отечеству!

— Служка царю!.. Жену не удержал вон!

— Нужна она мне, как волку жилетка!.. В городе этих баб...

— Вроде Харитинии?.. Проказных, безносых...

— Ну, знаешь ты! Крали!..

— От гривенника до полтинника?..

— Мне и за так...

— Тьфу, страмота!..

Оська время от времени слезал, проглядывал, отпечатки следов на дороге: Катерина шла босиком, Савелий обутым. У того места, где рвали они незабудки, следы вдруг потерялись, и Оська забеспокоился: «Должно быть, в обход пошли?».

— Шугни пошибче, папаша!— сказал он, садясь.— Потом просекой влево свернешь. Сейчас они, никак, к горельнику подходят.

— А догонишь — что?— сонно спросил Ксенофонт.— Ругань аль драку затеешь?

— Никак нет, честь по чести. Савелия подвезем до волости, к участку прямо! Там натешусь, когда руки ему скрутят...

— Ищи дураков!..

Катерина встретилась как раз на свертке к горельнику. Посторонилась, напряженная, что-то соображающая. Забывшись, Оська постучал перочинным ножичком в спину отца:

— Остановись, батя!..

Потом ножичек поспешно спрятал в карман, но Катерина успела увидеть и признать его. Страшная мысль промелькнула у нее в голове: «Не сделал ли он что-нибудь с Савкой?!»

— Где взял ножик?— раздельно и тихо проговорила она и двинулась на Оську, топя его, как в омуте, в огромных, неморгающих светло-карих глазах.— Что ты с ним сделал?..

— Не, на, возьми!— заторопился Оська,—на дороге нашел!

— Врешь!..

— Добро, добро!— поскорее вмешался Ксенофонт.— Не сходи с ума, Катерина! Он правду говорит. Мальчишка твой за нами бегал. Вот чеки из осей выдернул, камнями швырял в нас, озорник!..

Катерина немножко поверила и свободно передохнула:

— Ну, смотрите... вы меня знаете... даже мокрого места не останется...

— Зла не в меру!— обидчиво заметил приободрившийся Оська.— Душевности не понимаешь. Едем вот, рассуждаем: чего, мол, пешком пошли люди? Догоним— посадим, подвезем Савелия...

— Нуждается он!..

— Дело полюбовное! Трогай папаша!..

— Нет, подожди! — удивленная и обрадованная вдруг, Катерина взялась за вожжу.— Подожди...

Она неожиданно увидела бегущего вдалеке Савку:

— Боже мой! Куда это он?— вырвалось у нее.

Оська оглянулся, тоже увидел Савку и, стараясь казаться спокойным, проговорил:

— Ишь, мыкается, как ветер, а ты... — и, выхватав кнут, яростно хлестнул лошадь, рассчитывая опрокинуть Катерину и угнать от греха.

От неожиданного удара и окрика кобылица вздыбилась и рванулась. Катерина упала, но вожжу не отпустила, проволоклась за повозкой, оцарапалась. А когда круто повернутая дрожащая лошадь врезалась в чащу деревьев, Катерина вскочила на ноги, схватила Оську и повалила наземь. В следующий миг он уже лежал вниз лицом, с выкрученными назад руками, а Катерина сидела на нем верхом.

— Сними поясочек, сынок,— сказала она подбежавшему Савке.—Свяжем мы этого сивого мерина.

— А того?— спросил Савка, кивая на Ксенофонта, когда уже был скручен по всем правилам Оська.

— Не убегу!— отмахнулся зло повеселевший Ксенофонт. Горбясь и кряхтя, он подковылял к лежащему сыну, сел рядом:

— Ну что, ерой? Достукался?.. Остается соломину в зад вставить да надуть, как лягушку!..— «Я-я, государственное лицо»... Тфу, пропастина!..

Ксенофонт захихикал, потом как-то молодо засмеялся и, наконец, заплакал — отчаянно, безнадежно...

— Не вой!— прикрикнула на него Катерина.— Не сдохнет чадо твое!.. Разве что за Савку поколочу, чтобы в чужом доме не воровал да за Савелием не гонялся...

— Не о нем,— простонал старик,— себя жалко... Все кишки ты выпотрошила из меня... Пустой живу, а не умирается...

Савка рассказал, что приходил Оська и ударил его; что он подобрался, вынул и забросил чеки, а услышав разговор Харитинии у колодца, что Оська погнался за отцом, чтобы посадить в тюрьму его, побежал на помощь

отцу. Катерина слушала и презрительно поглядывала на притихшего Оську.

— Не горюй, сынок, я его накажу. А отца твоего он не догонит...

По Оське ползали крупные лесные муравьи, на него садились и кусали слепни. Ксенофонт, выплакавшись, сломил веточку, начал шугать насекомых украдкой от Катерины. Жарко припекало солнышко, билась, трещала кустами лошадь. Томительно текло время. Катерина ничего не предпринимала. Савке надоело однообразие, и он посоветовал:

— Чего думать-то, мамка? Давай отлупим его и домой пойдем: есть хочется.

— Лепешечку будешь?— заискивающе спросил Ксенофонт.

— Которые в пыли валялись?!— Савка повел маленьким носом.— Жрите сами!..

— А ведь дура я!— сказала Катерина, ни к кому не обращаясь.— Поедемте-ка домой.

Она вывела на дорогу лошадь, распутала Оську, стукнула его под зад коленкой:

— Иди куда хочешь!

Усадила Савку, села сама, сказала Ксенофонту:

— Трогай!..

Ксенофонт поглядел на злого, но бессильного сына, простонал:

— Садись и ты. Утри поедем, государственное лицо...

Оська не пошевельнулся. Он стоял и покусывал губы, в сторону косил узенькими глазами.

...Глуше и глуше отдавался стук лошадиных копыт, скрипуче плакали-вскрикивали плохо смазанные дегтем колеса. Оська продолжал стоять на том же месте...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прошел сенокос...

Катерина ждала и ждала весточки, плохо спала. Поднималась средь ночи и незаметно для себя уходила в ржаное поле, над которым полыхали зарницы. Возвращалась с мокрыми от росы ногами, пристраивалась около мирно посапывающего Савки, горевала:

— Сыночек, сыночек, где же отец-то наш?..

Савка спал непробудно, не слышал матери. День ото

дня он становился смышленей, любознательней. Наслушавшись присказок от Ильи или отца Сергея, к которому часто бегал с Даней-соловушкой, Савка порой рассуждал:

— Коль на Казанскую черница поспела, жнитво приспело! Слышишь, мамка, пойдем за черницей, ладно тебе канителиться!

— Я, сыночек, пояски плету, не канителюсь. Рожь будем жать да снопы вязать этими поясочками, да в кресты складывать.

Савка брал солому, пробовал помогать матери, но скоро надоедало:

— Ты, мамка, спой мне лучше. А я тебе квасу напиться принесу.

Катерина пела про златые горы и реки, полные вина, Савка думал в это время о молочной реке с кисельными берегами. «Вот хорошо бы найти такую! Бери ложку побольше, садись, свесь с берега ноги, хлебай сколько хочешь!»

Иногда он задумывался, у него, как у Савелия, меж выгоревших бровей образовывались складочки. Что-то тревожило его детский ум.

— Ты что, Савка?— спрашивала Катерина.

— Ничего, в окошко гляжу.

— Чего глядишь?

— Ничего не гляжу. Может, отец придет...

— Стосковался?

— Немножко...

— Хочешь, спою.

— Давай уж...

Катерина вспоминает, чего еще не знает Савка, и поет старинную песню:

— Красно солнышко разгоралося,
А я, молода, разгулялася.
А за мной, молодой, посол за послом:
Подь, невестка, домой, подь, голубушка!
На тебя свекор раскручинился,
Хочет больно бить — кровь рукой пролить.
А я той грозы не боялася,
На всю ноченьку оставалася,
Я домой иду — петухи поют,
Открываю дверь — дверь поскрипывает,
Шелковая плеть посвистывает.
Я на свекора не взмолилася,
В резвы ноженьки не клонилася...

Сказки и песни матери не про серых волков были и гусей-лебедей, не про царей и поповичей, а больше про добрых молодцев-удальцов — непокорных и сильных.

— С первого щелчка...— скажет Катерина, а уж Савка взвизгивает от удовольствия, видит он, как поп волосатый подпрыгнул до потолка.

Правда, отец Сергей говорит, что эта сказка богохульная и даже приходил, чтобы выговор матери сделать.

— Катерина, непутевая! Да есть ли в тебе доброе слово?

— Есть, батюшка,— спокойно ответила мать.

— Дык молви.

— Сейчас, батюшка.

Подумала она и давай при попе нараспев рассказывать Савке:

— Встанем-ка, Сава, на перекрестке больших дорог, поспрошаем, попытаем странников:

«— Откуда вы, люди добрые?

— А оттолича, из-под Питера.

— А что же там?

— Россия-матушка.

— Далеко ли путь?

— В Сибирь лежит.

— А в Сибири что?

— Цепи гремят.

— Кто же будете?

— Мы — колодники...

...Динь-бом... Динь-бом...»

— То, да не то,— говорил тогда отец Сергей.— Чадо свое добру учи.

— Может, этому?— спросила Катерина и еще громче начала:

«— Эй, молодушка, куда спешишь?

— В церковь божию.

— Что ранешенько?

— К заутрене.

— А что плачешь-то?

— Меня муж побил.

— А за что же он?

— Да ослушалась...

...Динь-бом... Динь-бом...

— Придержи одра, покурим, мужик!

— Табаку нету.

— Ну, побаем так.
— Да ить некогда.
— На возу-то что, под дерюгою?
— Тама гроб стоит, а в нем сын лежит.
— Рано смерть пришла!
— Да не бог послал...
— Что стряслося с ним?
— Он помещицей...
— Что помещицей?
— Был засеченный...
...Динь-бом... Динь-бом...
— Ну-ну,— усмехнулся отец Сергей,— валяй, валяй!..

А Катерина еще громче запела о том, как на перекрестке больших дорог скрипит лапоточек лыковый, поднимает пыль едучую:

«— Здравствуй, молодец!
— Здравствуй, мир честной!
— Ты ненашенский, чей, откудова?
— Отцов-матери, с Волги-матушки!
— Видно, боек ты?
— Да, случается!..
— Как народ-то там?
— Сечет помещицу!
— А в уме ли ты?
— В полном здравии!
— За такое ить — сложишь голову!
— А я, мать честна, не поддамся, вот!..
...И вперед пошел с песней вольною, а вослед ему звоны катятся...
— Динь-бом... Динь-бом...»

«Бом!»— это отец Сергей грохнул кулаком по столу:

— Послушай, Катерина, долго ли разбойничать будешь?
— Какой-же это разбой, батюшка правда сущая!
— Разбой!
— Спасибо, батюшка, не знала я.
— Ой ли? Савельева выучка, не сдобровать тебе!..
— Не боюсь, батюшка.
— Забоишься!.. Савелий-то, слышно, в остроге уж...
— Не пугай, батюшка,— сказала Катерина, но сердце дрогнуло.

Дольше обычного она стряпала в этот день и сильно

пересолила все. Выйдя во двор, чтобы наколоть дров, долго стояла над суковатым березовым чурбаном с топором в руках, пристально всматривалась в его торец, потом взмахнула и ахнула — разом развалила чурбан, за который принималась и не могла расколоть раньше...

В том-то и беда, что Савелий ничего не оставил ей, кроме песен, тревожащих душу, куда-то зовущих, и ушел непонятной дорогой — вроде так: позвал, срядилась Катерина, пришла в назначенный срок на условное место и вот ждет и ждет, а его нет. А рукам ее нужно его дело, Савельево, а сердцу нужна любовь... Хотя бы откликнулся, подал весточку, а уж Катерину бы ничто не удержало, порвала бы она путы, птицей пролетела бы расстояния...

Вспоминала Савельевы песни. В них падали цепи, рушились троны, вставал, поднимался обездоленный люд. Грозный народ сметал барские именья, кулацкие хутора, и там, среди самых отважных, он, Савелий...

Прислушавшись к дыханию Савки, Катерина спрашивала:

— Ты не спишь еще?

— Нет.

— Чего не спишь?

— Кто-то шастает.

— Ну и пусть.

— А может, отец идет?..

Катерина подвигала сына к себе, клала руку на его худенькую грудь, шептала на ухо:

— Послушай, что я скажу тебе, слушай, это отцова песня...

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил,
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...
Служил ты...

Под рукой стучало детское сердце — тук-тук, тук-тук, стучало то ровно, то неуверенно и торопливо...

За жнитвом незаметно прошел август. Промелькнуло короткое бабье лето, начались дожди. Но Савке не сиделось дома.

— Мамка, пойдем по грибы!

— Ишь ты, придумал! Погляди-ка в окно, как льет.

— Куда же деваться-то?

— Сходи к отцу Сергею.

— Бранится он, «Отче наш» учить заставляет.

— К Дане сходи.

— Пожалуй...

Савка одевался, убегал.

В избе Дементия, пропахшей травами, они с Данейсоловушкой учились народной мудрости — приметам и врачеванию.

— Сентябрь не любит баловать!— говорил Дементий, сочиняя какое-нибудь лекарство.— Слышите? В сентябре и лист на дереве не держится. А если ненастье с первого дня, что означает?

— Ведро!— отвечал Савка.

— Еще сказывай!

— Лету аминь. Кафтан скинь. Тулуп накинь.

— Слышь, Данюшка, что паренек-то знает!—одобрял Дементий.— А ты?

— Коль осьмнадцатого журавли полетят,— добавляла Даня,— к теплой зиме и плодородному лету.

— Правильно. А что про январь помнишь, когда к рождеству дело?

— Какова опока на деревьях, таков будет и цвет на хлебе. К рождеству рубаха сурова, да нова. Звездное небо — к приплоду скота. Тропинки черны — к урожаю гречи.

Много узнавали примет Даня и Савка от деда Дементия, да приметы-то нечасто сходились!..

За хлесткими дождями прилетели из хмурого неба белые мухи. Взвыла, залютовала зима. Ночи опускались на село черные. Утра в кровавый цвет красили в рамах стекла...

Когда зимняя ночь повернет к рассвету и еще больше сгустится синяя темень, наступает такая нелюдимая минута, таким тягостным кажется безмолвие, что хочется на всю вселенную крикнуть: «Э-гэ-гэ-э-э! Кто там задумал подлое!?»

Хочется и боязно крикнуть. А вдруг что-то случится непоправимое? Вдруг попадают на землю крупные белые звезды и зажгут сугробы негасимым голубым огнем? В это время даже собаки, седые от припорошившего их снежка, дремлют в закутах, свернувшись калачиком — видят звериные сны.

Говорят, в эту минуту прячется ночь. Будто снимает

она с себя одежды — снимает торопливо, рвет и лоскутками рассовывает ее под стога соломы, в щели сараев, в подворотни, в окошки изб, а сама дрожит и чего-то боится. Вот почему, оказывается, во дворах и избах, в овинах и ригах темно почти до восхода солнца.

Не успеет как следует спрятаться ночь, а уж по голубеющим просторам в виде поземки на белых сумасшедших конях мчит запыхавшееся утро, выставив вперед острые ледяные пики.

Дыбятся кони, косматятся их розовые гривы. И посвист слышится молодецкий, и тяжелый храп, и тонкое серебряное ржание.

Бегут, стелются кони, бегут прямо в село. Раздавят, сомнут его, кажется!..

Но и у этих, неземных коней, постепенно иссякают силы. Добежав до заборов и частоколов, до бревенчатых стен и соломенных крыш, падают, падают в кучу, извиваясь и горбясь, и уж еле-еле встряхивают розовыми гривами...

Тогда забывается Савке радостный мир деда Дементия, его заслоняет и заслоняет что-то ненавистное.

Почему где-то какая-то война? Почему уходят на эту войну мужики, чтобы умереть там или возвратиться без ноги, без руки, без глаз?

Почему...

Почему Нифонт выгоняет своих дочерей — Наталью и Марину—на мороз в одних черных платьях, и они подолгу стоят на белом снегу, дрожат и, как черные птицы, непонятно и страшно глядят на прохожих?..

Видел Савка, как на коленях молится Макаров Илья Степанович. Большая тень его пересекает избу и еще занимает половину стены. Он то просит о чем-то бога, то беззвучно шевелит губами, то, бухаясь лбом в половицы, выкрикнет: «Пошли! Покарай!»

Почему люди на селе только и заняты тем, что хоронят покойников, плачут, ругаются, заклинают друг друга черным словом?

Почему...

Почему у Савки, говорят, плохая мать, если она такая смелая и ловкая? Запрягает какая-нибудь баба лошаденку, канителится — тошно глядеть! «Постой»,— скажет ей мать и возьмется сама. Голыми руками цапнет горсть снега, разотрет им супонь, вскинет ногу и —

«тук» — клешня о клешню,— готово! Одним толчком поправит оглобли, глазом не моргнешь, как подвяжет чересседельник, пристегнет вожжи. Садись, поехали!». Если запряжет Савкина мать, то и лошадь-то пляшет, голову высоко держит и уши не развешивает, а «топориком» торчат они у нее...

В избе еще полумрак. В печке потрескивают дрова. Против чела стоит мать, озаренная пламенем, отчего кажется озорной и веселой. Она не сразу замечает проснувшегося Савку, думает. Задумался и Савка, глядя в окно. Там снежная кутерьма вокруг рябиновой ветки, на которой чудом уцелела кисточка ягод. «Вот бы добраться до нее, пока воробьи не склевали!»

Нахохлятся серенькие воришки, выжидают: «Чик-чирик, чик-чирик»— меж собой сговариваются разбойники. Другое дело — снегири! И собой пригожи и простые. Для них и рябины не жалко. Сядет на ветку иной — яблоком зарумяненным кажется, а к яблоку головка прикреплена да хвостик. «Вот и птицы-то разные!»

За дверью слышится возня, скрип снега, затем дверь открывается и вместе с большим холодным облаком в избу вваливается человек.

Он долго сопит и кряхтит, дует в руки и, наконец, крестится на киот.

Потом он садится и, посапывая, отдирает сосульки с жиденькой бородки и усов, бросает их на пол. Сосульки какое-то время лежат, ловят отблеск печи, потом начинают шевелиться и умирают, оставив на полу темное влажное пятно.

«Горемычный!»— узнает его Савка. Этот человек все ищет какую-то правду — видно, не помнит, где потерял ее. А мать с улыбкой сочувствует ему.

Этот нищий свое прозвище унаследовал от родителя-нищего, имя которого никто не знал до его смерти. И только после того как он замерз и останки его были положены в гроб, явилась надобность заглянуть в церковную книгу, где было записано: «Младенец Касьян, рожденный от Акима Петровича, деревни Чуркино, Годуновской волости... уезда... губернии».

Кто знает, может быть, за весь век только два раза и был назван Касьян своим несчастным именем — в день крещения и в день предания земле.

— Страшный, как черт!— сказал как-то про Горемычного Савка в присутствии деда Дементия.

— Не дело, не дело!— упрекнул Савку Дементий.— В человеке не облик — душа главное. Каждый имеет душу. У каждого она хороша по-своему. Только у одного она рядом, близко, а у другого на самом дне...

А где дно у человека?.. Наверно, в брюхе!..

Мать управлялась с печью, загребала жар. На столе появился чугун с вареной картошкой.

— Давайте, пока горячая,— позвала она и Савку и Горемычного.

Горемычный ел над шапкой, чтобы и крошки не обронить. Тонкие ноздри его чутко и жадно расширялись, потел белый лоб. Поев, он крестился:

— Благодарствуем! Детке твоей, Катерина, доброго здоровья. Родителям — царства небесного. Отведи, господи, руку недруга, порази врага и супостата.

Не отнимая ото лба руки, он косил глаза на Катерину.

— Живой Савелий-то?

— Живой.

— Пошли ему, господи, пути легкого! Хороший он! Летось со мной, словно с равным, за руку поздоровался, потужил со мной.

— А у тебя как?— спрашивала Катерина, и Горемычный отвечал:

— Слава богу. Только что, буди, Дуняшка не выживет. Лежит, есть не просит, горло распухло.

— Прозябла?

— Иглой подавилась. Намедни рубаху заставил латать, а она чихнула или кашлянула, глупая, ну игла-то и залетела в горлышко. Бабка ей в рот свечку совала, пальцем щупала. Дуняшка-то рыгала, блевала, а не помогло... Повез было ее на салазках в волость, ан кума Орсфия встретил — тот отговорил. Все одно — помрет, баит, напрасно тридцать верст прогоняешь. А в оба-то конца—шестьдесят. У меня, баит, в тем годе теленок подавился, так околел, как ни бились... Бог с ней! У меня их, посчитай, семь душ — и все девчонки, а кормить нечем. Избенка худая, на шестке вода мерзнет. Худо — старуха помрет, прихварывать начала...

Не было у Горемычного всю жизнь ни земли, ни скотины. Промышлял он тем, что из копыт и рогов делал гребни и менял их на хлеб, на картошку, а попутно и милостыню просил.

Раз в неделю приходила душевнобольная нищенка Феклуша. Обычно тихая, незаметная, она вдруг объявляла себя барыней. Ее глаза тускнели, на белых щеках появлялся багровый румянец, спина распрямилась. Такая и нравилась она Савке.

Она приходила с песнями, с необыкновенной прической огненно-рыжих волос, украшенных полевыми цветами, если это случалось летом, или сосновыми ветками — зимою.

Феклуша тогда не молилась, не садилась скромно у порога, а высоко подобрав платье, кружилась по избе в дикой пляске напевая:

Купцы были, вино пили,
А я разливала.
Купцы в музыку играли,
А я танцевала.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля...

Но вот заявлялась Феклуша — сдержанная, унылая. Тяжело опускалась на порог, медленно разматывала веревки лаптей красными дрожащими пальцами.

— Прошло у тебя?— спрашивала Катерина.

— Прошло. Бог милостив...

— Глупа уж больно бываешь!

— Так богу угодно. Грешна я перед ним...

Феклуша рассказала про свои грехи, которые заключались в том, что родилась она в неурочный год двадцать девятого февраля. Будто пришел к ней однажды, в день именин, черный человек, бросил на пол к ее ногам охапку сена и велел разобрать его.

— С тех пор я и роюсь в этом сене... Вся жизнь моя спутанная...

Феклуша умела гадать на воске. Валом валил народ в Катеринину избу, когда Феклушу на несколько дней задерживала непогода. Изба до краев наполнялась горем, и Савке становилось тошно...

Люди доверяли воску все, что мучило их: болезни, голод, свои жизни и жизни близких...

Серые женские глаза, в которых одновременно и ужас, и надежда, глядят на расплавленный воск, стекающий с железной ложки в стакан с холодной водой. Феклуша гадает Матрене—жене Кобылина-младшего, пропавшего без вести.

Рядом с Матреной, держась за ее юбку, стоит голо-

вастая девчонка с непомерно большим животом. На руках у Матрены другой ребенок. Он, надрываясь, кричит, что видно по его раскрытому рту и вздувшимся жилам на шее и голове, но голоса его почти не слышно. Он давно охрип и нисколько не мешает гаданию...

Когда Феклуша, вынув из воды воск, подносит его к лампе, чтобы лучше рассмотреть: гроб вылился или колос — Матрена словно предупреждает:

— Подружка, что же я делать-то буду, если не вернется? Куда я с малыми-то ребятишками денусь?!

Но разве не знает нищенка, что нужно выгадать! Пусть завтра будет что будет — сегодня надо дать бабе передохнуть... Пусть заснувшей Матрене в холодной избе под жалобный плач вьюги приснится желанный сон. Пусть в этом сне, прямая и сильная, она встанет при дороге на зеленый ковер, и уж не один колос, а море созревших и тучных хлебов разольется у ее ног... Пусть скажет пропавший Аким заждавшейся Матрене: «Начнем с богом!» — и взмахнет косой...

— Колос вылился! — радостно объявляет Феклуша. — Живой, вернется Аким твой!

И Матрена, словно окропленная живой водой, выходит из смертного оцепенения: нежно розовеет лицо, светлеют глаза. Матрена поспешно поднимает кофточку, и пересохшие губы без голоса кричащего ребенка ловят сосок...

Приходил даже Илья погадать на Максима. Ему выгадывалось «терпение и благополучный конец», потому что нищенка все знала...

Гаврила Кобылин обращался к Феклуше с затаенной хитростью:

— Погадай-ка на нашу жизнь. Что там ожидает нас, может, погибель какая?..

— На кого на нас?

— На народ, стало быть.

Для общей судьбы из воска выливалась корона, что означало «царство».

— Какое? — уточнял Гаврила. — Может, царство небесное?

— Зря получилось! — махал рукой Матвей Орехов. Он сидел на полу среди притихших женщин, придерживая культю. — Мужик сроду не царствовал!

— Оно так и не так, — рассуждал Гаврила. — Был же на свете мужик Степан Тимофеевич Разин. Пугачев

Емельян опять же... Когда я в остроге сидел, мне рассказывали...

Илья Степанович сердито ухмылялся:

— Дык они разбойничали. Самозванцами были...

— А я про что?— тут же соглашался Гаврила.— Разбойничали, головы боярам топором отрубали, а бедным волю давали. Понятно, разбойничали!

— Нашли разбой!— не соглашался Матвей Орехов.

— Как хошь разумей,— продолжал Гаврила,— только, сказывают, сядет, бывало, Разин таким манером, опрется в бока и сидит, а боярин перед ним на коленях ползает. Ежели Степан Тимофеевич правой рукой махнет — одежонку долой с боярина, сечь станут. Левой махнет — голова напрочь...

— Не мели!— обрывал его Илья и сам принимался рассказывать какую-нибудь библейскую историю про святых великомучеников.

— Бог послал испытание, он и терпение даст,— заключал Илья.— Молиться надо!..

Катерина и Феодосия всегда сидели рядышком, подталкивали друг друга, посмеивались над Ильей Степановичем:

— Апостол новоявленный!..

А однажды, чтобы досадить ему, Катерина, пошептавшись с Феодосией, обратилась к женщинам:

— Бабоньки, хотите я песню спою? Не знаю, как вам, а мне она лучше молитвы помогает!— и добавила, покосившись на Илью: — Меня научил этой песне, Савелий Дмитриевич...

И запела, стала звать на последний, решительный...

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем,
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!..

Многого сама не понимала из песни, но пела именно так, как Савелий — чистой совестью, сердцем, не знающим страха.

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Землей владеть имеем право,
Но паразиты — никогда!..

Когда песня была допета до конца и женщины сидели молча, озадаченно и напряженно, поднялся Илья:

— Гляди, Катерина, несдобровать тебе! — сказал он.— Через это самое Савелий в тюрьме.

— А может, я к нему захотела,— ответила Катерина и тут же почувствовала, словно бы ухватилась за какую-то ниточку, связывающую ее с Савелием. Отныне она будет всем петь Савельевы песни, она будет петь их потому, что они запрещены...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С тех пор бабы от Катерины расходились строгими, мужики — сердитыми. В глухую полночь села вдруг врывался неведомый доселе напев, призывающий порвать цепи, разрушить троны. Особенно жадными были на непокорные песни подростки.

В один из вечеров, когда солдаткам и матерям Феклуша предсказывала «встречи и радости», в избу вбежал вернувшийся из волости Гаврила Кобылин.

— Виделся! Слышите, с Савелием виделся!— размахивал он заснеженной шапкой.— Савка, бери веник, обметай мои валенки, гостинец получишь!

Катерина растерянно металась, ища полотенце, чтобы дать Гавриле вытереть мокрое лицо, но не дождался, утерся подолом рубашки.

— Садитесь. Все садитесь. Рассказывать буду!— бросил шубенку на средину пола, плюхнулся на нее, сияющий, праздничный.— Спрашивал Савелий: чай, Савка-то вырос без меня? Вырос, говорю, пострел озорной, вырос!.. А уж худ, уж бел Савелий — в гроб клади! Попили из него кровушки, один дух остался. Меня к решетке подвели, толкуют: «Вот он, Сочнев-то, Савелий Дмитриевич». Не узнаю! Савелий руку просунул,— «Здравствуй,— говорит,— Гаврила». А у меня горло перехватило, дышать нечем, плачу стою.

Гаврила выругался, смахнул кулаком слезу и засмеялся:

— Эх, Савелий, кремень-человек! Гордый такой и глядит, словно сквозь стены видит, смеется еще!.. Спрашиваю: «Когда выпустят?» Отвечает: «Днями, посылкой на фронт отсидку-то заменили». Говорю: «А ты не ходи, убить ведь там могут». А ему и горя мало. Подмигивает мне: мол, за матушку Россею и умереть не зазорно. Спрашиваю: «Когда же всяким мучениям конец придет?»

А он снова подмигивает: «Как меня,— говорит,— выпустят, дадут ружье, так мы всех врагов-недругов победим». Лихо, знать, в тюрьме-то ему! Как конь за прясл ом, так и рвется весь!..

Все слушала Катерина спокойно, держалась стойко до того, как не сказал Гаврила, что Савелий ждет ее, наказывал приехать на свиданку вместе с Савкой. Вскрикнула и схватилась за грудь. Сил не хватило дойти до судницы, чтобы взять кружку с водой, погасить жар в сердце,— упала.

Потом из далека далекого ощутила знакомый полевой запах, полынную горечь во рту, вздохнула глубоко и услышала голос Дементия:

— Сейчас отойдет. Она женщина сильная!..

Открыла глаза и увидела два улыбающихся лица: одно морщинистое, но свежее, другое — юное. Дементий держал ложечку с тем горьким и пахнущим полем. Даня-соловушка помахивала сырым полотенцем. Ни печали, ни боли, ни робости не было в груди Катерины — его до краев заполнило счастье жизни.

На свидание с Савелием Катерина взяла с собой Савку.

Дорогу заметала поземка. Буланый меринок то и дело сбивался с пути, по брюхо утопал в рыхлом снегу, устало всхрапывал. Савка сидел, с головой укутанный в тулуп, дремал.

То ему казалось, что он дома, лежит на горячей печке, а рядом мурлычет кот. То будто не дома, а у Макаровых играет с Даней в щелчки. Илья Степанович сидит над книгой «Жития святых» и бубнит, и бубнит: «Вера, Надежда, Любовь и мать их София»... Перед Ильей Степановичем стоит горшок с дегтем, в горшке мерцает фитилек, сделанный из пакли, он страшно коптит, а света почти не дает. На стене показывается большая тень чьей-то головы — страшной, лохматой. Потом эта тень кружится колесом...

...Колесо надрывно скрипит, шибче и шибче... Вдруг все пропадает. Савка слышит, как свистит ветер да звонко рассыпается по тулупу снежная крупа. Ему вспоминалась сказка о том, как злая мачеха велела отцу отвезти в лес неродную ей дочь. И страшно было той маленькой девчонке одной слушать лесную метель. Но девчон-

ка, знать, была глупой. Чем сидеть и мерзнуть, бежала бы в соседнюю деревню. Попросилась бы ночевать. Потом выросла бы большой и прогнала из дому злую мачеху. Нет, не так бы поступил Савка! Он взял бы с собой острый топор и коробок спичек. Разжег бы костер, напек бы картошки. Топором можно не только деревья рубить. Вот, к примеру, подходит волк. Глазищи — зеленые огоньки. Морда снежком припорошена. Зубищи — по пальцу. Пасть — с шапку... По телу Савки бегают мурашки, но он поднимает топор и отрубает волчью голову... Нет, не отрубает. Волк жалобным голосом просит пощады:

— Не тронь меня, мальчик. Я не простой волк, оборотень. Буду служить тебе верой и правдой. Садись ко мне на спину, я отвезу тебя в царство, где между кисельных берегов текут молочные реки, где царствует добрый Громобой. Садись, мальчик, скорее!

Три скачка, три прыжка через горы и леса—и Савка во дворце Громобоя. Царь весь в золоте, такой ласковый. «Бери,— говорит,— мальчик, полцарства и дочь мою себе в жены».

— Не возьму я твоей дочери, царь,—отвечает Савка.

— Почему?

— Мамка налупит. Скажет: маленький, а женился.

Ходит Савка по царским амбарам, удивляется. В одном амбаре полным-полно валенок и все новые. В другом — галоши, ну прямо — загляденье!

Надел он валенки с галошами, а своих, стареньких, бросить жалко. Всю одежонку, вплоть до залатанных портков своих, сложил в сумку.

Тут опять волк:

— Садись, мальчик, на спину. Я тебя мигом домой отомчу.

— Нет, я лучше у царя лошадь попрошу насовсем. Волк в хозяйстве не годится. Ты лучше собакой прикинься. Волком прибежишь в село, сразу ухлопают.

На белой лошади Савка летит домой. Лошадь в облаках, а хвост по земле. Диву дается народ: эка невидаль какая! Ребятишки шумят, носы вверх задрали: «Смотрите, смотрите, Савка-то каков! Наподобие Ильи-пророка!»

«А что Илья-пророк — я еще похлеще. Вот захочу— громом ударю, дождик на вас пущу!»

Савка напрягает слух и улавливает голос матери, она потихоньку поет:

...Путь далек лежит...

Страсть как не хочется, чтобы в песне замерз ямщик, пусть на этот раз живой останется, поэтому Савка перебивает мать:

— Мам, а мам!

— Ты что, родненький?— ласково спрашивает Катерина.

— День или ночь теперь?

— Ночь, сыночек. Да темная какая!

— А едем лесом?

— До самого города лесом поедем.

Ночью в большом лесу Савка никогда не бывал, а рассказов, от которых мороз по коже, слышал много. «Надо проверить».

Он с трудом освобождает руки и высовывает из тулупа лицо. Ветер, должно быть, стих. Над темными вершинами елей мерцает звездами мутное небо.

Когда Савка вырастет, он сделает высокую-высокую лестницу, слазит по ней на небо и снимет вон ту, самую яркую звезду. Но почему до сих пор никто этого не сделал?..

Чудаки мужики!..

Долги зимние ночи, но и им приходит конец...

— Вот и сторожка!— обрадованно сказала мать, и Савка вновь высунулся из тулупа: «Значит, скоро приедем. Дедушка Дементий говорил: от сторожки до города — рукой подать».

Справа от дороги, на узенькой тропке, стоял черный пес. Голос его был хриплый, сухой, казалось, он не лаял, а кашлял. Немного подальше, из-под приплюснутой снегом крыши одинокого домика, поднимался дымок. Теперь уж белый от инея меринок проворно семенил мохнатыми ногами. Сани скрипели, потрескивали, словно разламывались. Впереди, где расступался лес, обозначилась багровая полоса горизонта. Потом показалось красное холодное солнце, и снега засверкали, зацвели. От солнца, как от костра, посыпались на снег слепящие искры. За ними Савка увидел две большие трубы. Они были выше всех построек, подпирали небо и дымили в него черно и густо. А из труб, которые поменьше, выбивалося пламя. Над городом висла туча из дыма и пара.

— Ведь пожар, должно, мам, а?

— Завод это.

— Что завод?

— Там самовары делали раньше, теперь — не знаю.

Другой раз Савка непременно расспросил бы, что к чему, но теперь было некогда. Не успевал смотреть по сторонам. Даже заболела шея оттого, что все время крутил головой.

Искали трактир. Остановились около какого-то большого дома, из окон и дверей которого шел пар. Там, пока привязывали лошадь к коновязи, подскочил расторопный веселый человек:

— Не Катериной ли будешь? А?

— Катериной.

— А этот Савка, значит, который про горбатого мужичка поет?! Слышал про такого! Отлично! Меня Моховым звать. Я от Савелия Дмитриевича. Садитесь, к нему поедем.

Вскочил в сани, вожжи забрал себе:

— Поехали!

Миновали много улиц и переулков, все они были так похожи друг на друга, что Савке стало казаться, будто кружат, плутают они. Наконец он увидел вновь много труб и дыма. А в одном месте встретилась такая лавина людей, что пришлось свернуть с дороги, остановить лошадь. Люди шли с песней, но лица у них были невеселые, хмурые.

— Это забастовка, значит, рабочий класс поднимается!— пояснил Мохов и зачем-то прокричал, привставая, помахивая рукой:— Давай, давай, робятушки!

Потом за толпой проскакали так же одетые, как Оська. Они помахивали короткими кнутами, с боков у них болтались шашки, и Мохов сказал им вслед:

— Ничего, мы вам еще покажем, где раки зимуют!

Около высоких ворот дорогу преградил человек с ружьем и, как показалось Савке, одетый в армяк.

— Нельзя туды!— строго сказал он.— Ждите. Может, пойдет кто туды, тогда просите, чтоб позвали кого нужно. Я ведь...

Он не закончил фразы, в один миг сделался неживым, окостенел. Так стоял, пока не прошел мимо него кто-то важный и разодетый по-петушиному.

— Вон они ходят. Нечистая сила!— выдохнул человек с ружьем, приходя в себя.

— Жрешь начальство глазами?!— смеясь, спросил его Мохов.

— Ишь, храбрый нашелся!— покосился на него часовой.— Встань на мое место!..

Отца Савка увидел издали, но не вдруг признал его. К ним бежал Савелий, тоже в длиннополой одежде, подпоясанной ремнем, в ботинках с обмотками, размахивал шапкой:

— Катя! Вот радость! Постой, черт!— отмахнул он от себя Мохова и схватил в охапку Катерину, потом и Савку.— Сыночек, родной мой!

От отца пахло дегтем и махоркой и еще чем-то непонятным, чужим. Да и весь он был не таким, каким раньше... Только голос, только руки его, тискающие Савку, были родными, напоминали лунную сельскую ночь, огонек спички, которую зажег отец в темноте сарая... Негасимый огонек, оставшийся с тех пор в Савкином сердце!..

Савелия отпустили из казармы в город. Ночевали у сестры Мохова — Любы. Допоздна сидели за столом, пили чай, вполголоса разговаривали. Приходили какие-то люди, по-доброму здоровались с Савелием, а уходя, целовали его. К удивлению Савки, тетя Люба курила вместе с мужчинами и нисколько не сожалела о том, что отца забрили в солдаты.

— Нам дают оружие, мы не должны отказываться от него. А что с ним делать, ты знаешь, Сочнев!— говорила она, разгоняя перед лицом дым папиросы.

Спали на полу. Савка лежал в середине. В одно ухо ему дышал отец, в другое — мать. Две руки опоясывали его тощее тело: сухая и тяжелая — отца, мягкая и легкая — матери. И все же нерадостно было на душе у Савки. «Хитрые!— рассуждал он, имея в виду Мохова и тетю Любу.— На войну посылают отца. Шли бы сами да и воевали!»

— Ты, тять, не слушай их. Ну ее, войну-то. Домой поедем, ладно?

Савелий Дмитриевич вздыхал, тер Савкину щеку колючим подбородком:

— Я ненадолго, сынок. Повоюю чуток и вернусь...

— Охота тебе...

Ой, как тоскливо сделалось Савке на обратном пути из города в село! А главное—ничегошеньки он не понимал. Почему отец не поехал с ними? Какая сила не пусти-

ла его? Разве может кто-нибудь распоряжаться отцом?..

Злился и на Мохова, который далеко провожал их. «Хорош гусь! Мамка плачет, а он «однозвучный колокольчик» высвистывает!»

— Дай-ка сюда!— Савка перебрался к передку саней, отобрал у Мохова вожжи.— Правитьто не умеешь!

Чмокнул губами, шлепнул вожжой по крупу лошади, и она навострила уши, побежала рысцой.

— Узнаю! — притворно сокрушился Мохов. — Савелия Дмитриевича узнаю в тебе, парень!.. Счастливого пути вам!..

И соскочил, растаял в снежной кутерьме.

А Савка дергал вожжи, покрикивал:

— Но-но, мохноногий, пошевеливайся!

Долго не зябли у него руки и все — напрасно старался морозный ветер. Савка сидел прямо и строго и зорко всматривался в дорогу, обозначенную вешками, покрикивал:

— Но-но-о! Мохноногий!

Да он и не признался матери, что продрог наконец. Прежде чем укутаться в тулуп, чтобы мечтать и грезить, он остановил лошадь. Сойдя, по-хозяйски поправил сбрую, приласкал животное, погладил красной ладонью по теплой ее морде. По-взрослому поглядел на мать:

— Ну чего ты?.. Курица, что ли?.. Давай правь, у меня что-то в висках ломота.

— Простудился? — встревожилась Катерина.

— Нет, от дыму, наверно. Все курили. Даже эта... Люба сдурела...

Катерина привезла его в сильном жару. Назавтра стало хуже, и Савка слег.

Почти каждый, кто приходил к ним, качал головой, сокрушался:

— Помрет, о, истинный господь, помрет!

Боялась и сама Катерина, но виду не подавала.

— Ты, Савка, не поддавайся болезни-то, — советовала она ему.— Гони ее от себя.

— Не поддаюсь, мамка, — через силу отвечал он.— Да больно лихая она: то горло, то грудь давит...

И вот один раз лежал-лежал Савка, думал-думал, как болезнь прогнать, и вдруг засмеялся — тихо, но чисто, словно серебряный колокольчик зазвенел.

— Перед кончиной это! — перепугалась Феклуша и

кинулась искать в своей суме святую воду, чтобы окропить ею Савку.

— Перестань причитать над ним! — остановила ее Катерина. — В гроб загоните божьим словом. Давай, сынок, помогай мне!

И запела:

Как по морю, морю синему
Да корабель плывет...

И услышала, как отозвался Савка:

А на том кораблике добрый молодец...

Феклуша становилась надоедливой, неприятной. Порою она врывалася в избу растрепанная, ошалелая:

— Молитесь! — истошным голосом вопила Феклуша. — Молитесь!

Катерина махала на нее тряпкой.

— Подожди! Чего ты, сбесилась опять?!

— Молитесь! Океан опрокинулся. Сказывают, уж затопило Подвязки и Семенково, скоро до нас дойдет. Морские чудища глотают людей, как мух. Ой, горе! Великое горе!..

Савка глядел в проталину замерзшего окна, ничего не видел, ничто не говорило о начавшемся светопреставлении, сердился:

— Оглашенная! Напугать могла. Ты, мамка, не верь ей!

Феклуша залезла на печь, жалась там в угол, молилась. Она просила доброго ангела прийти и взять ее от страшной жизни или усыпить и не дать проснуться.

— Господи, пошли сон непробудный!..

За время болезни Савка так сильно привязался к деду Дементию, который лечил его, что не чаял в нем души. А уж без Дани минуты не мог пробыть.

— Ты, мамка, не больно у меня хорошая! — как-то сказал он обиженно.

— Какая уродилась, — не поняла его Катерина. — Зато ты у меня ком золота!

— Я про дело, а ты вон что! На улице холодище, а у деда Дементия с Даней избенка худая... Сходила бы да позвала их к нам. Давайте, мол, вместе в нашей избе жить. А?

То, что сказал Савка, Катерине понравилось. Но ей захотелось оправдаться перед сынишкой, не сознаться в

своей оплошности, чтобы не огорчить его. Ведь действительно она давно бы должна подумать о старике и девочке, которые так много сделали, чтобы спасти ее сына. Забылася Катерина, загоревалася своим горем...

— Думала я, сыночек. Тоже думала. Но согласятся ли?.. Слышала: звал их и отец Сергей, и Макаровы звали... Отказались.

— А ты подумай! — усмехнулся Савка. — Подумай, голова. Пошли бы, коли у отца Сергея Харитинии не было, она как шишига противная. А Илья Степанович молитвами замучает, только и знай себе гнусавит: «Рождество твое, Христе боже наш»... Не любит их дед Дементий... Сходи. Попытки — не убытки. Скажи им, и я зову.

И Катерина срядилась, пошла. А Савка, волнуясь, ждал. Долго ждал. Надеялся и не надеялся. «Самому бы сбегать, да хворь проклятая не пускает!»

То представлял, как вернется огорченная мать, снимет с головы заснеженную шаль, скажет грустно:

— Не желают...

Тогда Савка станет глядеть в окно и ругать зиму, потому что с утра до утра дуют холодные ветры, срывают гнилую солому с крыш, по-волчьи воют в трубах и подворотнях. Из сумрачного неба валит и валит снег, сравнивает с землей крыши изб и амбаров. Никакого просвета, ничто не обещается, только чудится, что во всей этой кутерьме бродят тени мужиков, убитых, пропавших без вести за царя и отечество. Будто снег и ветер замышляют что-то недоброе, а ночь только для того и опускается на село, чтобы наводить страх.

То другое представлял Савка, желаемое. Мать входила легкая, румяная от мороза, стучала валенками о порожек — обивала снег.

— Угадай-ка, сынок, какую я весточку принесла?!

— А то не видно!

— Собираются. Вот-вот пожалуют. Умойся да причешись, а я самовар поставлю...

И тогда уже зима не лютовала. Возвращался тот осенний покой, который вошел в душу, когда бродил Савка по полям и лесам с Даней и дедом Дементием... Хорошая пора — осень! Добрая она, щедрая!..

Гремит, гремит грозами август, гуляют, гуляют тугие ветры в сентябре, и вдруг в начале октября установится тихое бабье лето. Над золотым жнивьем полетят серебряные ниточки паутины, прояснеют, раздвинутся

дали. Прохладный воздух наполнится запахом увядающих трав, солоделым и осенним, горьковатым и сытным: дохнет осень.

Выйдешь в поле — дымки увидишь, и потянет от них печеной картошкой. По-новому глянутся перелески, запестрят они множеством новых красок. На синем глубоком небе солнечным пятном засияет березка, жарким костром вспыхнут боярышник и осинник. А пойдешь в лес и уже с трудом узнаешь знакомые места... Вот она, исхоженная тобой тропинка! Но кто присыпал ее поблеклыми листьями? Откуда там, на повороте, взялась рябина? Не примечалась она летом, сливалась с зеленью, а тут словно похвастаться вышла на тропинку — полюбуйтесь, мол, подивитесь! Сквозь резную листву рябинки проглядывают тяжелые кисти ягод и, кажется, смеются они!..

А тут еще Даня-соловушка... Сядет девчонка на пенек или на кочку, натянет на острые колени выгоревшее платьице и скажет:

— Прирасти бы к земле и глядеть, и глядеть вокруг!.. Савк, а Савк, а у тебя замирает сердечко-то?

— Маненько...

— Кто же придумал такую красоту?

— Отец Сергей говорит, что бог. А дед Дементий, отец твой, говорит — природа... Их не поймешь!...

— Отец Сергей не знает. Это дивное-диво придумало...

Бог. Природа. Дивное-диво... Бродит в Савкиной голове что-то неясное, силится парнишка разобраться в чем-то и не может. Больше всего хочется ему во всем подражать отцу, но не поймет он, что нужно для этого. Против кого выступать?..

От злости, что бурлит в нем, Савка корытцем складывает ладони около губ и кричит в лес так сильно, что на покрасневших от натуги глазах выступают слезы:

— Го-го-го!.. Черт полосатый, иди, я тебе затрещину дам!..

— Ты что, дурачок! — удивляется Даня. — Думаешь, правда какие-то черти есть?!

— Черт их знает, должны быть!

Савка берет палку и идет лесом напрямик, размахивает ею, бьет по кустам, по ельнику, и из края в край несется его звонкий голос:

— Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с своих ног...

— Ну, Даня, — скажет дед Дементий, поглядев на Савку, — грозовой, ураганистый парень вырастет!..

Не скоро возвратилася Катерина, многое успел передумать Савка. Вздыхал за окном ветер. Голубоватый свет замерзшего стекла отражался в дремлющих глазах Савки. Он уснул, согретый хорошей мыслью, что все будет благополучно. Снились ему большие-пребольшие баранки — гостинцы отца. Баранки катились по полю, а Савка бежал за ними. Да где их догонишь без семиверстных сапог! Устал он, повалился прямо на траву-муравку, душистую, теплую. Земля качается, как зыбка, то поднимается к облакам, то опускается снова. Страшно даже! А птиц певчих — тьма-тьмущая, и поют, и рассказывают Савке они о том, как собираются Даня-соловушка и дед Дементий, как идут-торопятся к нему, к ним...

Потом незаметно сон перешел в явь. Савка открыл глаза и увидел, как отворилася дверь, вошла мать, а за нею дед Дементий и Даня. Они принесли с собой запах мороза и луговой ромашки...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как только Савка немного окреп, дед Дементий начал учить его грамоте. Вместе с Даней Савка читал непонятные книги, решал задачки про «души земли», про урожай «сам-шост», «сам-пят», про посевы «исполу», четвериками и мерами мерял рожь и овес.

По-прежнему вечерами изба наполнялась народом. Старики дымили махоркой, злобно плевали на пол, молчали. С войны приходили невеселые вести про убитых и раненых, про кровавые реки, про то, что скоро должно наступить светопреставление.

На рождество ударили невиданные метели. Ветер разметывал соломенные крыши, качал стропила, сворачивал ветхие трубы. Все делалось наперекор предсказаниям деда Дементия: не бокогреем пришел декабрь, на Трифона не заговорили мыши, в феврале на стретенье не капель — к урожаю пшеницы, а морозище резал косой. Весна в тот год приходила медленно, будто чего-то боялась. С утра пригреет солнышко, с соломенных крыш

зазвенит капель, из-под сугробов пробьются ручейки и побегут к оврагу. Но к вечеру их остановит мороз. Он скует проталины, застеклит лужи и приведет тихую чуткую ночь...

Беззлобно тявкнет собака, где-то захрустит грязный снег под ногами и со стоном продавится подернутая ледком лужа. Жужжат за божницей оживающие мухи, шлепаются с потолка на пол черные тараканы.

А то и снег повалит — крупный, пушистый. Грачи примолкнут, нахохлятся. Сидят у своих недоделанных гнезд и о чем-то думают.

Скучно в такую пору и птицам и людям...

В первых числах марта по трудным сырым дорогам пришла в село весть о свержении царя. Услышав об этом, Дементий улыбнулся. Катерина перекрестилась, а Илья схватился за голову:

— Не верю!..

Матвей Орехов, опираясь на самодельный костыль, скакал от дома к дому, выкрикивал:

— Царю конец пришел! — потрясал он какой-то грамоткой. — Вот тут написано, кто читать умеет?!

Заскочил Орехов — и к Илье:

— Царь отрекся!

— Не мели! — оборвал Илья.

— Правда!

— Не смей болтать! — у Ильи затряслись коленки. Он потянулся было за чересседельником, чтобы огреть Матвея, но рука заходила ходуном и в глазах потемнело.— Ты не пугай меня, — выдохнул он через силу.

— Правда, правда! — забожился Орехов. — Лопни мои глаза — правда. Я уж цареву патрету глаза выколол.

— Выколол? — Илья в беспомощности присел на лежанку.

— Да, выколол! Вот так, так, так, — он показал как и притопнул ногой. — Да еще и в харю ему плюнул. Тьфу, кровопивец!

— Врете вы, беспутные, врете!

Ждал Илья изменений, но только не таких! На бога и царя опирался он в жизни, как на костыли, в нерушимость их верил, и вот на тебе: один костыль сломался.

Так зачем же обманывали Илью целую жизнь! Кому это нужно было?

Радостная вернулась от соседей Феодосия:

— Слава те, господи! Максима ждать будем, Савелия отпустят, чай?

— Мать, неужто отрекся?..

Обманули Илью. И кто обманул? Царь! Не в угоду ли тебе, батюшка царь, завраждовала, разорилась семья Макаровых!..

Вскинул глаза Илья на стенку и похолодел: царский потретик на старом календаре окривел! «Савка, паршивец, и Данька непутная забегали, это они успели напроказить! Ну и добро, поделом тебе!»

Был у Ильи случай такой в хозяйстве: выпросил он у мира клочок земли, раскорчевал его, обливаясь потом, купил семена репы, посеял ее, а потом радовался на всходы. Дуром прет репа! А пришла пора, и сурепка выросла! Знать, и в жизни такое случается. Вот она на закате, а что пожинать?..

Вечером к Орехову присоединились Гаврила Кобылин и Федор Жилин, дезертировавший из царской армии. Пришли они и к Илье. Войдя в избу, не перекрестились, шапок не сняли.

— К тебе мы, Илья Степаныч, — несмело начал Гаврила.

— Вижу, — рассерженно буркнул старик.

— По важному делу, стало быть.

— Валяйте, коли так. А прежде шапки сымите. Под образа, чай, сели!..

Матвей Орехов покосился на иконы:

— Перед кем сымать? Ты лучше скажи, Илья Степанович, на чьей стороне живешь? Чью линию держишь?

— Своей живу.

— В кого веруешь?

— В бога, сукины сыны!

— Может, в царя еще?

— И в царя верую, басурманы!

— А это видел? — Кобылин показал кукиш. — Был царь да сплыл.

— Постой! — остановил его Орехов. — Не затем пришли. Ты, Илья Степанович, грамотный, растолкуй нам, что написано в этой бумате.

— В руки не возьму!

— Как же не возьмешь, коль мы миром посланы?

— Не возьму и конец!

— Почитай, я хоть послушаю! — попросила Феодосия.

— Не суйся! — огрызнулся на нее Илья и ушел в омшаник, закрылся там и долго молился богу на темный паутинный угол: «Господи, с тобой мы вдвоем остались, осиротели!»

Шла весна, а впереди нее шел голод...

Вот уже час, а может быть, и больше Савка с Даней смотрят в окно на ворону. Она сидит против окна на голой рябине, сгорбатилась, низко опустила голову. Мелкий снег вперемежку с дождем хлещет ворону в спину. По стеклам ползут грязные потеки.

Савка, прижавшись носом к стеклу, дремлет и, чтобы не заснуть окончательно, говорит:

— Лучше кем быть: вороной аль человеком?

— Человеком, — отвечает Даня.

— Ага, понимаешь ты! Ей ни рубашки, ни платья не надо... ни портков. Она в перьях. Я бы стал вороной...

Тем временем птица куда-то слетала и вернулась с гнилой картошкой. Она села на прежнее место, прижала когтями к сучку картошину и стала долбить ее клювом, соря на землю крошки.

— Есть как хочется, — сказала Даня, сглатывая слюну. — Скорее бы щавель поспел да пестышки, тогда бы поели. — Поглядев на птицу, она добавляет: — Дура ворона. Была бы я на ее месте, улетела бы в теплые края, где никогда не бывает ни зимы, ни ночи...

— А где такие края? — сомневается Савка.

— Далеко. Для человека недоступны. Слышала я, есть на земле такая девочка одна. Вот ей хорошо: захочет она быть лебедем-птицей, стукнется об землю и лебедем станет. Стукнется опять — человек. Вот это да! Я пробовала, в сарае на гумешку падала, да ничего не вышло. Та девочка, наверное, слово такое знает...

— Ну что, летать не мудрено, можно и летать, — прислушиваясь к детским разговорам, рассуждала Катерина. — Да надо сперва грачиного мяса отведать. С мякины летать не станешь, а скоро вовсе наземь упадешь. Вот давайте я наделаю вам волосянок, а вы ставьте их на грачиные гнезда.

— Грачей?! — изумлялся Дементий. — Грешно!

— Понятно, грешно,—возражала Катерина.—Да умирать ведь неохота. А они вон летать хотят. — И добавляла. — Вы ешьте, а я за вас богу помолюсь.

Грачиный промысел в селе наладился быстро. Грачей была уйма. Каждый день ловили по пятку, а то и больше, пока распуганные птицы не улетели куда-то.

Пришлось взяться и за дворовых голубей, но на это и дети решились не скоро.

Дементий же и слушать не хотел:

— Такое не простится!

Да и самой Катерине страшноватым казалось есть голубей.

— Подождите, надо подумать, — откладывала она со дня на день. — Может, бог вразумит на другое.

Наконец согласилась и тайком от деда Дементия помогла ребятишкам сделать луки со стрелами, так как силки под крышей ставить было трудно.

Луки согнули из черемухи. Натянули на них сыромятные ремешки, а в передние концы стрел вбили остро отточенные гвозди.

— Как же я теперь перед Дементием-то отвечу? — сказала она, когда Савка и Даня вооружились этим страшным оружием и пошли во двор охотиться на голубей.

Двор толсто покрыт соломой, которая от времени сделалась серой. Под стропилами густо висела паутина, а там, где поливало дождем, солома была белой от плесени. Тонкая перекладинка с насохшим на ней пометом гнулась. По ней взад и вперед ходили, воркуя, сизогрудые голуби, некоторые, нахохлясь, кружились на месте, опустив голову и закрыв глаза.

Кто знает, с каких пор они поселились здесь, из года в год увеличивая семьи и беззаботно воркуя.

Даже первые стрелы, пущенные из луков, не обеспокоили их. Не чувствуя опасности, птицы сладко ворковали, пока одна из них с торчащей в зобу стрелой не упала на гумешку.

На крик ребят прибежал дед Дементий.

Роняя перья, голубь бился на соломе, брызгая кровью. Измученный, он круто запрокинул перламутровую головку и жалобно запищал.

— Грех-то какой! — закричал дед Дементий. Трясущимися руками поднял голубя. Держа его в ладонях,

он встал на колени, уронил на грудь голову, лицо его сморщилось.

С тех пор ребятишки больше не охотились на голубей. А дед сидел на печи и выхаживал подстреленную птицу. Он поил ее изо рта водой и кормил жеваными крошками.

— Ожил голубь-то, ожил! — радостно сообщил он однажды. — Сам есть и пить стал. Вот денек-другой — и выпущу. Пусть летит куда знает!

Но оживший голубь никуда не улетел. Он стал жить на прежнем месте. Увидев деда Дементия на завалинке, голубь прилетел к нему и садился на плече или на колени...

От голода, от сельской мрачной жизни Дементий уводил Савку и Даню в лес или поле. Там находил какие-то травы, выкапывал корешки, луковки, заставлял есть.

Семенит впереди Дементий и все говорит и говорит:

— Марии — зажги снега, взыграй овражки... На святого Руфа — дорога рухнется... На Кузьму — сей морковь и свеклу. Юрий весну начинает, Илья лето кончает. Коли дождь — скотине легкий год, а гречи недород, а роса — не надо овса. Коли на Егория лист в полушку — к Успеньеву дню клади хлеб в кадушку...

За селом черным-черно. Парит земля, волнующе пахнет полынью. В овражках еще снег, из-под него бегут ручьи — чистые, свежие, как слеза. Над чьей-то павшей лошадью воронье, их грай смешивается с серебряным звоном жаворонков.

— Еремей, Еремей, про посевы разумей! — бормочет старик, приостанавливаясь. — Если на Еремея погоже, уборка хлебов пригожа!..

Прислонясь спиной к бугру и откинув назад голову, лежит Феклуша-странница. Солнышко ей светит прямо в широко раскрытые глаза. Но не отражается в них, а гаснет. Нос у нее синий, губы — серые. Рядом с ней валяется засаленная сумка с милостыней. Землистая рука еще держится за лямку сумы.

— Царствие небесное! — крестится дед Дементий, затем садится рядом с покойницей.—Ну, что, птаха, отмучилась!..

Со словами «не гневайся» он берет сумку с милостыней и кладет себе на колени. Тут же замечает Савку и Даню. Ребятишки стоят пораженные, испуганные.

— А вы не бойтесь ее, она чистая. Идите сюда, помянем покойницу, милостыню отведаем.

Выбрав из сумы куски, старик рассеял по полю крошки, приговаривая: «Клюйте, птицы, да Феклушу славьте!..»

И будто так и надо — сидели втроем и ели милостыню. Дементий жевал словно бы нехотя, ребятишки — торопливо. И если не обращать внимания на покойницу, то уж больно хорошо вокруг: край межи осыпан масляно-желтыми цветочками, с голубого неба льется щедрая теплынь, по прошлогодней жниве стелется паутина.

...Хоронить Феклушу никому не было охоты. Сослался на болезнь и отец Сергей. После опознания она пролежала на том же месте еще два дня. Дементий кое-как набрал старых досок, чтобы сделать из них гроб. Могилу рыть ему помогали Даня и Савка.

Богатыми были ее похороны: за попа и за дьякона и за певчих справился один дед Дементий, потому что ему подпевали жаворонки и еще какие-то серые птички, слетевшиеся поклевать развеянные по полю крошки из Феклушиной сумы. Разве что свечей не было, да ладно, зато солнышко ярко светило и пахло землей-матушкой!

— ...Прими, господи, душу усопшей рабы твоей...

— Ей-ей-ей...— перекликалось эхо.

А разве не было слез и скорби, положенных каждому усопшему? Были! Две слезинки выкатились из Савкиных глаз, две — из Даниных.

— Что же ты смотришь так безучастно? — к кому-то обращался старик, устремив взгляд в небо, стоя перед свежей могилой Феклуши. — Иль мало тебе горя человеческого?

Суровело лицо Дементия, сутулились плечи.

— Вот что! Слушай мой сказ, диво-дивное! Отрекаюсь я от тебя! Нет тебя ни на небе, ни на земле! Тьфу, тьфу! Отрекаюсь!

Но колени его дрожали, страхом наполнились глаза:

— Прости меня, прости голубушка!.. Прости, дивное-диво...

И тут же заулыбались первые желтые цветочки, осыпавшие межу. Потеплели куски глины, похоронившие Феклушу. Была нищенка — и нет ее. Она ушла вме-

сте со своей несчастной судьбой, оставив после себя суму, пахнущую русским ржаным хлебом... И эта сума, этот запах ее — труда и жизни — войдут в Дементьевское «дивное-диво» и будут жить вечно...

Не горюйте, не печальтесь, Даня и Савка! Как только отойдете вы от могилы Феклуши-нищенки, дед Дементий встряхнет плечами и позовет вас в дивное-диво послушать песни без слов.

Хочешь послушать такие песни — сходи в весенний лес, постой вечернюю зорьку на лесной просеке, погляди, как умеют любить черноглазые птицы вальдшнепы, постой, послушай, затаив дыхание пока сквозь мелкий осинник еще виднеется алый кусочек неба...

А случится быть на озере летним безветренным днем, выведи лодку на середину озера и брось весла. Внимательно осмотрись вокруг. Там, у самых берегов с нависшими кустами, среди водорослей, пробившихся на поверхность, плавают белые-белые с желтой серединкой восковые лилии, и все по две, одна над другой, одна раскрыла лепестки в синее небо, другая — точно такая же — опрокинулась в водную глубину. Это — отражение!

Не боясь тебя, кряковая утка-мать стороной проведет еще не ставшее на крыло свое потомство, и легкая волна чуть-чуть колыхнет лилии. Вдруг ухо уловит звуки, напоминающие пощелкивание семечек на зубах. Что это? Это караси склевывают моллюсок с подводной стороны плавающих лопушников. Перегнись через борт лодки, близко-близко наклони лицо к воде, и перед тобой откроется сказочный подводный мир. С темно-коричневого дна поднимается лес водорослей, он стоит затаенный, не по-земному причудливо переплетенный. Среди него, не нарушая спокойствия, снуют многочисленные жители стоячих вод — моллюски. Но вот лес колыхнулся, и сквозь него протискался старый карась чуть ли не с лопату шириной. Встав торчком у корня лилии, он по-стариковски медленно вроде жует воду и о чем-то думает...

Молодые рыбешки резвятся, гоняются, как дети, друг за дружкой вокруг затонувшей и подернутой мхом коряги. И вдруг — все врассыпную, даже у старика-карася появилась прыть... Поленом метнулась щука.

Песни без слов существуют... Поет их дивное-диво...

Смерть приходит и уходит, а жизнь бесконечна!..

Что холмик Феклушиной могилы против того, что видит жаворонок, поднявшийся в небо, против того, что видит он и воспевает?.. Дементий поможет Дане и Савке мысленно взлететь к жаворонку, чтобы парить рядом с ним и дивиться тому, как ничтожно село с голодом и болезнями, с золотыми куполами церкви...

Село с мрачным и злым Нифонтом...

— Нифонт страшен там. А в природе он вот что... Идите сюда...— Дементий остановит Даню и Савку в сыром затишье леса и укажет на лоскуток паутины...— Глядите, весь Нифонт тут... Вот он сам — суматошный паук, кровопиец. А эти мертвые мушки — его дочери — Марина и Наталья... А это наш Андрейка запутался... Нифонт страшен там, а здесь — пробежит лиса, махнет хвостом — и нет Нифонта!.. Или вот гриб мухомор, скажем... Это Илья Степанович... А мы с вами... Что мы с вами?.. Зайчишки быстроногие! Скачем, прыгаем да травку жуем. Нам наплевать и на пауков, и на мухоморов!..

А Катерина металась, не знала, куда деть себя, к чему приложить силы. Собралась и сходила в волость, повидалась с Любовью Моховой. Как и в тот вечер, когда Савелия провожали на фронт, Мохова много курила и сухим мужским голосом толковала Катерине про социалистическую революцию, которую готовит человек по фамилии Ленин.

— Царь отрекся, но власть захватили капиталисты и помещики. Их должны мы свергнуть, говорит Ленин. Кто мы? Мы — это рабочие и трудовое крестьянство. Мы — это я, ткачиха, и ты, Катерина, крестьянская беднота.

— Мне-то что делать? — не понимала Катерина.

— Тебе? Вот что: организуй вокруг себя сельский народ. Поделите между собой посевы этого новоявленного помещика, Нифонта, загляните в его сундуки и дайте хлеб голодающим.

— Силой?

— А как бы ты думала?

— Нифонт за рогатину возьмется.

— Пусть берется, не отступайте!

Любовь Мохова водила Катерину по городу — не-

обычайно людному, взбудораженному. Толкала в бок локтем, указывала то туда, то сюда:

— Гляди, радуйся! Кипит возмущенный народ!..

Катерина глядела, радовалась и вдруг увидела Оську, переодетого в гражданское, безусого, с перепуганным овечьим лицом. Сутулясь, он жался к домам, а по улице, неоглядно запрудив ее, катила людская волна, грозная, неудержимая.

Катерина сама остановила Оську, взяв за рукав потертого пальтишка:

— Ты?!

И долго беспощадно глядела в упор, пока не задрожали у Оськи скулы.

— Что, несчастный, попался?!

Оська провел дрожащей бледной рукой по такому бледному, покрытому испариной лицу, начал заикаться:

— Я... Я...

— Вижу, что ты, погань паршивая!

Ей хотелось ударить его, но тут людская волна отрезала Катерину от Оськи, увлекла с собой. Над головами, над знаменами взвилась Савельева песня, которую Катерина хорошо знала, но не могла представить себе раньше, что столькими сердцами владеет она. «Так вот они те, кого называют пролетариатом!» — восхищенно подумала она, приподнимаясь на носки, чтобы получше осмотреться. Потом в тесноте Катерининой руки коснулась рука Любови Моховой:

— Катя, держись за меня!..

На короткий миг вновь промелькнуло в стороне бледное лицо Оськи.

Возвратилась Катерина из волости обновленной, решительной. Но прежде чем поднимать народ против Нифонта, надумала сходить к нему одна. Нифонт сидел на бревне против своего дома и беззаботно строгал ножом палочку. Села и Катерина, собираясь с мыслями.

— Ну? — сказал Нифонт и стал глядеть на дорогу, где вдалеке виднелась подвода.

— К тебе, поговорить пришла.

— Уж не пригласить ли на ночку решила? — усмехнулся Нифонт.

— Может, и пригласила бы, если человеком был. Да и образина у тебя чертей пугать,— спокойно ответила Катерина.

Нифонт нахмурился:

— Поосторожнее насчет образины!

— А ты язык не распускай, ночевальщик! Мало за кусок хлеба вдов купил?..

— Не твое дело.

— Мое! Я пришла сказать тебе, если не поделишься хлебом, не поможешь добром тем, которые совсем изголодались, придем и разорим все твое воронье гнездо.

— Ай! — притворно вскрикнул Нифонт и тут же сделался особенно страшным, нож в его руке замер.— Вот эту штуку я из косы выпилил... Куда желаешь... В бок, под ребро, аль горло чтобы перерезал?..

— Себе побереги.

— То-то!.. Девчонка, как тебя! — крикнул Нифонт Дане, проходившей мимо. — Подь-ка!..

Даня подошла, потому что увидела Катерину. А Нифонт поднялся на завалинку, через открытое окно достал со стола каравай хлеба, отрезал от него пол-ломтя, вернулся на прежнее место. Повертел кусок хлеба в руках, отломил четвертушку и бросил курам. Остальное протянул Дане:

— На, пожуй. А то вон тетка Катерина говорит, что я жадный. Чего насупилась? Бери! Не чужой, а родной жалует...

Даня отступила к Катерине, оперлась на ее плечо и, глядя не на протянутый кусок, а в холодные глаза Нифонта, сказала:

— У нас своего хватает.

Нифонт хохотнул, обратился к Катерине:

— Видишь? Оказывается, своего много!..

Он был зол и собирался сказать Дане, чтобы она не очень фыркала на родного отца, что ей пора знать, чья она, но загляделся на приближавшуюся подводу.

— Кто бы мог?.. — подумал он вслух.— Постой, постой, да это, кажись...

И не успел договорить.

— Савелий! — крикнула Катерина с места.— Савелий!..

В телеге кроме Савелия и незнакомого мужика, на соломенной подстилке лежал Кобылин-младший, Аким. Опомнившись, Катерина увидела его:

— Аким, что с тобой?

— Как видишь... Ногу — за веру, руку — за царя, по голове — за отечество!..

Сбежался сельский народ, окружил подводу плотной стеной. У женщин кривились губы, дрожали подбородки. Плакала, причитала над мужем одна лишь Матрена Кобылина. Но вдруг в толпе кто-то заголосил еще и еще...

Савелий встал на телегу:

— Женщины, замолчите! Слышите меня, женщины, не смейте плакать!..

Одной ногой и одной рукой по-солдатски вытянулся на соломе Аким, словно команду «смирно» подал ему Савелий.

— Подожди,— сказал он, отстраняя от себя Матрену.— Дома наплачемся.

— Женщины, — продолжал Савелий,— сколько вы плакали, а нужды от этого не стало меньше.

— Знамо, не меньше.

— Больше стало.

И опять было потянули к глазам фартуки и подолы, завздыхали горестно, потому что от всех несчастных бед у крестьянки одно оружие — слезы. Как заплачет она, когда под венец ведут, о том, что подгибаются ее резвые ноженьки, опускаются белы рученьки, с плеч головушка долой валится, так и не сохнут глаза до могилушки. Что бы делать-то стала она, если бы слез не было? Сгорела бы, воспламенилась бы синь-порохом!

— Женщины, давайте вместе подумаем, как жить дальше?

— Чего думать, коль хлеба нет!

— Ребятишки от голода пухнут.

Нет хлеба и у Савелия, сердце бы он отдал свое, если бы прок был. В какие глаза ни заглянет — голодные они, просящие.

Вдруг не придумаешь, чем помочь, но Савелий уже видит сквозь накрапывающий дождь железные крыши амбаров Нифонта, его мельницу, беззаботно помахивающую крыльями, где из-под тяжелого жернова по желобочку сыплется в ларь теплая пахучая мука...

Вот и придумал!

— Женщины, попросим хлеба у Нифонта!

— Не даст!

— У него в крещенье снегу не выпросишь.

— Силком возьмем!

— Верно говоришь, Савелий! — кричит Аким Кобылин...— Не бойтесь, бабы!

Он кричит обо всем, что кое-как уложилось в его голове, чего наслушался в окопах, что — до боли родное, хотя и смутно понятное. Придет скоро свобода и даст она и землю, и вольную жизнь. Акиму казалось даже, что свобода вернет ему руку и ногу.

— Бабы, вы безголовый народ! Мать честная! Во! Потрясите Нифонта за портки — даст! Правда, Савелий?

— Правда!

Взбудоражились, зашумели:

— А не даст, — мы ему, черту гнусавому!..

— Кто там грозить надумал?! — сказал Нифонт, подходя к телеге. — А ну-ка, Савелий Митрич, подсоби.

Нифонт поднялся, встал рядом с Савелием.

— Грозится ужо будем... Пусть нынче с приездом Савелия Митрича праздник настанет! На каждый двор по семь фунтов муки даю. А утри еще что-нибудь придумаем. Идите к амбару, вставайте в очередь! Так, Савелий Митрич?

— Так,— помедлив, ответил Савелий.

— То-то и оно. Выстраивайтесь у амбара!..

— Подождите! — остановил шарахнувшуюся толпу Савелий.— Я должен передать вам, граждане, поклон от питерских рабочих, от революционного пролетариата столицы. А еще вам поклон от товарища Ленина, нашего дорогого вождя! Меня и многих солдат он послал в деревни и села, чтобы помочь вам.

— Ты сперва растолкуй, кто это — Ленин! — громко сказал Нифонт.— Нонче столько развелось всяких, что и не знаешь, на которого из них молиться!

— Кто он, Ленин, пусть сам народ разберется,— ответил Савелий.— Ленин против войны, за то, чтобы солдаты домой вернулись. Он за власть рабочих и крестьян, за новую жизнь трудового народа!

— О земле говорит что? — вновь выкрикнул Нифонт.

— Вся земля — крестьянам!

— Значит хорош... За нас! — одобрил Нифонт.— Партия-то его как называется?

— Партия большевиков!..

Наступил вечер, которого долго-долго ждала Катерина. Еще один вечер, когда на столе снова шумел са-

мовар и в избе пахло Савелием — солдатским табачком, шинелью, дегтем тяжелых фронтовых сапог. В окружении кроткого деда Дементия, восхищенного Савки, вдумчивой Дани Савелий теплился, обогревал бревенчатые стены, и все-все, что находилось в избе, как-то отвечало ему добрым расположением, принимало его, тянулось к нему. И чашки радовались в руках Катерины, и самовар шумел так, словно он плясать с ней собирался!

А Катерина то посидит за столом, то отойдет и прислонится к печке — руки назад, как тогда... давным-давно, как в первый раз... То все-все оглядит и мысленно скажет: «Вот и дождались!»

Ну что бы, казалось, такого особенного в Савкином картузе?.. Нет, и он что-то соображал, и он что-то силился выказать. Боченился картуз, вися на гвоздике у двери и вроде подмигивал Катерине: дескать, не забыла, о чем думала, когда козырек на мне пришивала?.. И дверь улыбалась ей доброй старухой: дескать, что, не нужна я стала? А помнишь, бывало, только и поглядывала на меня, только и вздыхала: «Вот бы отворилась, вот бы вошел желанный!»

«Пусти, пусти! — просилась соленая слезинка из самой-самой глубины сердца.— Пусти, пусти, я горючая, я последняя...»

— Катя, иди к нам! — спохватившись, звал Савелий.— Ты что там?..

— А я отсюда... Мне хорошо,— тихо отвечала она, и Савелий понимал ее...

Сначала пришел Андрейка. Пришел, как подосланный,— чужой, безмолвный. Курил, глядел на свой окурок, на маленький огонек его, и этот огонек отражался в холодных глазах. По лицу, как у Нифонта, блуждала недобрая улыбочка. Он пришел после совета с Нифонтом о том, что делать, как поступить. Или распродать все и махнуть на все четыре, или дать разграбить себя таким голоштанным, как Савелий, Кобылин, или...

Нифонт сковородкой на сковородке катал картечь, притворно печалился:

— Ружьишко, что ли, на всякий случай зарядить... Как, Андрюша, ты думаешь?.. Аль убежишь, в беде меня кинешь?..

Зарядив ружье и сунув его под матрац, Нифонт прикрикнул на дочерей:

— Эй, вы, шишиги! Ужин нам с Андреем да поживее!

Марина и Наталья тихо и степенно подавали на стол, не поднимая робких глаз. Нифонт с мужицкой наглостью ухмылялся:

— Которую выбрал Андрюшенька, энту аль энту?

— Не все ли равно! — цинично отвечал Андрейка.— Захочешь — на обеих сразу женюсь!

— Орел! — одобрил Нифонт и долил Андрейкину рюмку.— Ты мне пуще родного дорог, Андрюша! Давай по махонькой, да и за дело...

Он локтем раздвинул посуду, разгладил перед собой желтый листок бумаги и, послюнявив карандаш, написал сверху:

— «Дарственная моему будущему зятю Андрею Ильичу Макарову...»

Так что взглянуть на дядю Савелия пришел не какой-то сопливый мальчишка, а полноправный хозяин всего Нифонтова богатства. Они только что целовали икону и клялись друг другу в верности до конца жизни. Андрюшка достиг, Андрюшка поднялся выше всех Макаровых, выше всех на селе!..

Потом пришли Феодосия и Илья. Андрейка на них не обратил никакого внимания. Отец для него давно стал жалким, придурковатым со своими молитвами... Мать что-то загордилась перед ним, как девка-недотрога: ты не выругайся при ней, на пол не плюнь, лишнюю цигарку не искури. «Зачуждались, ну и хрен с вами!»

Савелий рассказывал про Максима, с которым недавно виделся в Питере. Рассказывал так, словно специально хотел досадить Андрейке: будто Максим и ростом высок, и красив, и умен.

— Мы с Максимом Ленина видели! — с гордостью говорил Савелий.— Мы встречали его на Финляндском вокзале...

Андрейка слушал его и мрачнел. Савелий рассказывал и рассказывал. Всем ясно представилась площадь, запруженная рабочими, солдатами, матросами. В свете прожекторов и факелов радостно волнуется людское море.

— Ленин!

— Ленин!

Апрельский влажный ветерок колышет знамена. Могучее пробуждение в природе и людских сердцах.

Весна! Ленин..
Ленин! Весна!..

В людском шуме неслышно подходит поезд. Ленин выходит из вагона с обнаженной головой. В левой руке зажата кепка, правая рука простерта к народу. А к нему самому уже тянется неисчислимое множество рук, чтобы обнять вождя, чтобы сберечь его.

— Ленин!..

— Ленин!..

Ему не дают ступить на перрон, его подхватывают на руки, несут, помогают подняться на броневик. И Ленин говорит народу, что теперь нужно делать.

— Да здравствует социалистическая революция!..

И ночь гудит, и весна гудит:

— Ленин с нами!..

Андрейка затоптал окурок, хмыкнул:

— Это за что же его так почитают?

— За любовь к народу,— ответил Савелий.— За счастье, которого он желает ему.

— Ничего себе: кому счастье, а других раздевать собираетесь!.. Только у вас ни хрена не получится. Ты так и Максимке передай: мол, ни хрена не получится.

Он ногой открыл дверь и, выходя, ногой же сильно захлопнул ее.

— Ничего себе, гуси-лебеди! —послышался из сеней его голос.

— Да-а-а,— неопределенно протянул Илья, которому ничего не сулила революция и не хотелось, чтобы она приходила в село. Ведь Андрейка почти достиг цели... Неужели наступит время, когда врагами встретятся они с Максимом?!..

— Мне бы увидеть его! — воскликнула Феодосия.— Хоть бы одним глазком взглянуть на Максима! Господи, как я стосковалась.

И поэтому она была согласна с Савелием и с человеком по имени Ленин и хотела революции, чтобы наступил мир, чтобы пришел домой Максимушка.

— Ты говоришь, что он революционером стал, подпольщик какой-то, — обратилась она к Савелию.— А вдруг поймают?..

Савелий задумался:

— Всякое бывает...

— А что всякое?..

— Революция требует жертв,— твердо сказал Савелий.— Революционеры умирают, но не сдаются. Вам надо гордиться Максимом.

У Феодосии навернулись слезы:

— Так он еще маленький!

— Нет, — покачал головой Савелий,— Максим настоящий человек. Это Андрейка маленький и уже звереныш!

— Господи, господи, куда катимся! — перекрестился Илья.

— В гору! — улыбнулся весь вечер молчавший и не сводивший глаз с Савелия, Дементий.— В гору катимся, Илья Степанович...

Улыбчивый и восхищенный, он собирался сказать что-то еще, но тут его ослепила вспышка в окне, оглушил выстрел.

Савелий схватился за поясницу и, бледнея, стал медленно оседать на пол...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вскоре после похорон Савелия Катерина ушла в город, чтобы встретиться там с его товарищем и надолго задержалась.

В ее отсутствие несколько раз приходил Нифонт и грозил Дементию тем, что собирается взять Даню себе.

Испугавшийся Дементий решил на время покинуть село.

Как-то утром Савку разбудил ласковый голос Дани.

— Вставай, козленочек!..

Ему было приятно чувствовать ее близость, и он, нарочно не раскрывая глаз, стал шарить руками, нащупав ее голову, поцеловал в щеку. Сквозь ресницы он видел добрую улыбку в глубоких карих глазах.

На столе уже шумел самовар: сизоватый пар поднимался к потолку и таял. Дед Дементий сидел на пороге и кряхтел, обуваясь в лапти. Увидев Савку, он просиял:

— Я говорю, дочка, герой наш Савка будет!

Посредине стола — горкой сложены колючие овсяные лепешки. В дымящихся чашках плещется солнышко.

Этим утром было решено идти всем по миру; может, и удастся где-нибудь наняться в пастухи...

Отец Сергей провожал их за деревню. Он шел, опустив голову, молчал. И только тогда, когда дорога свернула вправо, в поле, он остановил Савку, взял за плечи, пристально посмотрел ему прямо в глаза, потом поцеловал. Подозвал Даню и, благословив ее, пошел обратно...

Савка заплакал, заплакал и Дементий совсем по-детски: его лицо сморщилось, съежилось, стало маленьким. Отец Сергей между тем шел. Вот он миновал серый межевой столб, спустился в овраг и скрылся — тихо, медленно, будто растаял.

Перед путниками раскрылась необозримая ширь горизонта молодого летнего утра.

— С богом! — сказал Дементий.— Поспевайте за мной, детушки!..

Чистое поле, родное приволье, четыре дальние сторонушки. Куда пойти, где найти счастье? Не в лесах ли дремучих бродит оно? Не над весенними ли полями звенит оно песней жаворонка? Куда занесли его буйные ветры, где схоронила земля-кормилица?

— Поздно мы за ум-то взялись с вами! — говорил Дементий, загребая лаптями дорожную пыль.— Ну если в пастухи нигде не подрядимся, то другое придумаем.

Не из светлых денек выдался. Солнце успели заслонить облака, с юга находила туча, погромыхивало. В безветренной тишине слышалось хриповатое дыхание Дементия и невнятный шепот. А когда вдали мглистую тучу освещало молнией и доносился гром, он воровато вскидывал голову.

Дождь их застал у полуразрушенной часовенки. Даня и Савка забежали в нее, а Дементий наотрез отказался. Он остался под дождем. Его серая рубашка, намокнув, потемнела, обвисла. Обозначились его острые плечи. Лил и лил дождь, полыхала молния, трескуче гремел гром, а он стоял, опершись обеими руками на суковатую палку, и покачивался под ударами ветра.

После грозы, отжимая подол рубашки, он взглянул на ребят и заметил с хитроватой усмешкой:

— Хорошо, что нас с вами дождичком смочило: удача в пути будет...

Разведрилось. Ослепительно блеснуло солнце, заиграло оно, переливалось радужно в капельках воды на траве, на деревьях, в образовавшихся лужах. Повеяло

свежестью, с лугов потянуло прелой травой. Умытая березовая роща залопотала, заговорила.

Русское родное приволье! Пашни, луга, перелески! То овражек пересечет путь и встретится зыбкий мостик на нем, то болотце блеснет в сторонке, то холмик появится. Все полого, медлительно, величаво. Ни черточки резкой, ни громкого звука. Как будто сама тишина поет песню про чистое поле. И говорится в той песне о том, как под синим высоким небом полевою серой дорогой вдоль цветистых лугов неведомо куда тихо идут-бредут трое странников. Один из них с мешком за плечами, в лаптях, с березовой палкой в руке — костистый старик Дементий, другой налегке, в синей рубашке, коричневых штанишках, с венком на голове — Савка, белоголовый барашек, третья — Даня.

Идут-бредут странники, и всяк занят своим: Савка, приложив руку к груди и воображая, что держит гармонь, издает губами звуки, похожие на какие-то «нырли-нырли-нырли-нырли!» На облупившемся и покрасневшем его носу и на щеках под глазами мелкие капельки пота. Хотя и пятки уже оттопал, но ему хорошо, спокойно.

Даня то молчит и собирает в свои озерные глаза лужайки и перелески, то потихоньку поет.

Дементий дышит открытым ртом, положив кончик языка на нижнюю губу. Ему тяжело от зноя, от ноши и невеселых дум. Стоит и стоит перед глазами чужой дом, чужое окошко, под которым просил он нынче первую милостыню. Думал ли, что придется дожить до этого черного дня! Мороз по коже прошел, волосы на голове зашевелились и будто кто-то чужой, а не сам Дементий постучал концом палки в наличник и произнес:

— Подайте ради Христа!

И тут же услышал в ответ из глубины избы незлобные страшные слова:

— Больно рожа толста!..

Отшатнулся от окна, как от бездны, исказилось лицо. Словно совок горячих углей положили на ладонь, а не черствый кусок хлеба под другим окошком, в котором виднелся уголок большого гроба и тоненькая, как соломинка, горящая восковая свеча.

— Помяни усопшего Осипа,— попросила молодая

женщина с опухшим от слез лицом.— С войны хворым вернулся и преставился вот...

Тяжко всхлипнула она под конец, разноголосо отозвались ей ребятишки, которыми, казалось, до отказа была набита изба...

Боится старик, как бы не упасть лицом в пыльную дорогу и не умереть в одночасье. На кого останутся тогда ребятишки? Кто приют даст и хлебом покормит? За два дня две деревни прошли, и везде голодуха! Пастухов — своих отбавляй. Да и пасти-то некого, скотина перевелась за войну.

«Ушли от нужды — к нужде идем!» — думает Дементий, всматриваясь в даль, где серым пятном показалась новая деревушка с двукрылой высокой мельницей.

К полудню остались позади поля и нестерпимый зной. Дорога уперлась в небольшой заболоченный лесок. На путников повеяло прохладой, пахнуло стоячей водой, прелой листвой. Выбрали посуше местечко, расположились на отдых около ручейка, бегущего неизвестно откуда и неизвестно куда. Ручеек был с илистым дном и глинистыми берегами.

Тут же, в тени берез, дед Дементий снял с себя рубашку и прямо в портках полез в воду.

Он сел на дно, вода ему доходила лишь до груди. Он черпал ее пригоршнями и плескал на голову и плечи, вскрикивая от удовольствия.

Савка немного трусил: стоял, поеживаясь и вздрагивая от предчувствия холодного.

— Глубоко, дедушка, аль нет?

— Пустяк, Сава! Эвона, сижу я! — старик приподнял из воды ногу.

— Вот чудно-о-ой. К тебе же пиявка заползет!

— Пиявка не вошь! Она, брат, пользу приносит,— старик отколупнул с бережка кусочек глины и вместо мыла принялся ею натирать грудь.

— Ну вас! — сказала Даня и ушла в лес.

Савка купался, пока не посинел. Одевался, стуча зубами. А дед Дементий еще с полчаса сидел в воде после него.

Мимо по броду проехал мужик на телеге, Дементий рассердился, что от этого взмутилась вода. Потом показался небольшой воз с соломой. На самом верху сидели две девки. Лошадь вошла в ручей и, остановившись, принялась пить. Пока она пила, девки какими-то удив-

ленно перепуганными глазами смотрели на купавшегося старика.

— Эка невидаль! Уставились! — проворчал он. — Проезжайте, вам говорят!

Девки фыркнули, спрятали разомлевшие лица в солому. Лошадь повернулась, подняла голову. С ее отвислых губ стекала вода. Казалось, и лошади было странно видеть купающегося старика. Тогда Дементий вскочил и, выломив прут, раза два хлестнул им по лошади, а пока та неторопливо поднималась на пригорок, он успел всыпать девкам, отчего они залились неудержимым смехом.

Тем временем Даня свернула с тропинки, углубилась в лес. «Пускай купаются!» — опустилась на белесый сухой мох рядом с крохотным гнездышком, с которого слетела рябенькая птичка, оставив три бирюзовых яичка величиной с ноготок. На беспокойное щебетанье птички-матери немедленно отозвалась и подлетела другая птичка-отец, и обе вместе бесстрашно ринулись на Даню, запорхали над ней, почти касаясь крыльями ее непокрытой головы.

— Хорошие вы мои, не бойтесь! — Даня наклонилась над гнездом.— Не бойтесь, не трону...

Склонясь над гнездом и ощущая его тепло на своем лице, Даня вдруг начала вспоминать что-то давнишнее-давнишнее, будто она когда-то была здесь и видела это гнездо, этих птичек, будто жила с ними...

— Это от родства с природой,— пояснил Дементий, когда перекусив и вздремнув после купанья, двинулись в путь. Он без умолку рассказывал разные истории детям, уча их уму-разуму.

— Все примечайте. В жизни все разумно устроено! — говорил он задушевно.— Что, по-вашему, июнь месяц? Месяц и все? Ай, нет. Июнь, брат, конец пролетья, начало лета!.. Да я вам по дням его разберу. Красное утро на Устина — красный налив ржи. Если на святого Луку ветер юговой — урожай яровой. На Федора роса — конопли полоса. Так-то. С Акулины-вздерни хвосты скот от овода бесится. С Тихона — птицы затихают. Сильная роса на Ивана Купалу — к огурцам. Дождь на Петра — урожай недурной, два дождя — хороший, три — богатый. Увидишь, по ночам освечивать зачнет зарница, хлеб зарит она. Во, брат! Попа на дороге встретишь — считай черт это. А, к примеру сказать...

Шли на закат, все длинней и длинней становились тени. У Савки заплетались ноги, Даня подбадривала его:

— Пойдем мы, пойдем потихоньку и дойдем, глядишь, до молочной реки с кисельными берегами. Вот нам и награда! Дойдем?

— Дойдем,— лениво отвечал Савка.

— То-то, дойдем...— подтверждал Дементий.

До сих пор деревни и села попадались бедные. Редко-редко встречались с десятком домов под железом и стружкой. На ночлег пускали полуголодные хозяева. Те же разговоры о голодухе, те же болезни, те же страхи.

Позади оставались и оставались версты...

Несолоно нахлебавшись, лишь под осень повернули к дому. Начались заморозки. Савку и Даню пожалели добрые люди, приодели чуть-чуть, а дед Дементий так и шел в ветхом армячишке. Все ниже и ниже клонилась его совсем побелевшая голова. Чаще отдыхал он, ласковей относился к ребятишкам. Увядал на глазах старик. И, понимая это, Даня торопила.

Почти совсем перестал попадаться на пути одинокий человек. Встречались все больше группами, толпами, походили одна на другую не одеждой, а взбудораженностью, жаркими разговорами, а главное — какой-то единой думой. На деда Дементия люди глядели недоуменно, подозрительно; на поклоны отвечали нехотя, словно от спешки, от рассеянности. Жалобы его на тяжелую долю оставались безответными. Иные так взглянут, будто молвят: ты, старик, с печки свалился?

— Не до нас им, не до нас,— качал головой дед Дементий.— Видите, они в стайки собираются, как птицы перелетные, а мы заблудились в миру, отшиблись, детушки... Прав Савелий-то был. Каторга из конца в конец, горькое горе! Только не пойму однако: царя нет, а все одно — каторга? Как же оно так?

Поразила Дементия неожиданная встреча. В одной деревне бывший солдат пустил на ночлег, душевным, разговорчивым оказался. Напоил, накормил и вдруг спрашивает, когда уж спать легли:

— Откуда, дедушка, будете?

— Из Чуркина, сынок.

— Слыхал.

— Да что ты?!
— Жил там один человек, сослуживец мой.
— Кто?!
— Савелий, Сочнев. Знавал, чай?
Горло перехватило у Дементия, а бывший солдат выругался крепко и говорит:
— Какого человека загубили!
А на прощанье укорял:
— Еще не прозрел ты, старик. Народ везде поднимается, мужику свет в очи пал, а ты шляешься и ребят мучаешь... За горло пора богатеев брать, а не кусок выпрашивать у них. Вот ведь Савелий-то куда звал тебя. Понял?
Наутро, приодев, как мог, потеплее всех, он попросил:
— Поклонись за меня Савельевой могиле, старик!..

Холодная октябрьская ночь застала путников в десяти верстах от родного угла. Старика покачивало. Обносившиеся его лапотки скользили на белесой от заморозка и хрупкой траве. Шли необъезженными луговыми дорогами, шли прямиком, где на огонек, где на запах дымка, сокращая пути.
— Дедушка, ты за меня держись,— советовал Савка.
— Недалеко осталось.
— Сам-то падаешь! — говорила Даня.
Она брала легкую руку Дементия, клала ее на свое костистое плечо:
— Вот так. Да крепче держись! Не бойся!
— Держусь, дочка, держусь,— глухо отзывался Дементий и глотал горько-соленый комок.
Он приободрился немного с рассветом, с наступлением ядреного морозного утра, когда яркое солнце зажгло неисчислимое множество огоньков на зеленой озими, на заиндевевших лугах. Когда в стороне показалась роща и впереди, за кладбищенскими березами,— соломенные крыши, даже разговорился старик.
— А ну, Сава, каковы приметы октября-батюшки? Не забыл? На исходе месяц-то?
— Пивом радует.
— Разумеешь! А год какой предвещает?
— Легкий.
— А приметил на чем?
— Лист с березы и дуба пал начисто.

— Правильно. А хороший урожай обещает?
— Хороший. Лист изнанкою лег.
— Так ли, Даня?
— Так, да приметы твои не сбываются!
— Сбудутся...

И вот уже дошли было до кладбища, до первых грудок земли, то свежих, то поросших травой, а Дементий вдруг споткнулся, повалился наземь подрубленным деревом.

— Шабаш, детушки. Дух вон. Бегите, родные, да скажите, чтоб за мной Катерина пришла. А я посижу здесь...

Пузырем вздулся у Савки на спине пиджачишко, разметались по ветру нечесаные Данины волосы, когда они припустились к селу. А дед Дементий, проводив их затуманенным взглядом, поднялся устало и побрел к одной из самых приметных кладбищенских берез — такой же старой и ветхой, как сам. Под ней покоился Савелий.

— Мне бы умереть за тебя, родимый!..

Ой, просторное осеннее небо! Раздольная матушка Родина! Что ж молчите вы, пожухлые луга и пашни, перелески и заболотки! Разве не любил, не лелеял вас Дементий?

Эй ты, дивное-диво, чего молчишь? Поднимай, зови, зови, человека к жизни!..

Дементий лежал в забытье, когда прибежала Катерина и вернулись Даня с Савкой.

— Очнись, очнись, папаша! — тормошила его Катерина. —Вон, смотри-ка!

Дементий наконец поднял голову и увидел алое пятно в чистом октябрьском небе, такое яркое и живое, что вновь содрогнулось стариковское сердце:

— Что это?

— Флаг красный над нашей крышей!

Зажав ладонями лицо, Дементий ткнулся в плечо Катерины:

— Устал я, дочка, ох как устал!..

Вот бы уж и Катерине всплакнуть, вскрикнуть по-бабьи, но она только выше голову вскинула, только ближе сошлись ее тонкие брови над горячими карими глазами:

— Не надо, папаша!..

Часть четвертая

ДАРУЯ ЖИЗНЬ

Двадцать четвертого октября (6 ноября) большевистская газета «Рабочий путь» вышла с призывом — свергнуть Временное правительство.

К Смольному, где обосновался штаб революции во главе с Лениным, двинулись части революционных солдат, отряды Красной гвардии.

Восстание началось.

В ночь с 25 на 26 октября Максим с винтовкой в руках стоял на Невском проспекте в числе охраняющих подступы к Зимнему.

Со стареньким карабином за плечами Варя тоже ушла туда. В шапке-ушанке, в коротком легком пальто, в широченных брюках, заправленных в большие сапоги, Максим еле узнал ее.

— Портки-то зачем? — спросил он, посмеиваясь над ней.

— А если через ограду придется лезть, через стену?! — серьезно ответила Варя.

— Куда тебе в этих сапожищах!

— Разуюсь!

Чтобы не потерять друг друга после взятия Зимнего, они договорились встретиться на том же месте.

— Жди с победой! — крикнула девушка и побежала, поддерживая шапку, спадающую на лоб.

Там, куда она убежала, уже слышались перестрелка и крики.

Рождались и умирали, и снова рождались отголоски песни:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Опять слышались выстрелы, опять крики, и снова песни:

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил,
Черные дни миновали,
Час искупленья пробил...

И вдруг отблеск пламени, в полнеба зарево, а вслед за ним громовые раскаты. Это — «Аврора». Это ее пушки сказали решающее слово за Великую социалистическую революцию.

Зимний взят!

Но где Варя?..

Максим проглядел все глаза, пока увидел ее, тихо бредущую, как будто сильно уставшую, с опущенными руками, без шапки, без карабина.

— Варя!

— Нет больше Вари,— тихо, одними губами проговорила девушка и медленно опустилась на землю.

Потом подняла на Максима большие водянистые поблекшие глаза:

— Ты Салику скажи, коль встретитесь...

И не договорила...

Когда ее унесли, подле Максима осталась лужица чистой крови да щербатая гребенка, ниточкой скрепленная в ободке.

Варина гребенка — строгая, как пулеметная лента на груди балтийского моряка...

Варина лужица крови, словно кусочек алого знамени...

А дома Максима ждало письмо, в котором сообщалось о гибели дяди Савелия...

А Салик в это время с трудом поднимался по ступенькам Смольного.

— Пропустите, я к Ленину,— говорил он, не поднимая головы.— К Владимиру Ильичу...

У него не требовали пропуска, перед ним расступались, потому что пониже левого плеча пулевое отверстие на гимнастерке окружало большое темно-красное пятно крови.

— Не мешайте, я к Ленину...

Владимир Ильич проходил по коридору, насторожился:

— В чем дело?

Салик вытянулся, прижал к бедру винтовку:

— Товарищ Ленин,— сказал громко и добавил еле слышно,— Зимний взят...

Постоял, покачался и ткнулся кудрявой головой к ногам вождя.

Ленин поспешно присел, принял Салика на руки, потребовал врача. Глядел в бледное лицо, спрашивал:

— Отец есть?

— Повешен.

— Мать?

— Умерла в тюрьме...— прошептал Салик и начал тяжелеть, обвисать.

Ленин стал вдруг задумчивым и строгим, в прищуре его глаз блеснули две искорки... Он был в этот миг только отцом, потому что вожди не умеют плакать...

Задумаешься — и страшно становится. Как много даровано жизнью, чтобы жил ты, счастливый современник!

А дорога к свету не кончается, по ней идет и идет Человек...

— Мальчик, мальчик, куда путь держишь?

— Дык, в Муравию!

— Хорошо ли там?

— Бают, оченна!..

Мальчик идет по синим-синим цветам, глядит в синие-синие дали, глядит удивительно синими-синими глазами...

— Мальчик, мальчик, ты куда идешь?

— К счастью иду!

— А дорога та ль?

— Она самая, отцова ведь!..

Ну что ж, идите, родные, мужайтесь, верьте, любите!..

Путь верный!..

1958—1960
г. Новосибирск — г.Кемерово

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. БРЕЗЖИТ, ГРЯДЕТ! . 5
Часть вторая. ДА БУДЕТ СВЕТ! . . 133
Часть третья. ПЕРЕД СВЕТОМ . . 212
Часть четвертая. ДАРУЯ ЖИЗНЬ . . 317

Молостнов Г. М.

М75 Даруя жизнь: Роман. — Красноярск: Кн. изд-во, 1982.— 320 с., ил.

50 000 экз.

Сибирский писатель Г. М. Молостнов родился в 1912 г. в д. Чуркино Владимирской обл. Участник Великой Отечественной войны. После работы дипкурьером много лет жил в г. Кемерово, в настоящее время живет в г. Красноярске. Автор сборника стихов «Весна» (1956), повести «К свету» (1957), «Посланник планеты Альбос» (1969), романов о жизни шахтеров «Голубые огни» (1953); «Их нельзя остановить» (1958) «Междуречье» (1959), романа «Даруя жизнь» (был издан впервые в 1964 г.).

Этот роман посвящен событиям, происходившим в дореволюционной деревне, когда благодаря просветительной работе учителей и революционно настроенных рабочих формировалось самосознание крестьян, поднявшихся на борьбу против угнетателей.

Автор ярко, художественно, достоверно создает картины деревенского быта, образы героев — Максима, Савелия, Катерины, ставших активными борцами за Советскую власть, строителями новой жизни.

М 7-3-2—024 / М147(03)—82 29—82

Р2

1 р. 20к.